

Т 1
И 904

✓

ИСТОРИЧЕСКАЯ НАУКА И ОБРАЗОВАНИЕ В РОССИИ И НА ЗАПАДЕ



СОДЕРЖАНИЕ

Часть I. Владимир Иванович Герье – ученый и педагог.....	3
Часть II. Историк и его время: интеллектуальная биография в контексте эпохи..	41
Часть III. История как наука и ее общественный потенциал.....	81
Часть IV. Знание о прошлом в контексте «научных революций».....	143
Часть V. Историческое образование, научные школы и университетская культура	169
Часть VI. История исторической мысли и история историографии как академические дисциплины.....	207
Указатель авторов и докладов.....	238

Часть I. ВЛАДИМИР ИВАНОВИЧ ГЕРЬЕ – УЧЕНЫЙ И ПЕДАГОГ

И.Г. Воробьева (Тверской ГУ)

Профессор Н.И. Радциг – ученик В.И. Герье

Владимир Иванович Герье прожил долгую жизнь в науке, его лекции слушали студенты Московского университета с 1864 г., несколько позднее его учениками стали слушательницы Женских курсов, основателем которых он оказался в 1872 г. Судьбы его учеников и учениц складывались по-разному, к сожалению, они не успели оценить труд профессора после его смерти. Трудный 1919 г. не располагал к составлению посмертного сборника, а в дальнейшем обращаться к памяти кадета В.И. Герье было небезопасно. Тем не менее, именно многочисленные слушатели курсов всеобщей истории, читанных профессором Герье, вошли в новые советские кадры преподавателей высших и средних учебных заведений. Сложно уяснить причины, но это установленный факт, что число выпускников историко-филологического факультета Московского университета в советской научной школе было большим, чем выпускников Петербургского. В их числе был и Николай Иванович Радциг, считавший себя учеником В.И. Герье.

В обзорных трудах по истории советской медиэвистики имя профессора Н.И. Радцига встречается регулярно, однако его интеллектуальная биография не написана. К 130-летию историка мной была опубликована небольшая заметка, организована выставка работ ученого в Научной библиотеке Тверского госуниверситета, на встречу со студентами приглашены его потомки, что нашло отражение на сайтах [см.: URL: http://history.tversu.ru/index.php?option=com_content&view=...; www.tverlife.ru/news/40176.html]. Но это было лишь первое приближение к теме, требовалось глубже понять жизнь историка в провинции и его окружение.

Изученные архивные документы и устный опрос родственников показывают, что в жизни Н.И. Радцига не было серьезных потрясений, выпавших на долю его современников: он не воевал, не подвергался арестам и выселению, не преследовался по политическим мотивам. Но от этого биография историка, прослужившего в сфере образования почти полвека, не теряет для нас интереса.

Николай Иванович Радциг родился 25 февраля 1881 г. в Москве в семье эмигранта из Австрии, принявшего русское подданство. Этническое происхождение его отца Ивана Антоновича нам неизвестно, скорее всего он был из западных славян. Сам историк в официальных документах называл себя русским. Н.И. Радциг окончил с золотой медалью 1-ю московскую гимназию и в 1899 г. поступил на историко-филологический факультет Московского университета. Младший брат Николая Ивановича Сергей учился тогда же. Он стал впоследствии профессором МГУ, выдающимся специалистом по древнегреческому языку и автором вузовского учебника по античной литературе. Отмечу, что наши коллеги-филологи создали и ведут замечательный сайт, сообщающий сведения по истории кафедры классической филологии Московского университета. На нем размещены фотографии и сведения по генеалогии братьев Радцигов, называемых в шутку «Братциги» [URL: www.philol.msu.ru/~classic/history_russia/radzig/photo]. Обучаясь на историко-филологическом факультете Московского университета, Н.И. Радциг написал сочинение на тему «Начало летописи в Риме». Эта работа по предложению профессора В.И. Герье была удостоена золотой медали. Именно она сегодня активно обсуждается и цитируется в Интернете, хотя сам автор полагал ее устаревшей.

Вероятно, по рекомендации В.И. Герье Радциг был оставлен при Московском университете для приготовления к профессорскому званию с 1904 по 1908 г. Одновременно началась его педагогическая деятельность. По рекомендации того же Герье он преподавал историю на Московских Высших женских курсах и в других учебных заведениях.

В 1907–1908 гг. Радциг сдавал магистерские экзамены, работал под руководством В.И. Герье над диссертацией, посвященной истории Франции середины XIV в. В 1909–1913 гг. были опубликованы его статьи «Политическое собрание во Франции 1302–1303 гг.» и «Общественное движение во Франции 1355–1358 гг.». В эти годы имя Н.И. Радцига встречается в дневниковых записях профессора Московского университета А.Н. Савина. Так, в 1914 г. он записал: «Ко мне заходил Н. Радциг, закинуть удочку. Он написал несколько статей о французской смуте середины XIV века и спрашивал моего мнения о них. Признался, что Герье осыпал его похвалами. Намекнул, что Герье считает их очень хорошими, что их можно было бы представить в качестве магистерской диссертации. Я вежливо, но твердо указал ему, что эти статьи, с моей точки зрения, совсем не похожи на

диссертацию, что в них самостоятельные наблюдения теряются в пересказе хорошо уже известных вещей. Радциг притворился, что согласен с моей оценкой» [Савин А.Н. Дневниковые записи 1914–1917 гг. // Записки Отдела рукописей РГБ. М., 2004. Вып. 52. С. 180].

Можно предположить, что мнение профессора А.Н. Савина подействовало, и Н.И. Радциг обратился к иной теме исследования. Он начал изучать Францию периода Реформации. В «Журнале министерства народного просвещения» он опубликовал большую статью «Общество святых даров во Франции XVII века», а позднее, в сборнике в честь профессора Н.И. Кареева, – статью «Страницы из истории католического возрождения во Франции XVI в.». В журнале Исторического общества при Московском университете, где председателем был В.И. Герье, Радциг публиковал рецензии на новые французские издания.

Проблемы реформационного движения интересовали Радцига всю жизнь, возможно, и потому, что его отец был лютеранином. Вершиной его научного творчества стала защита в МГУ в 1944 г. докторской диссертации «Школа в Женеве при Кальвине». Оппонентами выступили С.Д. Сказкин и В.М. Лавровский, ровесники Радцига и выпускники Московского университета. Странно, но в научной литературе до сих пор нет ее обстоятельной оценки. Работал Н.И. Радциг и по проблемам более позднего времени. Востоковеды ценят его большую статью «Дюпле в Индии». Занимался он историей Суэцкого канала, готовил переводы трактатов Жана Кальвина и Этьена де ла Бозси.

Педагогическая деятельность Н.И. Радцига проходила в Москве, Нижнем Новгороде, Ярославле и Твери. Основные курсы по средневековой истории Н.И. Радциг прочитал студентам Тверского (Калининского) пединститута, где преподавал в 1919–1924 и 1938–1948 гг. Студенты 1950-х – 1970-х гг. слушали рассказы о профессоре Н.И. Радциге, свободно владевшем греческим, латынью, французским, немецким языками, понимавшем и любившем классическую музыку, не чопорным и готовым делиться своими знаниями. Для современного университета сохранение памяти о старой профессуре – необходимая процедура, ведь доверяют только тому вузу, который имеет традиции и следует им.

В.П. Золотарёв (Сыктывкарский ГУ)

Два русских протографа западноевропейской историографии:

М.Н. Петров и В.И. Герье

26 ноября 1865 г. на Совете историко-филологического факультета императорского Московского университета экстраординарный профессор Харьковского университета, магистр М.Н. Петров (1826-1887) защищал монографию «*Национальная историография в Германии, Англии и Франции: сравнительный историко-библиографический обзор*» (Харьков, 1861. 309 с.) на ученую степень доктора всеобщей истории. Исследование соискателя – результат его почти трехлетнего упорного труда во время заграничной командировки в страны, названные на титульном листе.

Диспутальными оппонентами харьковчанина выступали магистры В.И. Герье (1837-1919) и Н.А. Попов (1833-1891). Руководил диспутом проф. С.М. Соловьев (1820-1879). После подробного и тщательного обсуждения книги Петрова, Совет единодушно принял блестяще аргументированное, короткое и яркое постановление, в котором, в частности, было отмечено: «автор доказал, что владеет своим предметом и стоит на уровне современной науки» и «удостоил (М.Н. Петрова) ученой степени доктора всеобщей истории».

В это же время в Университетской типографии (Катков и К^о), что на Страстном бульваре Москвы заканчивался набор книжечки В.И. Герье «Очерк исторической науки» (дозволен цензурою 30 декабря 1865 г.) (112 с.) Вышла же она из печати в самом начале 1866 г. и посвящена (так же, как исследование Петрова) той же проблематике – истории исторической науки стран Запада. Оба труда есть все основания считать первыми опытами создания русскими учеными истории исторической науки стран Запада, а Петрова и Герье её протографами.

Монография Петрова выполнена в сравнительно-историческом плане и состоит из предисловия (с. I-VII) и трех частей: [1] *Германская историография* (с. 1-116); [2] *Английская историография* (с.119-184); [3] *Французская историография* (с. 187-309). Приметим: освещению германской историографии Петров отвел 116 с., английской– 65 с., французской – 112 с. Выходит, что германская историография в концепции Петрова занимает доминирующее место, немного меньше - французское историописание и, я бы сказал, второстепенное место было отведено английской исторической мысли. Такая ранжировка западно-европейской исторической мысли русским ученым была оправданной и обоснованной, поскольку отражала реальный вклад в историю ученых названных стран.

Расчленив объект своих штудий на три части, Петров при изложении каждой из них строго следовал самому надежному принципу организации материала – **хронологическому**. Так изложение развития германской исторической мысли он начал с анализа историков XVIII в. Людвига и Гундлинга. Далее перед нами чередой проходят Авг. Людв. Шлецер (1735-1809); Ф. Шлегель (1772-1829), Б.Г. Нибур (1776-1831), Г. Зибель (1817-1895), Л. Ранке (1795-1886), Ф. Шлоссер (1776-1861). Та же картина в освещении английской историографии – Т. Маколей, Г. Болингброк, Э. Гиббон, Т. Бокль, – и французской – Ф. Гизо, О. Тьерри, А. Токвиль, А. Тьер, Ф. Минье, Ж. Мишле. Не могу не отметить: во время своей командировки в страны Запада Петров встречался со многими светилами тамошней исторической мысли, однако не подпал под давление их авторитетов и трудам вышеназванных ученых давал критические оценки, в которых читатель видел их заслуги и их недостатки (см.: с. 289 о А. Токвиле; с. 288-289 об А. Тьере и т.д.). Эти указания не трудно продолжить, но их, по-моему, достаточно, чтобы сказать, что Петров осуществил анализ западноевропейской историографии, руководствуясь многосторонним подходом.

«Очерк развития исторической науки» (М., 1866. 112 с.) Герье, как и исследование Петрова, явился плодом его заграничной командировки 1862-1865 гг., но он, сразу скажем без обиняков, уступает книге Петрова не только по объему (почти в 3 раза меньше), но и по организации материала, а также по глубине оценок трудов западно-европейских ученых.

«Очерк...» Герье состоит из пяти небольших главок, имеющих римскую нумерацию, но не имеющих заглавий, что, разумеется, затрудняет их изучение. Глава I (1-35) начинается с рассматривания взглядов Б. Августина (IV в.) и заканчивается подробным освещением концепции Монтеस्कье. Главка II (35-59) посвящена анализу и оценке историко-философских взглядов Вико, Гердера, Лессинга. В центре III главки (50-72) – Кант, Шеллинг и Гегель, а IV – Шлегель, Шлоссер и Ранке. Крепкой главки V стали О.Конт и Т. Бокль.

Я совершенно сознательно назвал персоналии «Очерка» Герье, чтобы сделать вывод – его в отличие от Петрова «захватила» философия истории, а из профессиональных историков он остановил свой взор лишь на двух – Шлоссере и Ранке. Упомяну: в самый последний момент, уже после диспута Петрова в корректуру «Очерка» Герье вставил знаменательную фразу: «Характеристику главных учеников Ранке и их трудов

можно найти в сочинении профессора Харьковского университета Петрова *«Национальная историография в Германии, Англии и Франции»* (с.85).

Тем не менее, Петрова и Герье роднят общие подходы анализа и оценок исторических трудов ученых стран Запада – быть объективным и беспристрастным. Герье, как и Петров, не подпадал под влияние авторитетов своих современников, да и прошлых времен. Вот факт, подтверждающий это умозаключение. Книга Бокля вышла в свет в Лондоне в 1858 и 1861 годах в двух томах и в двух русских переводах (К.Н. Бестужева-Рюмина; А.Н. Буйницкого и Ф.Н. Ненарокова) в С.-Петербурге. Интерес в России к «Истории цивилизации» был огромен, рецензии сплошь и рядом хвалебные. Н.Г. Чернышевский приветствовал ее публикацию в «Отечественных записках» (1861): «вы, – обращаясь к редакции журнала, писал он, – превосходно делаете, что переводите его [Бокля]... Русская публика будет вам благодарна за него». Кареев вспоминал, что в шестидесятых годах Бокль сделался у нас властителем дум молодого поколения и гораздо большим авторитетом для русского образованного общества, особенно внимавшем его проповеди о прогрессивном значении естествознания для общественного развития, как это особенно проводил в своей блестящей публицистике Д.И. Писарев.

Вполне закономерно, что Герье в своем «Очерке» труду Бокля отвел, пожалуй, больше страниц (94-112), чем какому-либо другому. Но...Герье наперекор хвалёбе дал трезво-научную оценку книге Бокля. Он был более всего не удовлетворен тем, как Бокль отбирал факты для своего труда. Англичанин, по его мнению, приводил только те факты, которые подтверждают его положения, и оставляет совершенно в стороне все то, что могло бы ослабить или видоизменить впечатления, которые он хочет произвести на читателя. Конечный его вывод таков: «...мы должны признать за сочинением Бокля характер тенденциозного произведения» (с. 111).

Более чем через пятьдесят лет Герье вернулся к проблематике своего «Очерка» в объемной книге «Философия истории от Августина до Гегеля» (М., 1915), посвятив ее тем ученым, которые занимались более теорией истории, чем самой историей. Примечательно, что Боклю в этой книге не нашлось места.

В рамках тезисов можно лишь наметить проблему и пунктиром прочертить пути и средства ее возможного исследования. Именно так понимал свою задачу автор этого эссе.

И еще он старался убедиться сам и убедить возможных читателей в том, что русскими протографами западно-европейской исторической мысли XIX в. были М.Н. Петров и В.И. Герье, которые своими монографиями заложили основы ее дальнейшего весьма плодотворного развития, что привело к формированию в России нескольких научных школ в области истории зарубежных стран в новое и новейшее время. Автор тешит себя надеждой подготовить специальное исследование по затронутым здесь сюжетам.

Т.Н. Иванова (Чувашский ГУ, Чебоксары)

Место В.И. Герье в российской культуре последней трети XIX века

Отмечающийся в этом году юбилей Владимира Ивановича Герье (1837-1919) побуждает к широкой постановке темы, трудно согласующейся с объемом тезисов. Это объясняется необходимостью уточнения оценки деятельности Владимира Ивановича. Негативные оценки его роли, отразившиеся в различных изданиях советского и постсоветского времени, зачастую опираются на свидетельства мемуаристов (П.Н. Милюков, А.А. Кизеветтер и др.), общавшихся с Герье в последний период его жизни. Но если изучать менее известные свидетельства 70-80-х годов XIX в., то роль ученого будет выглядеть по-иному.

В последней трети XIX в. место Герье в российской культуре было весьма значимым. Тогда для современников он был авторитетным ученым, инициативным педагогом, автором либеральных проектов в Московской городской думе, которого охранка подозревала в связях с М.А. Бакуниным. В Московском университете Герье выступил инициатором важных починов. Он первым организовал семинар по всеобщей истории, начал чтение лекций и научное изучение Французской революции конца XVIII века, систематизировал преподавание всеобщей истории, стал основоположником научной школы, основал Историческое общество, членами которого были историки из десятков городов России. Его ученики преподавали в Московском, Петербургском, Новороссийском, Казанском, Киевском, Варшавском, Дерптском университетах. В 70-е – 80-е гг. он был крупнейшим российским

специалистом по всеобщей истории, вел рубрику о зарубежной историографии в «Историческом вестнике», издавал свои работы в Германии и во Франции, переписывался со знаменитыми зарубежными историками. Его трудами о Мабли восхищались французские ученые, а Зибель приглашал его печататься в своем журнале.

Не замыкаясь в рамках научно-педагогической деятельности, Владимир Иванович занимал активную жизненную позицию по острым вопросам российской действительности. Его взгляды в этот период совпадали с программой русских либералов. В начале своей карьеры молодой ученый поддерживал в Московском университете «либеральное меньшинство» во главе с Б.Н. Чичериным. Роль Герье в конфликте 1866 г., приведшем к отставке Чичерина, была, как свидетельствуют письма А.И. Георгиевского, достаточно весома: по просьбе министерских чиновников он должен был уговорить подавшего тогда же в отставку С.М. Соловьева не покидать университет. Именно за поддержку своего друга Чичерина Владимир Иванович поплатился тем, что в 1868 г. «консервативное большинство» забаллотировало его кандидатуру на должность профессора, а «доброжелатели» сочинили донос в охранку о его левых взглядах.

В 70-е гг. Герье был активным борцом за сохранение университетской автономии, автором ряда известных статей по этому вопросу, одним из инициаторов коллективного письма 35 московских профессоров против сторонника контрреформ Н.А. Любимова. Герье защищал студентов, репрессированных за участие в беспорядках, и даже считал возможным создание организации для «удовлетворения всякого рода студенческих нужд».

Но, пожалуй, наибольшую известность принесла ему инициатива по организации в 1872 г. первого «женского университета» в России – Московских Высших женских курсов, которые остались в истории русской культуры как «курсы Герье». Созданные на частные пожертвования, эти курсы в 70-е гг. приобрели авторитет только благодаря его энтузиазму, подвижничеству и организаторским талантам. Герье смог привлечь к преподаванию выдающихся ученых Московского университета, добился финансового процветания курсов.

С 1876 г. Герье постоянно избирается гласным Московской городской думы, где много сделал для развития общественной благотворительности, совершенствования школьного и медицинского образования, благоустройства города. Он

принимал участие в правительственной комиссии К.К. Грота по подготовке нового законопроекта об общественном призрении, а также в работе различных организаций, занимавшихся помощью безработным, сиротам, малоимущим. Герье способствовал реорганизации ряда сиротских приютов в профессиональные школы, дававшие воспитанникам рабочие профессии. Заботясь об установлении обязательного воскресного отдыха для наемных работников Москвы, он выступил инициатором создания первого профсоюза московских официантов.

Дом Герье в Гагаринском переулке стараниями его жены, родственницы А.В. Станкевича, стал местом встреч на «журфиксах» передовой интеллигенции Москвы. Здесь проходили заседания «вечернего семинария» для наиболее талантливых студентов и молодых ученых. Герье участвовал в различных культурно-просветительских мероприятиях, общался с известными художниками и писателями (В.О. Шервудом, А.П. Чеховым, Л.Н. Толстым, П.Д. Боборыкиным, Н.П. Богдановым-Бельским, В.В. Розановым, В.Л. Брюсовым и др.).

Герье не был лидером сообщества московской интеллигенции. Педантичный и суховатый, не обладавший ораторскими талантами, он внес свой вклад в развитие русской культуры не столько словами, сколько делами. Выходец из не очень обеспеченной эмигрантской семьи, всего добившийся личным трудом, он считал необходимым создание условий для развития личной инициативы, неприкосновенности частной собственности, просвещения широких народных масс. Его идеалом являлись не республиканские свободы Франции, а социально-экономические и культурные преобразования в объединившейся Германии.

Однако к началу XX в. по целому ряду причин позиции Герье, пережившего большинство своих соратников, меняются. Теперь его лекции и семинары проигрывают на фоне педагогических новаций его же молодых учеников. В центре его научных интересов уже не история французской революции, столь актуальная для России, а средневековое монашество и папство. Закрытие в 1888 г. правительством женские курсы, возрождаются в 1900 г. усилиями Герье на более широкой основе, но профессура, не согласная с тем, что управлять всем должен консервативно настроенный директор, отстраняет его от руководства. В стране назревает революция, которая пугает историка яковинского террора возможными последствиями. Герье демонстративно не подписывает радикальное заявление Московской думы от 30 ноября 1904 г. Это приводит к обструкции

против него со стороны студентов, что вынуждает профессора уйти из университета. После 1905 года Герье – идеолог октябристов, жестко критикующий своих ставших кадетами учеников, член Государственного Совета по назначению императора. В эти годы он, прекратив преподавательскую деятельность, уже не занимался новыми научными исследованиями, а обобщал и перепечатывал свои старые работы, которые, конечно, уже потеряли былую новизну и актуальность. Этот образ саркастичного старца-контрреволюционера по причудливым законам исторической памяти наложился на воспоминания о свершениях Герье в 70-80-е гг. XIX в. и исказил их.

В последней трети XIX в. Герье, вопреки расхожим стереотипам, был не консерватором, а новатором. Без его инициатив развитие русской науки и образования, общественно-просветительская жизнь Москвы выглядели бы совершенно по-иному. Его деятельность была той плотью, которой прирастают либеральные проекты, чтобы стать реальными свершениями. Конечно, деятельность ученого на последнем этапе жизни должна анализироваться для общей характеристики его жизненного пути, но роль Герье в российской культуре следует определять не его консервативными позициями на восьмом десятке жизни, а тем, что он сделал в расцвете творческих сил.

А. А. Куреньшев (Государственный исторический музей, МПГУ, Москва)

В.И. Герье о славянофильских и неонароднических концепциях социально-экономического развития России

Среди трудов В.И. Герье по истории стран Западной Европы можно найти и работы, в которых рассматриваются вопросы социологии (Герье В.И. Огюст Конт. М. 1898), а также статьи и монографии, откликающиеся на актуальные проблемы развития России пореформенного периода [Герье В.И., Чичерин Б.Н. Русский дилетантизм и общинное землевладение. М., 1878].

Почему из всей многочисленной народнической и славянофильской литературы Герье и Чичерин избрали мишенью для критики труд князя А.И. Васильчикова, мы пока не знаем. Возможно, что критиков привлекло громкое имя автора; возможно, что их возмутил и раздражил дилетантизм и одновременно претензии на глубинное понимание острейших

социальных вопросов [см. также отсылку на нелестное высказывание Герье и Чичерина о Васильчикове: Давыдов М.А. Об уровне потребления в России в конце XIX – начале XX в.// Российская история. 2011. № 1]. Нельзя не заметить определенного снобизма двух мэтров науки по отношению к князю-недоучке.

Последовательные в своих убеждениях либералы, как известно, являются противниками вмешательства государства в экономику. Государство, вставшее на путь рыночных реформ, должно создать условия для их свободного развития и отойти в сторону, лишь иногда вмешиваясь в экономические процессы в том случае, когда в них происходят какие-то нарушения, искажения и деформации. Герье и его единомышленники из числа русских либералов в теории также придерживались подобных воззрений, но на практике были государственниками, поддерживали государство в том его виде, какое существовало в России, то есть самодержавную монархию. Она, эта монархия, как форма правления, имела черты как западного общества, так и восточных деспотий. Россия волею судеб и волею «мудрого государя» вступила на прогрессивный прозападный путь. Полемизируя с князем Васильчиковым, Герье и Чичерин стремятся доказать, что отмена крепостного права, произведенная «сверху», дала крестьянам все возможности для развития и процветания: «Следовательно, чистый доход крестьянина с душевого участка, независимо от положенного на него труда, больше чем в полтора раза превышает не только лежащие на нем подати, но и выкупные платежи. Иначе и быть не может, если мы сообразим, по какой цене крестьянин получил свой участок. Известно, что установленная Положением общая цифра оброка, 9 рублей с души, была капитализирована из 6 процентов, что составило 148 руб. 50 к. на 3½ десятины, или около 42 рублей на десятину. В то время это была настоящая цена земли. Выкупная операция еще убавила эту плату: вместо 9 рублей оброку, крестьяне платят всего 7 р. 20 к. с души процентов и выкупа; дополнительные же платежи большей частью уплачены ими работою в течение нескольких лет. Ныне же цена десятины в черноземной полосе Тамбовской губернии достигла до 100 рублей; следовательно, крестьянин получил 58 рублей за десятину, или 200 слишком рублей на душевой надел совершенно даром. Общая же сумма капитала, представляемого душевым наделом, равняется 350 рублям, сумма, с которой проценты должны в избытке покрывать и подати и выкупные платежи» [Герье В.И., Чичерин Б.Н. Указ. соч. С. 132]. В

отношении Герье и его соавтора к крестьянской реформе, как в капле воды, отразилось отношение русских либералов к аграрному вопросу в России.

Князь А.И. Васильчиков не был, конечно, чистым славянофилом. Его можно, скорее, отнести к поздней вариации представителей этого течения мысли. Он выступает в своем труде, как ему кажется, во всеоружии новейших достижений науки. Вот по этой его уверенности в собственной научной подготовке и открыли огонь его критики. Профессиональным историкам и правоведам нетрудно было уличить князя-мыслителя в невежестве и дилетантизме. Но для нас гораздо интереснее выявить принципиальные доктринальные расхождения почвенническо-славянофильской модели развития России, предлагавшейся Васильчиковым, и либерально-западнической.

Князь в своем многостраничном труде пытался создать новый образ справедливого мироустройства, основанного на равном, но не коллективном пользовании землей и другими средствами производства, свободном, а не наемном труде и частной собственности. Одновременно он стремился откеститься от социалистических и коммунистических моделей, считая их продуктом Запада, а потому неприемлемыми для русского народа. Отметим, что славянофильство Васильчикова нашло свое проявление и в острой форме германофобии. Пуганицу князя в вопросах определения исторического характера рас, народов и наций его оппоненты определили легко и, соответственно, разбили его построения, основанные на этом явно ненаучном основании, в пух и прах.

Герье и Чичерин решительно встают на защиту Западной цивилизации от нападок доморощенных философов, социологов и общественных деятелей, стремящихся строить новую Россию исключительно на традиционной основе без использования достижений науки, опять же, преимущественно западной: «Из этого опять можно видеть, что нет ничего превратнее, как то отрицательное отношение к западной цивилизации, которым отзывается вся книга кн. Васильчикова. Этот взгляд на русскую историю, так же как и извращенное понятие об истории Европы, составляет печальное наследие славянофилов. Было время, когда славянофильство играло известную роль в нашей умственной жизни. Оно затрагивало вопросы, возбуждало полемику, поддерживало в обществе живой умственный интерес» [Герье В.И., Чичерин Б.Н. Указ. соч. С. 95].

По мнению Герье и Чичерина, Васильчиков и другие славянофилы, а вслед за ними и народники, преувеличивали роль и значение общины в хозяйственной жизни славян в целом, и русских крестьян, в частности. По мнению адептов этой концепции, западноевропейское общество издавна вступило на путь частнособственнического использования земли. Васильчиков, как истый дилетант, несомненно, упрощал и огрублял историю взаимоотношений и взаимодействия частного, участкового и общинного владения и пользования землей. Россия встала на этот путь под влиянием извне. Западным влиянием Васильчиков объясняет и коммунизм. Он выступал как явный противник коллективного труда, считая это проявлением коммунизма, равно чуждого русскому крестьянину, как и крупное частное землевладение.

Герье был ярким сторонником «стольпинских реформ» и конституционной монархии, которую он резко отличал от монархии парламентской. Иными словами, его западничество носит прогерманский характер. Он явный противник парламента английского образца, в котором постоянно бурлят страсти и происходит бурная политическая борьба. В единение царя с народом (славянофильская модель государственного устройства) Герье также не верит.

Л. П. Лантева (МГУ, Москва)

В.И. Герье и его оценка современных университетов Германии (по данным отчетов)

После защиты магистерской диссертации в 1862 г. В.И. Герье был направлен за границу для усовершенствования знаний, а также для изучения постановки и методов преподавания всеобщей истории в европейских университетах. В общей сложности молодой русский магистр пробыл за границей около трех лет, посетил Германию, Швейцарию, Францию, Италию. Он работал в архивах над документами, изучал литературу в библиотеках, посещал лекции профессоров в разных университетах, интересовался искусством, осматривал музеи и древние исторические памятники Германии и, главным образом, Италии. Большую часть времени В.И. Герье провел в Германии, посетив здесь двенадцать университетов с целью

ознакомления с состоянием изучения и преподавания всеобщей истории.

Впечатления от этой работы и оценку ее состояния В.И. Герье изложил в своих отчетах (официально – донесениях) в Министерство народного просвещения Российской империи. Эти документы были опубликованы в 1863 и 1864 гг. в «Журнале Министерства народного просвещения» и являются важным источником для изучения не только профессиональной подготовки родоначальника научного подхода к изучению всеобщей истории в Московском университете, но и всего процесса организации преподавания и исследования указанного предмета в России. Прежде всего, В.И. Герье описывает ситуацию в центре немецкой науки – Берлинском университете. Он указывает, что всеобщей истории здесь уделяется серьезное внимание. Лекции читаются по всем разделам: древней истории, истории средних веков, новой истории. В среднем восемь профессоров уделяют всеобщей истории 38 часов в неделю. В.И. Герье останавливается на методике преподавания каждого профессора. Особое внимание обращает на курсы проф. Леопольда фон Ранке. По мнению русского магистра, этот крупнейший ученый является и первоклассным преподавателем. В его лекциях он отмечает ясность мысли, объективность, беспристрастность и «благородство речи». Изложению материала Ранке чужда актуализация, хотя хронологические рамки лекций – с 1813 г. до настоящего времени, т.е. до того времени, когда происходил процесс объединения Германии, – провоцировали на соответствующие параллели, к которым прибегали другие профессора не только Берлинского университета. Упомянув о тематике и манере чтения лекций другими профессорами, В.И. Герье констатирует, что кроме больших курсов лекций профессора-историка проводят небольшой «публичный курс» (т.е. семинар), на занятиях которого студенты занимаются «историко-критическими упражнениями», т.е. читают и объясняют летописи и другие источники, после чего пишут на эту тему свои сочинения. По наблюдению В.И. Герье такой метод изучения всеобщей истории применяется во всех университетах Германии, хотя, в зависимости от индивидуальных качеств профессора, приносит разные результаты. В целом же, подобный способ обучения предполагает не только сообщать уже установленные истины и факты, но и показывать, как они добываются, т.е. обучать исследованию истории. Вообще во всем изложении материала наблюдений красной нитью проходит мысль о том, что

университетский профессор должен быть и передатчиком знаний, и исследователем, и только такие его качества могут соответствовать свободе развития науки и ее поступательному движению.

Остановившись коротко на ученых трудах и методе преподавания профессоров Берлинского университета, автор отчета далее освещает процесс преподавания всеобщей истории в Гейдельбергском университете, который, по его мнению, утратил свою былую славу. Ее поддерживает лишь проф. Гейсер, курс лекций которого по римской истории русский магистр оценивает весьма сдержанно. А в курсе новейшей истории усматривает «прусское пристрастие» и излишнюю актуализацию.

В Гейдельбергском университете, по мнению В.И. Герье, больших успехов достигли вспомогательные исторические дисциплины – палеография и дипломатика. Крупнейшим специалистом в этой области автор отчета считает проф. Ваттенбаха, который ведет практические занятия по рукописям и читает курс по истории средних веков.

С преподаванием философских наук и изучением этой отрасли знаний В.И. Герье познакомился в небольшом университете ученого центра Прусской Саксонии – Галле. Здесь в университете работали шесть профессоров философии, из которых трое – Эрдман, Шаллер и Фогт – хорошо известны в ученом мире. Указав на их основные сочинения по философии, московский магистр подводит итог, что в Галльском университете читается 39 часов философии.

Фрайбургский университет произвел на В.И. Герье несколько иное впечатление. Университет сохранил значение центра католичества и главную роль здесь играл богословский факультет. Но и во Фрайбургском университете В.И. Герье встретил крупного ученого, а именно Трейчке, который читал курсы государственного права и истории Германии, начиная с Венского конгресса, невзирая на то, что его мнения не согласуются с католическими взглядами, господствовавшими в университете.

Русский магистр познакомился также с состоянием разработки и преподавания всеобщей истории в маленьких немецких университетах Швейцарии. В отчете говорится, что в Базельском университете один из лучших учеников Ранке Буркхард читает лекции по истории французской революции и проводит «исторические упражнения» на тему о католической оппозиции реформации во второй половине XVI в. Также

упоминаются сочинения и лекции других крупных немецких ученых, работавших в Базельском университете.

Отчеты В.И. Герье показывают, что во время путешествия по Германии он получил массу информации, которая дала ему основание прийти к заключению, что Германия – ученая страна «с 28 университетами и добросовестными профессорами». Он считает, что немецкие профессора не только преподают соответствующий предмет, но и сами исследуют то, что преподают. По мнению В.И. Герье, процесс обучения в университете – это не только сообщение учащимся уже накопленных знаний, но и обучение методам их получения. В.И. Герье подчеркивал в своих отчетах, что в германских университетах основу изучения истории составляет критический метод исследования источников и их сравнительный анализ. Среди профессоров много первоклассных ученых, известных во всей Европе, а университеты имеют большое число нужных специалистов, которые при существующей системе организации и функционирования университетов свободно перемещаются из одного университета в другой, распространяя новые данные науки по всей Германии и за ее пределами. Наиболее прогрессивные стороны организации и преподавания всеобщей истории В.И. Герье впоследствии использовал в своей практике в России. Однако русский магистр видел и недостатки немецкой системы. В отчете указаны лишь некоторые, подробно автор анализирует их в опубликованной позднее статье «Свет и тени университетского быта» (1876).

Г.П. Мягков (Казанский ФУ)

Т.Н. Иванова (Чувашский ГУ, Чебоксары)

Основные черты научной школы В.И. Герье

В современной историографии уже не подвергается сомнению существование научной школы В.И. Герье (1837–1919), однако не до конца прояснены ее основные черты. Ее формирование связано с временем профессионализации и специализации русской исторической науки: в 70-е гг. XIX в. острый недостаток квалифицированных кадров по всеобщей

истории для расширяющейся сети российских университетов, особый интерес общества к проблемам зарубежной истории побудил молодого профессора Московского университета обратить внимание на подготовку ученых, способных не только стать специалистами по проблемной истории, но и учеными-педагогами широкой специализации. Как лидер формирующейся «учительской» школы В.И. Герье избирает курс на подготовку энциклопедически образованных, с широким философским подходом профессоров всеобщей истории, способных на высоком научном уровне исследовать и преподавать и античность, и средневековье, и современную историю.

В развитии школы Герье выделяются этапы: 1) 70-е – начало 80-х гг. – «старшее поколение» учеников (Н.И. Кареев, П.Г. Виноградов, С.Ф. Фортунатов); 2) 80-е – начало 90-х гг. – «среднее поколение» (М.С. Корелин, Р.Ю. Виппер, И.И. Иванов); 3) 90-е гг. XIX – начало XX вв. – «позднее поколение» (П.Н. Ардашев, С.А. Котляревский, Е.Н. Щепкин). Наиболее ярко основные черты школы отразились в творчестве Н.И. Кареева, П.Г. Виноградова, М.С. Корелина, П.Н. Ардашева, составивших ее «ядро». К нетипичным ученикам, «приверженцам», можно отнести Р.Ю. Виппера, И.И. Иванова, Е.Н. Щепкина, С.А. Котляревско-го. Значительна «периферия» школы, которая в то же время достаточно аморфна вследствие свойственной историческим школам интерференции, возникновению феномена «двойного ученичества». К ней можно отнести формально бывших магистрантами П.Г. Виноградова, В.О. Ключевского и др., но в то же время признававших себя и учениками Герье Д.Н. Егорова, М.О. Гершензона, А.И. Соболевского, Н.И. Радцига, А.И. Яковлева, М.М. Хвостова, М.К. Любавского и др. К этой же «периферии» школы принадлежали В.В. Розанов, В.Л. Брюсов, на мировоззрение которых Герье оказал существенное воздействие.

Формированию школы способствовали эффективные «школообразующие практики», применявшиеся ее основателем: глубокие по степени обобщения, богатые историографическим анализом лекции Герье, его университетские семинары. Важную роль сыграл в развитии школы вечерний (домашний) семинарий для избранных учеников, обретший в известном смысле более совершенную форму в созданном в 90-е годы Историческом обществе.

Особое значение в формировании школы играли культивируемые ее лидером индивидуальные методы наставничества. Герье создал определенный алгоритм подготовки ученых, «структура» которого включала: *фазу*

селекции (отбора), *фазу протекции*, обеспеченную всесторонней (моральной и материальной) опекой избранных, *фазу установления тесного личного контакта* вплоть до «введения» ученика в семью профессора. Важнейшей фазой являлось *собственно научное руководство* на всех этапах «роста» ученика: от определения им научного интереса, осуществления первых исследований (медального, кандидатского) до подготовки к магистерскому экзамену и выбора темы диссертации до магистерского диспута. С особым тактом В.И. Герье осуществлял действенный контроль за ходом заграничной командировки, сбором материала, за написанием текста диссертации. Необычным было то, что и после защиты диссертации Герье продолжал опекать ученика, подыскивая ему место в одном из российских университетов, давая советы по подготовке первых лекций и семинаров, оказывая помощь и поддержку в подготовке докторской диссертации. Данная модель работы с учениками, конечно, не была догмой, варьируясь в зависимости от конкретных обстоятельств.

Важной чертой школы Герье, определившей ее *научный стиль*, стало внимание к историческим источникам. Овладение методикой исследования последних закладывалось в ставших знаменитыми семинарах. Ученики Герье писали диссертации на основе массива, как правило, открываемых ими в зарубежных архивохранилищах документов и демонстрировали высокий уровень владения приемами исторической критики, строгую доказательность выводов исследований. Другой чертой школы Герье являлось особое внимание ее представителей к историографическим проблемам всеобщей истории, опора на метод системного историографического анализа. Воспитываемый учителем интерес учеников к творчеству предшественников и современных историков, к процессу развития историознания в зарубежных странах и в России был реализован последними в создании самых разнообразных трудов историографического характера.

Вариативное многообразие методологии учеников Герье имело в то же время некую общую парадигму. Идея всеобщей истории и культ родоначальника этой идеи в России Т.Н. Грановского объединяли учеников Герье, несмотря на некоторое различие в трактовке этой общей составляющей. Признание истории наукой со своим методом, нацеленности обществознания на открытие законов (относилось в будущее и не всегда полагалось делом собственно истории), идеи исторического прогресса, органического развития

прослеживаются в историософских произведениях большинства учеников Герье.

Научная проблематика представителей школы многообразна, но восходит к разностороннему научному наследию самого Герье, изучавшего и генезис феодализма (продолжение – в трудах П.Г. Виноградова), и историю средневекового католицизма (С.А. Котляревский, М.С. Корелин), и причины и ход Французской революции конца XVIII века (Н.И. Кареев, И.И. Иванов, П.Н. Ардашев), и т.д.

Еще одной особенностью всех представителей школы являются выраженные просветительские идеалы, тесная взаимосвязь их научной и преподавательской деятельности, общественно-просветительские инициативы по организации научных и педагогических обществ, совершенствованию женского и школьного образования.

Школа Герье была дискретным образованием, расцвет которого пришелся на 70–80-е гг. XIX вв.; она «отцвела» к началу XX вв.; события 1917 г. трагическим образом отразились на судьбе школы, ее представителей. Но именно в рамках Школы Герье появились первые в России конкретно-исторические работы по новой истории, основанные на анализе новых источников. Уже в 80-е гг. рядом с ней стали возникать «дочерние школы» – научные школы учеников В.И. Герье, в деятельности которых можно отметить тенденцию к продолжению традиций научной школы учителя. В последующем учениками учеников Герье явились многие выдающиеся представители науки всеобщей истории (Е.В. Тарле, А.Н. Савин, Д.М. Петрушевский, П.М. Бицилли, Н.Л. Рубинштейн, О.Л. Вайнштейн и др.). В этой связи странным представляется то, что при всех заслугах Герье в подготовке научно-педагогических кадров и в формировании науки всеобщей истории в России существование его научной школы долгое время подвергалось сомнению. Субъективные и объективные причины этого феномена остались в прошлом, и сейчас можно говорить об определяющей роли научной школы В.И. Герье в развитии науки всеобщей истории в нашей стране.

Н.И. Недашковска (РГГУ, Москва)

История идеи нации: версия В.И. Герье

В Европе историю формирования теории нации и национализма традиционно начинают с 1882 г., когда французский историк Э. Ренан прочитал в Сорбонне свою знаменитую лекцию

«Что такое нация?». Однако можно утверждать, что в действительности эта дата фиксирует начало этапа специального историко-теоретического обсуждения темы, который был подготовлен многолетними эмпирическими изысканиями и теоретическими размышлениями историков, философов, публицистов, писателей.

В России с середины XIX в. также многократно возникала научная и публицистическая полемика по этому вопросу – при обсуждении идеи всемирной (всеобщей) истории (Т.Н. Грановский), а также вокруг явления панславизма и связанной с ним по роду своего предмета науки – славистики (см., напр., статьи А.Н. Пыпина в Вестнике Европы 1878–79 гг.). Потому и стал возможным в том же 1882 г. выход в свет работы В.И. Герье «Народность и прогресс» (вышла в журнале «Русская Мысль» в 1882 г., а затем вошла в его книгу «Идея народовластия и Французская революция 1789 года» [Герье В.И. Идея народовластия и Французская революция 1789 года. М., 1904. С. 141-186]), содержащей первую в исторической науке программу изучения национализма как интеллектуального конструкта [О структуре программы см. подробнее: Недашковская Н.И. У истоков изучения метанарратива русского / славянского национализма: опыт В.И. Герье // История идей и воспитание историей: Владимир Иванович Герье / Под ред. Л.П. Репиной. М.: ИВИ РАН, 2008. С. 262-271]. В нашем исследовании анализируется I часть этой работы как самостоятельный сюжет, представляющий оригинальную реконструкцию В.И. Герье истории идеи нации.

Данная реконструкция представляет генезис идеи нации в интеллектуальном контексте эпохи. Ее нарративная стратегия позволяет сделать наблюдения историко-антропологического характера: здесь во многом раскрывается индивидуальный «почерк» Герье как историка идей. Структура сюжета – трехчастная (напоминающая гегелевскую триаду) – от обоснования социального значения через анализ ключевых для жизни идеи интеллектуальных установок в первых важнейших историко-философских трудах рубежа XVIII–XIX вв. (Гердер и др.) к интерпретациям ее в научной и публицистической литературе второй половины XIX в. Объясняя актуальность идеи нации для понимания современных ученому социальных процессов, ее определяющую роль в «фактической» истории, Герье, возможно, вслед за Т.Н. Грановским, утверждает, что решающую роль в истории играют интеллектуальные процессы, а также, говоря современным языком науки, «метаидеи» –

большие идеи, рожденные обществом, под воздействием которых меняется сам ход исторического развития. При этом мир идей предстает у Герье интегрированным в фактическую историю, вырастающим из нее и прорастающим сквозь. Школа немецких идеалистов, которых принято упоминать в числе «учителей» Герье, позволила ему в данном случае не только увидеть, отрефлексировать, но и прописать те неявные взаимосвязи интеллектуалов и общества, которые и создают движение истории. Говоря о предмете статьи, ученый делает значимые историко-теоретические выводы. Так, он подчеркивает, что жизнь идеи зарождается и осуществляется не только в среде интеллектуальной элиты. В предметном поле таких исследований должна оказаться духовная жизнь всех слоев общества. Критическую оценку истолкования идеи нации панславистами он основывает на тезисе «неправильной исторической идеи» – т.е. на их «отступлении от исторического метода» и, как следствие, – сужении восприятия идеи нации до эмпирического факта, в то время как это – результат человеческой деятельности, мыслительный конструкт.

Вторая часть работы, в которой дана модель деконструкции интеллектуальных проектов национализма, начинается выводом по первой, содержащей в себе обобщающую теоретическую установку – Герье, по сути, говорит о необходимости разграничить чрезвычайно близкие по предмету и инструментарию – сферу интеллектуального конструирования от сферы научного наблюдения, анализа и деконструкции, которая собственно и позволяет дискурсу науки получить власть над идеологемами и идеологией в целом. Излишне говорить, что за этим теоретическим заключением – большой опыт журнальной полемики славянофилов и западников различных интеллектуальных страт России, в котором участвовал В.И. Герье.

Важным инструментом нарративной стратегии ученого оказался интеллектуальный контекст идеи, который, видимо, чрезвычайно привлекал Герье и как самостоятельный аналитический объект. Научный и культурный кругозор ученого в сочетании с основательным владением фактической историей знания от схоластики до позитивизма, как и в других работах по истории идей (работы о Лейбнице, Конте, Тэне, по университетскому вопросу и др.), позволил развернуть убедительную, эмпирически насыщенную, но легкую для восприятия благодаря четкой стратификации и отбору сведений, картину умственной жизни европейских обществ, на фоне

которой прописана основная линия жизни идеи. При этом история идеи нации включена Герье в более крупную схему – развития идеи всеобщей истории. Сознательный выбор автором этой конструкции подчеркивается и заглавием работы – «Народность и прогресс». Таким образом, достигается синтез в построении сюжета – обоснование значимости для современной исторической науки рассматриваемой идеи нации делает герменевтический круг и выходит на качественно новый уровень.

В результате феномен нации впервые предстает в работе В.И. Герье как яркое явление, прежде всего, духовной жизни Европы и России, а его самого можно считать одним из первых европейских теоретиков нации и национализма.

Л. П. Репина (ИВИ РАН, Москва)

«Гендерный фактор» в истории идей и интеллектуальной культуры: еще об одном актуальном аспекте творческого наследия В. И. Герье*

Резкий всплеск интереса российских историков к научному наследию В.И. Герье в конце XX – начале XXI века, единодушно отмечается как специалистами по истории историографии, так и теми, кто занимается изучением ее актуального состояния и становлением той области исторического знания. Этот особый интерес был вызван разными причинами, среди которых представляется важным в данном случае выделить чисто профессиональные, и в их ряду – с одной стороны, новое понимание предмета истории исторической науки как академической дисциплины, а с другой – укоренение в современном пространстве гуманитарных наук новых проблемных полей, позволяющих «разглядеть» в высшей степени актуальные и значимые для перспектив развития современной историографии аспекты научных воззрений и исследований Герье, которые прежде – в рамках «единственно верной методологии» – были, по существу, неразличимы.

Современное «герьеведение» быстро обогатилось многочисленными и разноплановыми исследованиями – статьями, диссертациями, монографиями. Наиболее полномасштабному и разностороннему анализу научное

** Исследование выполнено при поддержке РГНФ. Проект «Идеи и люди: интеллектуальная жизнь Европы в новое время» (№ 10-01-00403а).

наследие В.И. Герье было подвергнуто в недавно вышедших монографиях Т.Н. Ивановой. В контексте изучения вклада В.И. Герье в разработку конкретных проблем исторической науки исследовательница справедливо указала на центральное место тематики культурной истории человечества и истории идей в творческом наследии В.И. Герье, а также подчеркнула специфику его научного почерка, ярко проявившуюся в созданных им блестящих интеллектуальных биографиях мыслителей разных эпох [Иванова Т.Н. Научное наследие В. И. Герье и формирование науки всеобщей истории в России (30-е гг. XIX – начало XX века). Чебоксары: Изд-во Чуваш. ун-та, 2010. С. 177–230.].

Как мне представляется, суть этой специфики, проявившейся во всех научных работах и в лекциях выдающегося историка, может быть на языке современной историографии обозначена как *контекстуальный* подход. Именно детальная, максимально широкая и многоуровневая *контекстуализация* изучаемых явлений в исполнении В. И. Герье делает его творчество созвучным устремлениям и поискам современной интеллектуальной истории в той ее форме, которая опирается на эпистемологические и методологические принципы социокультурного подхода.

История идей и история исторической мысли в лучших работах В. И. Герье превращается не просто в широко понимаемую интеллектуальную историю, но в подлинно *всеобщую историю интеллектуальной культуры*. И в этой своей целостности и всеобщности она естественным образом захватывает в свою орбиту, описывает и так или иначе интерпретирует самые разные явления общественной жизни, даже те, что пока еще не осмысливаются как самостоятельный предмет исследования, но уже явственно просматриваются – пусть и не в центре, а в периферических сегментах исследовательской перспективы, которые нередко выглядят как необязательные и непреднамеренные отступления в логике выстраиваемого исторического нарратива.

В качестве примера приведу два довольно кратких, но чрезвычайно показательных сюжета в главе III «Лейбниц в Париже. Картезианизм и его влияние на французское общество» фундаментальной монографии В.И. Герье «Лейбниц и его век» [Герье В.И. Лейбниц и его век [1868]. СПб.: Наука, 2008. 807 с.]: одно из них – о важной и позитивной роли женщин в популяризации картезианства, а второе – о роли ученых и университетов. Сразу подчеркну, что я считаю принципиально

необходимым рассматривать эти два непосредственно примыкающие друг к другу «отступления» как взаимосвязанные «нити» анализа социальной среды и исторических условий эпохи, которые не только находят выражение в творчестве мыслителя, но и неизбежно определяют восприятие и распространение его идей в современном ему обществе, а в значительной степени и на последующую их судьбу.

Итак, остановившись на характеристике «умственного состояния» парижского общества, в котором оказался его герой, В. И. Герье констатирует, что «картезианизм был не только новой философской теорией: он имел значение полной революции в умственной жизни французского народа» (с. 157). И кто же были протагонисты этой идейной революции? – Хозяйки «замечательных *салонов* того времени. <...> Картезианизм своим распространением был много обязан женщинам». Но эта констатация, следующая за примерами участия женщин в «пропаганде» учения как лучшего доказательства его популярности, не завершает данный сюжет, а открывает новую серию наблюдений: с одной стороны, относительно «обыкновенных средств женской пропаганды» («обаяния», «прелестей» и т.п.), а с другой стороны, по поводу применения ими «более серьезного оружия» в защиту положений философии Декарта, в том числе на публичных диспутах.

Герье «снижает» это признание успехов «картезианок» в философствовании, оговариваясь, что в светских салонах не всегда обсуждались самые существенные и трудные вопросы учения, а чаще всего, вероятно, рассматривалась та сторона учения, «которой оно соприкасалось с ежедневной жизнью <...> Для многих, конечно, картезианизм был модой... Но тем не менее эта мода не прошла бесследно. Без участия женщин, общество не могло бы так глубоко проникнуться идеями нового учения и так живо сочувствовать ему. Мы не в состоянии указать в истории другую эпоху, когда философия стояла бы так близко к жизни и когда она имела бы такое благотворное нравственное влияние» (с. 160-161).

Примечательно также, что автор сразу же вводит противопоставление этому «деятельному участию женщин» в обсуждении и распространении идей Декарта позицию «официальных представителей науки», «ученого сословия» (заметим – по определению, мужского), в котором господствовали не «сочувствие» новым идеям, не «приветливость», не «горячность», не «рвение», не «свежесть и искренность чувства», и даже не стремление «следить за игрой» (фраза мадам де

Севинье), а «дух консерватизма», «материальные интересы», «самолюбие».

Б. В. Марков, автор послесловия к недавнему переизданию книги «Лейбниц и его век», пересказывая некоторые ее сюжеты и затрагивая проблему общественного признания философии Декарта, счел возможным в связи с оценкой, данной автором монографии институтам науки, причислить Герье к «родоначальникам отечественной социологии познания», а в том, что касается участия женщин, ограничился констатацией: «Остается загадкой, почему Софья-Шарлотта, Елизавета, Кристина, мадам де Савиньи [sic!], герцогиня Мэнская, маркиза Сабле и другие увлеклись философией Декарта и Лейбница, а профессора университетов считали их атеистами?» [Марков Б.В. Своевременная философия // Герье В.И. Лейбниц и его век. СПб.: Наука, 2008. С. 780–781]. Для В.И. Герье это не было загадкой.

В. И. Герье внес полномасштабный вклад в историю интеллектуальной жизни Европы, продемонстрировав взаимосвязанность всех ее составляющих, что потребовало комплексного подхода, включающего как анализ текстов и концепций, так и индивидуальных ситуаций, творческих биографий и межличностных отношений (с учетом гендерной асимметрии) в интеллектуальной среде.

Н. Ю. Старкова (Удмуртский ГУ, Ижевск)

Ученики В.И. Герье и развитие спартановедения в России на рубеже XIX–XX вв.

Развитие русского антиковедения на рубеже XIX–XX вв. проходило под непосредственным влиянием европейской науки и в то же время отражало специфические условия развития России. Э.Д. Фролов выделил несколько приоритетных направлений в развитии отечественного антиковедения, в том числе историко-филологическое, культурно-историческое, социально-политическое и социально-экономическое [Фролов Э.Д. Русская наука об античности. СПб., 1999. С. 542].

В 1905 г. были опубликованы «Лекции по истории Греции» Р.Ю. Виппера, а в 1916 г. «История Греции в классическую эпоху XI–IV в. до н. э.» [Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции в классическую эпоху XI–IV в. до н. э. СПб., 1916]. Их автор – ученик В.И. Герье, профессор Московского университета. Еще в студенческие годы он вместе с Н.И. Кареевым, М.С. Корелиным, С.Ф. Фортунатовым и П.Н. Ардашевым составляли семинар под

руководством В.И. Герье. В нем студенты осваивали исследовательские процедуры, навыки ведения научных дебатов и дискуссий, анализировали редкие источники.

Методологически Р.Ю. Виппер в изучении античности был близок к модернизаторским подходам Эд. Мейера. С другими европейскими антиковедами рубежа XIX–XX вв. его сближало также гиперкритическое отношение к античной традиции, а с марксистскими новациями – интерес к социально-экономическим проблемам истории древнего мира. Он демонстрировал интерес и к общим социологическим вопросам. Р.Ю. Виппер был увлечен теорией и методологией истории, подчеркивал, что место истории состояний должна занять история событий. Иначе говоря, взамен социальной и культурной истории на первый план выдвигаются история политическая и история международных отношений [Репина Л.П., Зверева В.В., Парамонова М.Ю. История исторического знания. М., 2004. С. 211].

Фокус внимания Р.Ю. Виппера – Афины и морской союз, которые он считал высшим политическим и социальным институтом греческой городской культуры. Спарта присутствовала в рассуждениях историка постольку, поскольку она участник внешнеполитических интриг и войн. Автор не довел изложение материала даже до конца Пелопоннесской войны, закончив лекции последствиями олигархического переворота 411 г. до н. э., не отметив практически роль внешней силы в крахе Афин – Спарты и ее союзников [Виппер Р.Ю. Лекции по истории Греции. Очерки по истории Римской империи (начало). Ростов н/Д, 1995. Т. 1. С. 230-254]. Позже он добавил новые разделы, но главное внимание уделено не Спарте. Впервые автор упоминал о Спарте в контексте изучения борьбы политических партий в Афинах в середине 60-х гг. V в до н. э., очерк Спарты имел форму экскурса. По мнению В.П. Бузескула, написавшего рецензию на лекции Р.Ю. Виппера, «Спарта заслуживает большего» [Бузескул В.П. Лекции по истории Греции Р.Ю. Виппера. Ч. 1. М., 1905 // ЖМНП. 1905. Окт. С. 427].

В 1900 г. по инициативе Ф.Г. Мищенко в Казанский университет был приглашен последователь В.И. Герье и П.Г. Виноградова М.М. Хвостов, один из самых ярких представителей социально-экономического направления в отечественной науке об античности. Историей Спарты автор начал заниматься еще со студенческой скамьи, представив в аттестационную комиссию сочинение «Внутренний кризис в Спартанском государстве и реформа III в. до р. х.». В Казани он начал как приват-доцент, в 1907 г. был назначен

экстраординарным, а в 1914 г. – ординарным профессором университета [Шофман А.С. Михаил Михайлович Хвостов. Казань, 1979. С. 8, 17; Фролов Э.Д. Указ. соч. С. 380]. Собственно научная деятельность М.М. Хвостова началась с изучения социально-экономического развития Спарты [Хвостов М.М. Хозяйственный переворот в древней Спарте // Учен. зап. Казанского ун-та. 1901. Кн. 11. С. 175-195]. Он подробно изучил трансформацию общинной земельной собственности на рубеже V-IV вв. до н. э. Следствием реформы Эпитадея стало, по мнению исследователя, появление частной собственности на землю в Спарте. Эти выводы положили начало изучению хозяйства и социальных отношений древней Спарты. М.М. Хвостов сконцентрировал внимание на рубеже V-IV вв. до н. э., которому, по обыкновению, уделялось меньше внимания, чем эпохе Ликурговых реформ в архаической Спарте или подвигам спартанского царя Леонида в эпоху Персидских войн.

Внимание к проблемам социально-экономической истории Спарты нашло отражение и в общих лекционных курсах по истории Греции, читанных им в Казанском университете, и на Казанских высших женских курсах [В нашем распоряжении имеется литографированный курс: История Греции. Конспект лекций профессора М.М. Хвостова, читанных в Казанском Университете и на Казанских Высших Женских Курсах в 1907-1908 гг. Казань, 1908]. Лекционные курсы М.М. Хвостова свидетельствуют о большом его интересе к общим вопросам исторической науки, ее истории и методологии [Фролов Э.Д. Указ. соч. С. 387].

М.М. Хвостов критически рассмотрел комплекс источников о легендарном спартанском законодателе Ликурге и пришел к выводу-парадоксу: «чем дальше мы от эпохи Ликурга, тем больше мы имеем о нем сведений» [Хвостов М.М. История Греции. Конспект лекций... С. 163]. Изучив материал письменных источников, он сделал вывод, что в плутарховой биографии Ликурга ценны сведения о спартанских учреждениях.

С вниманием М.М. Хвостов отнесся к такому непростому источнику, как Большая Ретра. Применяя методы филологического и историко-критического анализа, исследователь оценил ее как «главнейший источник для древнейшей истории» и заключил, что в определении государственного строя Спарты наука может в своих реконструкциях исходить из Ретры. М.М. Хвостов подробно рассмотрел положение спартиатов, перизков и илотов. Он пришел к выводу, что завоевание Мессении было вызвано острым аграрным кризисом. Вторая Мессенская война, по мнению

ученого, открыла особый этап внешней политики Спарты: ее отношения с соседними государствами Пелопоннеса переходят на основу договоров. Большое внимание он уделил вопросу о роли Пелопоннесского союза в становлении спартанской гегемонии в Греции IV в. до н. э. и оценил гегемонию Спарты как весьма непрочную. Общая картина IV в. до н. э. обрисована М.М. Хвостовым так: «...мы видим в европейской Греции тот же сепаратизм, как и раньше. Такое положение не могло держаться, – должен был найтись какой-нибудь выход. Этот выход действительно нашелся, но не тот, о котором мечтали греки эпохи Пелопоннесской войны. Это было Македонское завоевание» [Там же. С. 169, 388].

М.М. Хвостов внес большой вклад в понимание основных проблем спартанской истории. В его трудах представлена целостная картина истории Спарты, оформившаяся в авторскую концепцию. Большое внимание уделено в ней не только внешнеполитической стороне истории Спарты, но и установлению связей между политической, экономической и социальной сферами. Таким образом, дореволюционная русская наука об античности развивалась под непосредственным влиянием В.И. Герье, вклад учеников которого в лице Р.Ю. Виппера и М.М. Хвостова невозможно переоценить.

Е. А. Татарина (РГБ, Москва)

Издания лекционных курсов В.И. Герье в фондах Российской государственной библиотеки

Мы рассмотрим издания лекционных курсов В.И. Герье, которые находятся в фондах Российской государственной библиотеке. Временные рамки анализа изданий – 1872-1908 гг., т.е. это прижизненные издания. В основе своей это – издания лекций, прочитанных на Московских высших женских курсах.

Как сказал В.И. Герье при открытии Московских высших женских курсов, «...мы желали бы положить основание учреждению, которое могло бы содействовать распространению высшего образования между женщинами» [Положение о высших женских курсах в Москве и речи, произнесенные при открытии курсов 1 ноября 1872 года профессорами Московского университета св. А.М. Иванцовым-Платоновым, С.М. Соловьевым и В.И. Герье. М., 1872. С. 18]. В брошюре, опубликовавшей речь В.И. Герье, дано расписание предметов и преподавателей на первый год высших женских курсов. Среди

преподавателей значится и «проф. В.И. Герье», который читал предметы «История Цивилизации» и «Практические упражнения по Истории». Издания, отражающие лекции В.И. Герье на этих курсах, начинаются брошюрой «Римская история. Лекции орд. Пр. В.И. Герье. 1878/9 ак. г.». Как видим, лекции стали издаваться не сразу, а по мере осознания необходимости их издания. Большинство лекций имеет вид машинописных или рукописных книг, изданных литографическим способом. Среди подобных изданий интересны издания «В.И. Герье. История XVIII века. Лекции, читанные в 1902-03 году. М., 1902» с автографом владелицы – слушательницы 2 курса историко-филологического отделения В.М. Боровской, «Введение к “Очерку Римской истории” проф. И.В. Нетушила. Римская историография (по Герье). Издание филологического отдела общества взаимопомощи студентов Харьковского университета, Харьков, 1907, рукопись, литография».

Очевидно, что не только в Москве осуществлялись издания лекций высших женских курсов (курсов Герье, как их называли). Опыт преподавания на этих курсах распространялся по всей России, о чем свидетельствует издание, предпринятое в Харькове. Очень ценным фактом является то, что, как правило, издания осуществлялись самими студентами. Наглядный пример тому – издание Общества взаимопомощи студентов Харьковского университета. Все экземпляры литографированных изданий лекций принадлежали Библиотеке Публичного и Румянцевского музеев. Это было особенно важно, так как в Москве именно эта библиотека была одним из главных книгохранилищ, где занималось студенчество в это время.

В 1895 г. вышли «Лекции по римской истории Заслуженного ординарного профессора В.И. Герье, читанные на 1 и 2 курсах историко-филологического факультета в 1895/96 ак. году». Машинописный текст передает нам отношение самого В.И. Герье к процессу преподавания. Историк отмечает, что «можно преподавать целую жизнь один и тот же предмет, не испытывая скуки и утомления». Одной из причин подобного отношения автор отмечает взаимный «интерес профессора и студентов, учителя и учеников» [Герье В.И. Лекции по римской истории заслуж. ординарного проф. В.И. Герье, читанные на 1 и 2 курсах историко-филологического факультета в 1895/96 ак. году. М., 1895. С. 3], которые поддерживают друг друга. В.И. Герье подчеркивает, что потребность делиться с другими своими знаниями лежит в основе преемственности культуры и науки. Без этой потребности каждому поколению пришлось бы

вновь начинать работу в области науки. Кроме того, каждое новое поколение с его новыми интересами и надеждами дает преподавателю новую силу и новый интерес к делу. Это чувство необходимо в деятельности преподавателя, которой в большей своей части должны были заниматься выпускницы женских курсов.

В другом издании – «Лекции по Римской истории заслуж. проф. В.И. Герье, читанные в 1903-4 учебном году просмотренные автором» (М., 1904) историк в предисловии рассматривает различия в подходе к изучаемому предмету в гимназическом и университетском курсах. В частности, он говорил: «Гимназическое изучение истории должно заключаться в усвоении... описательного материала истории. ...факты должны врезаться в память, поразить воображение изучающего; ...он должен вынести из преподавания точное знание фактов по известной области истории». В курсе университетском факты также имеют огромное значение, но важны они «как следствия и как причины; ... важнее связь фактов». Изменяется сама оценка фактов: важно проследить причинно-следственную связь фактов, их место в целом ряде фактов, т.е. в основе должен быть синтез фактов. «Синтез фактов может происходить в пределах известной эпохи и даже части века, но он может также быть установлен в пределах истории целой нации». История любой страны имеет связь с другими эпохами, поэтому в изучении важен и «другой синтез – общий синтез всех фактов человеческой истории». Кроме того, в университетском преподавании необходимо «прежде всего, иметь возможность дать самому себе отчет о степени собственного знания» [Герье В.И. Лекции по Римской истории заслуж. проф. В.И. Герье, читанные в 1903-4 учебном году просмотренные автором. М., 1904. С. 4-7]. Эту разборчивость относительно фактов, определение степени их достоверности В.И. Герье называл исторической критикой и считал необходимым подобный подход к фактическому материалу в процессе университетского изучения истории.

В раздел лекций, прочитанных на высших женских курсах, представляется необходимым ввести и еще одно издание В.И. Герье – «Франциск. Апостол нищеты и любви. М., 1908». В предисловии к данной книге автор написал: «началом предлагаемой книги были две лекции, посвященные мною св. Франциску <...> Эти лекции были с дополнениями напечатаны в “Вестнике Европы” за 1892 г. Когда несколько лет спустя ... я возвратился к Франциску, оказалось, что за

последнее десятилетие были опубликованы недоступные раньше источники по истории Франциска и необыкновенно богато развившаяся литература о нем выдвинули целый ряд новых вопросов. Таким образом, мой очерк обратился в книгу» [С. 1-2]. Вот наглядное свидетельство того, как из лекций родилась отдельная книга, впоследствии поступившая в фонд Библиотеки Публичного и Румянцевского музеев.

Подводя итог краткому обзору изданий лекционных курсов В.И. Герье, находящихся в фонде РГБ, можно сказать, что они отражались в фондах Библиотеки прижизненно автору, издания имели огромное значение для изучения истории в современное В.И. Герье время, среди них были книги, изданные не только типографским образом, но и машинописные и рукописные копии, изданные литографированным способом. Национализация книжных собраний, проведенная в 20-е гг. XX в. показала, что труды историка находили место среди книг частных собраний, причем при национализации они не отправлялись в обменный фонд, а оставались в фонде Библиотеки. Все это говорит о важности их для понимания истории и ее преподавания как в современное В.И. Герье время, так и начале XXI в.

С. С. Ходячих (ИНИОН РАН, Москва)

**Нормандское завоевание Англии
в исследовательском дискурсе
В.И. Герье, Н.И. Кареева, П.Г. Виноградова**

Проблемы Нормандского завоевания Англии затрагивали в своих исследовательских практиках и ведущие российские историки конца XIX – начала XX в. Среди них особое место занимают крупнейшие представители либерально-позитивистской историографии: профессор всеобщей истории Московского университета В.И. Герье, экстраординарный профессор Варшавского университета, член-корреспондент Петербургской Академии наук Н.И. Кареев, и профессор Московского и Оксфордского университетов П.Г. Виноградов.

В курсе лекций по истории средних веков, читанных В.И. Герье в Московском университете в 1870-х гг., в сжатом виде содержатся основные идеи автора относительно феодализма. Отметим, что Нормандскому завоеванию Англии Герье отводит ничтожно малое место. Опуская событийную часть, Владимир Иванович сосредотачивает свой исследовательский интерес на последствиях событий 1066 г. как

для Англии, так и для всей Европы. По мнению историка, главным итогом Нормандского завоевания стало «сближение Англии с материком в полит[ическом плане]», также «оно создало тот общественный [строй], то госуд[арственное] учр[еждение], из котор[ого] возник парл[аментский] образ правления».

Одним из краеугольных моментов Герье считает социально-экономическое положение Англии после 1066 г. Привлекая материалы «Книги страшного суда», историк замечает: в основе раздачи завоеванной земли лежал критерий приближенности к персоне нормандского герцога, «участки б[ыли] не равны», поскольку войско Вильгельма составляли и «простые войны», и «могущественные», и «начальн[ики] отрядов». Изучив поземельную перепись 1086 г., Герье приходит к выводу, что в «основании распред[еления] завоев[анных] зем[ель]... лежал **политический** смысл». Что касается английского крестьянства, то его положение «не измен[илось] существ[енно]», больше всего «пострад[али] крупн[ые] землевл[адельцы]» – они были полностью истреблены.

Трактовка Нормандского завоевания В.И. Герье соотносится с его исторической концепцией, в основе которой лежало понятие причинности в истории, а также зависимости исторического процесса от личности и ее убеждений. Наделенный неординарными способностями, нормандский герцог Вильгельм смог собрать вокруг себя коллектив единомышленников, и совершить знаковое для всей европейской истории событие – завоевание Англии. При этом в основе действий средневековых правителей следует, в первую очередь, искать политическую подоплеку – социально-экономические процессы выходят на второй план.

Гораздо больше исследовательского внимания проблемам Нормандского завоевания уделили ученики В.И. Герье Н.И. Кареев и П.Г. Виноградов. Если Кареев-новист касался событий последней трети XI в. в Англии в своих работах «Поместье-государство и сословная монархия средних веков» и «Учебная книга истории средних веков», то Виноградов-медиевист посвятил английской истории несколько монографий.

Главная заслуга Нормандского завоевания, по мнению Кареева, состоит в том, что оно «спасло» Англию от перспективы «разрушения центральной власти, и общенародных учреждений местной жизни», а также раздробления «на ряд сеньерий разных рангов с общим характером поместья-государства». Вслед за событийной частью Николай Иванович

раскрывает механизм трансформации норманнов в *нормандцев*. В выстроенном Кареевым дискурсе личности Вильгельма уделено незначительное место, однако, между строк читается высокая оценка, которую дает историк английскому королю. Отмечая такие черты Вильгельма, как сильная воля, большие организаторские способности, умение избегать ошибок, хорошее понимание текущей ситуации, хитрость, жадность и властолюбие, историк приходит к выводу, что именно эти качества помогли нормандскому герцогу направить вектор европейской истории в другую сторону.

В целом, Нормандское завоевание заслуживает высокой оценки Кареева. Осуществившись благодаря воле, способностям и желанию неординарной личности, оно повлекло за собой создание особого, присущего только Англии, типа феодализма. Персонифицируя историческое повествование, автор подчеркивает, что именно личность творит историю – в этом он во многом схож с В.И. Герье.

Однако более подробно вопросы, связанные с Нормандским завоеванием, его последствиями и результатами, были исследованы крупнейшим российским медиевистом рубежа XIX-XX вв. П.Г. Виноградовым.

Причины успеха Нормандского завоевания Виноградов видит не столько в предприимчивости герцога Вильгельма и его войска, сколько в удачном стечении обстоятельств. Вильгельм застал Англию в переходном, «промежуточном, смутном состоянии»: страна «так легко досталась нормандцам и французам, потому что ее древний, германский порядок уже разстроился, а новый, феодальный, еще не образовался». Вслед за В.И. Герье, Виноградов отмечает, что с приходом завоевателей положение англосаксонских крестьян изменилось несущественно.

Изучая проблемы генезиса английского манора, историк соотносит его с появлением военной аристократии в результате Нормандского завоевания. Феодальные порядки, считает Виноградов, были привнесены первыми нормандскими королями, а интерес эпохи последней трети XI – первой трети XII в. состоит в «борьбе между принципами, установленными завоевателями, и ранними традициями».

Подводя итог своим многочисленным рассуждениям о социальной истории Англии в XI в., Виноградов признает за Нормандским завоеванием фундаментальную роль с точки зрения его влияния на учреждение и развитие новой формы

земельных отношений на Британских островах – манориальной системы.

Исследовательский дискурс П.Г. Виноградова носит междисциплинарный характер: правовая компонента неразрывно связана с историческим анализом, что придает научным практикам историка репрезентативности даже через столетие после его ученой деятельности. Ему интересно не само Нормандское завоевание, не событийная, но около-событийная история, а также последствия событий 1066 г. с точки зрения их влияния на социальную жизнь английского общества последней трети XI в.

Подведем итоги. Либерально ориентированные историки второй половины XIX – первой трети XX в. В.И. Герье, Н.И. Кареев и П.Г. Виноградов считали Нормандское завоевание одним из ключевых событий европейской средневековой истории. Останавливая свой профессиональный исследовательский взор на проблемах английского феодализма, манориальной системе, социальном состоянии общества, все они сходятся во мнении, что именно личность является главным актором исторического процесса. В свою очередь, на примере кампании Вильгельма Завоевателя прослеживается соотношение индивидуального и общественного в историческом развитии, а работы упомянутых историков по изучаемой проблематике следует признать образцовыми, поскольку ценность этих материалов заключается в том, что они отражают состояние исторической науки рубежа XIX–XX вв.

А. В. Шарова (НИУ ВШЭ, Москва)

«Отстал от века»? В.И. Герье и А.Н. Савин

Яркий и динамичный творческий путь В.И. Герье, его общественно-политическая деятельность по-разному воспринимались не только его непосредственными учениками, но и теми историками, которые находились на дальней «периферии» его научной школы. К таким историкам можно отнести и ученика П.Г. Виноградова, Александра Николаевича Савина. Сохранившиеся документы позволяют проследить динамику отношений к профессору ученого, не разделявшего его общественно-политических воззрений в начале XX в., но скорректировавшего свою позицию после революции в октябре 1917 г. Переписка, а особенно, дневниковые записи 1908-1917 гг., текст речи памяти В.И. Герье, равно как и содержание

лекционных курсов историка, – все эти источники позволяют выстроить весьма сложную картину восприятия патриарха российской исторической науки более молодым поколением историков. При этом А.Н. Савин не только учился у В.И. Герье, но и в качестве пробной лекции выбрал тему из французской тематики, то есть научного поля самого профессора. По приглашению В.И. Герье молодой историк начал работать лектором на Высших женских курсах. Верным другом А.Н. Савина, с которым его объединяла и близость общественно-политических взглядов, стал один из последних учеников В.И. Герье – С.А. Котляревский. Таким образом, вращаясь в орбите В.И. Герье, А.Н. Савин должен был отразить свое представление об этом ученом и человеке.

А.Н. Савин учился в семинаре у одного из лучших учеников В.И. Герье, П.Г. Виноградова. Впоследствии в 1911-1913 гг., опираясь на опыт занятий у П.Г. Виноградова, А.Н. Савин хлопотал о проведении правильно организованных семинаров, об оставлении их в числе курсов историко-филологического факультета. Историк даже настаивал на том, чтобы за семинарами было закреплено специально приспособленное для этого помещение с удобной для занятий мебелью. Воспроизводились и научные практики, ставшие привычными среди ученых «школы» Герье. Характерная для А.Н. Савина забота об учениках напоминала то внимательное отношение, которое он испытал на себе со стороны профессора В.И. Герье. В отсутствие своего непосредственного руководителя, П.Г. Виноградова, именно к Герье обращался Савин с просьбой о выделении стипендии, о предоставлении отпуска в связи с болезнью и другим вопросам, сообщал о своих заграничных впечатлениях. Судя по дневниковым записям историка, тема учитель и ученики активно обсуждалась в ученом сообществе, особенно в периоды вмешательства государства в университетскую жизнь. В частности, Савин размышлял о том, насколько специфические отношения складывались с учениками у В.О. Ключевского, Р.Ю. Виппера, П.Г. Виноградова, Д.М. Петрушевского.

В 1909 г. А.Н. Савин участвовал в праздновании юбилея университетской деятельности В.И. Герье, хотя не все его коллеги проявили подобную учтивость. Историк посчитал для себя невозможным, даже не разделяя взглядов Герье, отказаться от его чествования, настолько это была масштабная фигура для Московского университета. Резкие оценки в адрес Герье в записях историка перемежались с восхищением перед его

научным долголетием и работоспособностью. Здравость суждений, готовность генерировать новые идеи и их отстаивать, восхищали Савина одинаково и у В.О. Ключевского, и у В.И. Герье.

Осуждая позицию В.И. Герье во время и после бурных событий профессорской отставки 1911 г., А.Н. Савин, наряду с другими профессорами Московского университета, продолжал интересоваться его жизнью и оценками. Для своих бывших учеников и коллег В.И. Герье оставался одним из маяков, с которым приходилось сверяться. Столь внимательного отношения на протяжении нескольких лет, пока Савин практически ежедневно вел дневник, удостаивались только три человека: Виноградов, почитаемый им учитель, Ключевский и ... Герье. Два последних ориентира весьма знаменательны. Отношение к ним и взаимоотношения с ними являли для многих историков «московской школы» способ конструировать и определять само сообщество историков и свое место в нем.

Как и его коллега и друг С.А. Котляревский, А.Н. Савин в 1911 г. не сделал резкого шага в виде отставки, зато пытался всячески устроить возвращение «отчисленных». На практике это напоминало осуждаемый в свое время поступок В.И. Герье, который отказался поддержать в 1904 г. заявление городской думы с требованиями демократических свобод. Нежелание обострять конфликты присутствовало во многих действиях А.Н. Савина, который, тем не менее, осуждал подобную же практику действий своего старшего коллеги. В 1917 г. А.Н. Савин в составе специальной комиссии участвовал в переговорах с организацией студентов и молодых преподавателей, еще раз демонстрируя предпочтение компромисса вместо нарушения университетской автономии. Однако, как и в практике В.И. Герье, эти переговоры не остановили студенческих выступлений, зато вызвали подозрительность со стороны некоторых коллег.

В течение нескольких лет А.Н. Савин вел занятия на ВЖК и в Московском университете по истории французской революции XVIII в., позднее его лекционные курсы были изданы. На семинарах Савин разбирал тему, первопроходцем которой являлся В.И. Герье – наказаниям депутатам Генеральных штатов.

А.Н. Савин весьма активно участвовал в возрождении Исторического общества, основанного В.И. Герье, председательствовал иногда на его заседаниях, выступал с докладами. Несмотря на прохладные личные отношения между историками, равно как и различия в их мировоззрении,

политических и научных взглядах, их многое объединяло. Своеобразное западничество, ориентация на примеры политического развития некоторых стран Западной Европы, любовь к историческому источнику и навыки его анализа, искреннее служение науке и университетскому образованию, даже манера чтения лекций – многое оказывалось общим у этих столь непохожих историков разных поколений. Как и другие ученики и коллеги ученого, Савин не мог не отозваться на его смерть. Текст выступления, датированный 1921 г., сохранился в его фонде. И если в 1913 г. Савин приветствовал «смягчение» перечня научных заслуг Герье в университетском адресе, а в следующем году резко критиковал его книгу о Грановском, то спустя десять лет оценки стали иными. Вероятно, на фоне глобального кризиса, затронувшего Россию, произошла и переоценка А.Н. Савиным фигуры учителя, пришло понимание истинного масштаба его личности. Подробно разбирая мировоззрение В.И. Герье, его философские и политические взгляды, А.Н. Савин констатировал, что в 1917 г. ученый «отстал от века, но отстал не один, а вместе со всею старой Россией. Семь лет войны и революции безжалостно смели весь тот уклад мыслей и чувств, которым он жил». Вместе с ним ушла в прошлое славная эпоха, связанная с именами Грановского, Соловьева, Ключевского... и самого Герье.

А.В. Юдин (МПГУ, Москва)

В.И. Герье как исследователь истории и историографии истории Древнего Рима

В.И. Герье внес существенный вклад в развитие отечественной науки о Древнем Риме. Будучи вслед за своими университетскими учителями и наставниками Т.Н. Грановским, П.Н. Кудрявцевым, М.П. Леонтьевым и С.М. Соловьевым приверженцем идеалистического историзма, Герье исследовал римскую историю в русле подходов, свойственных ученым социально-политического направления русского антиковедения, которые считали главным фактором исторического движения постепенную смену государственно-правовых учреждений, эволюцию норм гражданских правоотношений и различных форм мировоззрения.

В курсе лекций «История римского народа», читанных Герье на МВЖК в 1887 г., наиболее системно изложено видение ученым основных фактов и закономерностей исторического развития

Древнего Рима в царский и республиканский периоды. Главная идея ученого, проходящая через весь курс, заключается в том, что развитие Древнего Рима шло в направлении от городской общины к огромной империи, в чем, несомненно, проявлялся прогресс развития античной государственности. Одной из центральных проблем, изучаемых Герье, было вызревание истоков императорской власти задолго до установления единовластия Августа, которое, по его мнению, происходило в течение всего периода Поздней Республики, когда Рим, завершив завоевание Италии, вступил на путь создания провинций. Истоки власти будущих императоров Герье видел в основных принципах управления провинциями, к которым он относил: фактическое отсутствие ограничения (хотя и при формальном ограничении) круга полномочий проконсулов, практическое отсутствие влияния римских магистратов на деятельность провинциальных наместников, соединение в руках одного провинциального промагистрата функций самых разных римских должностных лиц. Однако, по мнению ученого, именно с ограничения самовольия римских проконсулов связано начало генезиса империи как формы древнего государства. С 78 г. (смерть Суллы) по 44 г. до н.э., рассуждал Герье, «окончательно выяснилось будущее направление римской истории» [Герье В.И. История римского народа: Курс лекций. М., 1887. С. 280], поскольку имело место относительное уравнивание провинциалов в правах с римлянами параллельно с распадом римских республиканских учреждений [Там же. С. 304].

Герье одним из первых в российской науке стал уделять специальное внимание определению сущности принципата Августа, которую он оценивал неоднозначно. В лекционных курсах 1870–1880-х гг. и в работе «Август и установление Римской империи» учёный характеризовал появившуюся вместе с Августом форму правления как нечто среднее между монархией и диархией, представлявшее собой «совершенно индивидуальный характер», при которой «образ правления ... правильнее всего называть принципатом». [Герье В.И. Август и установление Римской империи // Вестник Европы. 1877. № 7. С. 11]. Иными словами, Герье воздерживается от отождествления данного термина с устоявшимися в науке терминами, связанными с той или иной привычной его современникам формой власти. Говоря об эволюции принципата при преемниках Августа, Герье подчеркивал, что она осуществлялась в направлении дальнейшего укрепления «монархической идеи»; ключевыми фигурами в этом процессе названы Тиберий,

окончательно ослабивший сенат, и Веспасиан, установивший принцип, что император не подвластен закону.

В.И. Герье передал свой интерес к проблемам римской истории своим ученикам. Так, Н.И. Кареев и М.С. Корелин развивали в своих исследованиях проблематику взаимоотношений Рима и провинций, сформулированную его учителем, привлекая преимущественно материалы периода империи. В русле концепции Герье о зарождении главных признаков империи задолго до установления единовластия Августа осуществлял научные поиски Р.Ю. Виппер, считавший начальной датой этого процесса разрушение Римом Карфагена в 146 г. до н.э.

В истории отечественной исторической науки с именем Герье также связано становление историографии истории Древнего Рима, и особенно ее ранних этапов. Наиболее полно исследования В.И. Герье по историографии истории Древнего Рима VIII – начала III вв. до н.э. представлены в качестве отдельных больших частей текста монографий «Очерк развития исторической науки» (1865 г.) и «Философия истории от Августина до Гегеля» (1915 г.), в специальной, но, к сожалению, небольшой монографии обзорного характера «Научное движение в области древней римской истории», вышедшей в свет в 1895 г., и в отдельных лекционных курсах: «Римская история. Историография до Моммзена. Лекции заслуженного профессора В.И. Герье, читанные в 1893–94 году на I, II, III и IV семестрах» и «Обзор историографии и археологии. Лекции по римской истории заслуженного ординарного профессора В.И. Герье, читанные на 1 и 2 курсах историко-филологического факультета в 1895 – 96 ак. году». Названные лекционные курсы представляют собой наиболее полное и целостное исследование В.И. Герье проблем историографии Царского и Раннереспубликанского Рима, оставшееся, однако, в виде двух машинописных рукописей, хранящихся в научно-исследовательском отделе рукописей Российской государственной библиотеки.

В названных историографических исследованиях Герье сформулировал ряд важнейших положений, определивших, в известной степени, дальнейшее развитие историографии античной истории в российской науке. Основными из таких положений являются тезис о становлении научного изучения древней истории начиная с творчества Бартольда Георга Нибура в начале XIX в. и о «переломном» значении первого тома «Римской истории» Теодора Моммзена в мировой науке о

Древнем Риме (1855 г.). Кроме того, Герье фактически разработал периодизацию истории науки о Древнем Риме, критерием которой является выход в свет трудов историков, меняющих устоявшиеся воззрения и методологические подходы предмету исследования – государственно-правовым институтам и различным сторонам культуры античного Рима.

Таким образом, Герье, будучи историком широкого исследовательского диапазона, в котором античность всё-таки не занимала центральное место для ученого, внес заметный вклад в изучение римской истории и в продолжение её изучения историками следующего поколения.

Часть 2. ИСТОРИК И ЕГО ВРЕМЯ: ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНАЯ БИОГРАФИЯ В КОНТЕКСТЕ ЭПОХИ

П.В. Акульшин (Рязанский ГУ им. С.А. Есенина),
А.С. Соколов (Рязанский государственный
радиотехнический университет)

С.Д. Яхонтов: провинциальный историк в эпоху перемен

История относится к числу наук наиболее тесно и непосредственно связанных с переменами в жизни общества, которые влияют на судьбу исторических концепций и их носителей. Об этом убедительно свидетельствует судьба российских историков конца XIX – начала XX в. Изменения пореформенной эпохи вели к смене социальных и историографических парадигм. На смену носителям дворянской культуре «золотого века» приходили разночинцы. Те из них, кто дожил до последних десятилетий поздней имперского периода, пришлось стать участниками свидетелями трех русских революций, полностью изменивших облик страны. То, как эти социально-политические перемены отразились на судьбах российских историков, в последние десятилетия интенсивно изучает отечественная историография. Закономерно, что это рассматривается, в первую очередь, на примере личной и творческой судьбы наиболее крупных представителей академической и университетской науки.

Но кроме этих корифеев отечественной исторической науки существовали другие их коллеги и современники, говоря языком литературоведов «второго и третьего плана». Их вклад в историографический процесс был не так заметен, как у их великих современников, но без них невозможно представить пространство отечественной исторической науки. Вклад в его формировании и развитии этих рядовых тружеников науки состоял не только в исследовательской деятельности, но и в педагогической деятельности, которая способствовала распространению отечественной гуманитарной традиции.

Одним из представителей таких провинциальных историков являлся Степан Дмитриевич Яхонтов (1853–1942), яркий и в то же время типичный представитель отечественной разночинной интеллигенции второй половины XIX – начала XX в. Основные научные интересы С.Д. Яхонтова были связаны с историей Рязанского края и, в особенности, его церковной жизни. Начав путь

исследователей в Московской духовной академии с изучения Пителима Нижегородском и полемической антираскольничей литературе XVII – начало XVIII вв., он до последних дней жизни занимался в самом широком плане изучением истории Рязанской епархии. В его архиве сохранились неопубликованные рукописи по истории Рязанского архиерейского дома и материалы к ним, составляющие 12 объемистых дел общим объемом около 1500 листов. Эти материалы собирались на протяжении 50 лет и включали самые разнообразные источники: письменные, вещественные, изобразительные, этнографические, археологические. Сохранились отдельные законченные главы этого исследования: «Соображения о времени постройки архиерейского дома», «Княжее место в Кремле», «Постройки на архиерейском дворе», «Архиерейские певчие (хор)», «Размеры епархии XVII–XVIII вв. (архиерейская вотчина)». Подробно описывался быт архиерейского дома, взаимоотношения духовенства со светской властью, особенно во времена петровских реформ. Отдельные разделы были посвящены биографиям и деятельности отдельных рязанским архиереям и священнослужителям: «Гавриил Бужинский, епископ Рязанский», материалы к биографии епископа Димитрия Сперовского, протоирея Виноградова, митрополита Феофила Русакова. Предметом всестороннего изучения являлась для С.Д. Яхонтова деятельность митрополита Стефана Яворского.

Взгляды и убеждения С.Д. Яхонтова сложились в 1880-е гг., уже в 1900-х гг. они казались младшим современникам архаичными и консервативными. Для Рязани 1930-х гг. он был случайно уцелевшим остатком давно ушедших эпох. Но он никогда не отказывался от разночинского взгляда на мир, состоящего в том, что «лень – мать всех пороков, и для ее изжития надо изменить режим общественной жизни».

Работал С.Д. Яхонтов в традиционном для исследователей середины XIX в. духе, который он усвоил во время учебы в Московской духовной академии. Медленная и кропотливая работа по накоплению и обработки материала и еще более неторопливая публикация ее итогов, большая часть из которых так и осталась в рукописях.

С.Д. Яхонтов обладал большими научными и общественными связями, выходящими за рамки Рязанской губернии. Позднее он вспоминал: «Каждому Всероссийскому археологическому съезду предшествовал... предварительный съезд, обычно в Москве, у графини Уваровой... Там завязывались знакомства и связи с ученым миром... а на самих съездах они закреплялись и иногда так тесно, что оставались на всю жизнь».

Другого способа и места знакомства с плеядой ученых... для нас – провинциалов не было... Кроме заседаний и общих посещений, члены также сближались, так сказать, частным образом. Членам съезда предоставлялись... казенные квартиры-общежития... Здесь душа нараспашку – споры, разговоры... Я всегда обогащался знаниями... в этой частной аудитории... в общей экономии моих духовных сил археологические съезды были особенно благотворны».

Судьба не раз наносила С.Д. Яхонтову тяжелые удары. Он потерял двух из четырех сыновей. В 1903 г. умер от тифа его сын первоклассник Сережа. Смерть его отец, как видно из дневников, переживал трудно, мучился чувством вины перед ребенком. В 1915 г. на фронте погиб другой сын Мстислав. В 1921 г. умерла, не вынеся тягот голода, жена Мария Петровна. Остаток жизни он провел с единственной дочерью Верой, так и не вышедшей замуж. Помимо череды личных неурядиц в преклонном возрасте провинциальный историк испытал последствия социальных катаклизмов, переживаемой российской общественностью. Переступив рубеж 75 лет, он был обвинен в похищении музейных экспонатов и профессиональной некомпетентности, ему пришлось пережить два обыска и арест.

После смерти С.Д. Яхонтова значительная часть личных бумаг в конце 1945 г. был передан его родственниками в Государственный архив Рязанской области, у истоков создания которого он и стоял. Этот фонд в марте 1964 г. дополнили документами, переданными на хранение Н.С. Яхонтовым, сыном историка. Последнее поступление в него датировано в мае 1970 г. В настоящий момент фонда включают 126 дел за 1874-1966 годы. Собранное в нем документальное наследие С.Д. Яхонтова и, прежде всего, его обширные воспоминания, охватывающие период с середины девятнадцатого века и вплоть до кануна Великой Отечественной войны 1941–1945 гг., являются уникальным источником для изучения переходных периодов отечественной истории и судьбы носителей профессионального исторического знания.

Д.А. Будюкин (Липецкий ГТУ)

Монашество и монастыри в «Повести о рождении моем...» князя И.М. Долгорукова

Монастыри традиционно играют важную роль в поддержании социального статуса и коллективной памяти

аристократии. Вклад в монастырь не только является актом благотворительности, но также гарантирует донатору вечные молитвы о его душе монахов, по определению компетентных в молитве и поминании [Штайндорф Л. Монастырские вклады и поминание в Московском государстве. Явление средних веков или раннего нового времени? [Электронный ресурс. – URL: http://www.dhi-moskau.de/fileadmin/pdf/Veranstaltungen/2009/Vortragstext_2009-03-05_ru.pdf. С. 4 (дата доступа: 15.03.2012)]. При этом такая забота о спасении в традиционной социальной системе была еще и своего рода символическим капиталом, повышая престиж и социальную значимость самого вкладчика и его рода, а также транслируя память о нем будущим поколениям. Как престиж, так и трансляция памяти в сословном обществе особенно важны и значимы для дворянской элиты.

Система поминания, активно развивавшаяся в России в XV-XVI вв. и достигшая на рубеже XVI-XVII вв. своего расцвета, была сложной, разработанной и социальной востребованной. Она пришла в упадок в XVII в. лишь потому, что было невозможно включить еще большее количество имен в регулярное зачитывание поминальных списков. Кроме того, когда практика вкладов с целью вечного поминания в синодике перестала быть привилегией элиты, она потеряла свою привлекательность как символ престижа. Прошло сто лет с небольшим от первых признаков упадка элитной поминальной культуры до реформ Петра Великого, когда были найдены новые формы выражения престижа, а сам правитель отвел монастырям иную роль [Штайндорф Л. Монастырские вклады и поминание в Московском государстве. Явление средних веков или раннего нового времени? – URL: http://www.dhi-moskau.de/fileadmin/pdf/Veranstaltungen/2009/Vortragstext_2009-03-05_ru.pdf. С. 16 (дата доступа: 15.03.2012)]. Среди элиты традиционная православная культура поминания не исчезла полностью, но стала играть незначительную роль в кодексе поведения. Принимать участие в ней перестало считаться важным элементом престижа, и в XVIII в. «имя вкладчика утрачивает свой средневековый сакральный смысл» [Сукина Л.Б. Вкладная книга Троице-Сергиева монастыря: антропологический ракурс источниковедческого исследования // Троице-Сергиева лавра в истории, культуре и духовной жизни России: материалы IV Международной конференции. 29 сентября – 1 октября 2004 года. М.: Индрик, 2007. С. 155]. Для изучения факторов и последствий этого процесса имеет смысл

рассмотреть представления аристократа XVIII века о монастырях, монашестве и монастырском поминании.

Князь Иван Михайлович Долгоруков, автор обширных и подробных мемуаров, по рождению принадлежал к высшей аристократии, традиционно заинтересованной в монастырской коммеморации. Большинство его предков и родственников похоронены в московских монастырях – Богоявленском и Донском [Московский некрополь / Сост. В.И. Саитов, Б.Л. Модзалевский. В 3 т. Т. 1. СПб., 1907]. В Донском монастыре впоследствии были похоронены и он сам, и его дети. Когда его жена была тяжело больна, врач «однажды не обвиняя ее сказал, чтобы она готовилась в Донской, ибо он уж не знает никаких средств к ее спасению» [Долгоруков И.М., кн. Повесть о рождении моем, происхождении и всей жизни... В 2 т. / Изд. подг. Н.В. Кузнецова, М.О. Мельцин. СПб.: Наука, 2004. Т. 1. С. 479] – значит, то, что в случае смерти ее похоронят именно в Донском, само собой разумелось. Его знаменитая бабушка княгиня Наталья Борисовна была схимонахиней, а дядя князь Дмитрий Иванович – послушником. Таким образом, монастыри должны были занимать важное место в жизни князя, и он вполне мог бы сохранить традиционные для его предков представления об аристократической *memoria* и о роли монастырей в ее поддержании.

В действительности анализ воспоминаний князя показывает совсем иную картину. Донской монастырь для него – просто родовое кладбище, очевидное и заранее известное место погребения его близких родственников, а впоследствии и его самого [Там же. Т. 1. С. 490]. Никаких представлений о том, что погребение в монастыре и поминание усопшего монахами увеличивают шансы на спасение души, в его мемуарах не прослеживается. Более того, будучи религиозным человеком [Подробнее см.: Мельцин М.О. Религиозное воспитание кн. И.М. Долгорукова // Социально-гуманитарные науки в XXI веке: мировоззренческие основы общероссийской идеологии: сборник статей и тезисов докладов международной научно-практической конференции. Май 2006. Липецк: ЛГТУ, 2006. С. 27-29], И.М. вообще относится к монашеству негативно. Рассказывая о Саровской пустыни, он пишет: «На что монастырь? На что монах? Покровительство праздности и тунеядству на счет слабоумных, кои, подавши на свечу гривну, думают закупить тем царство Божие» [Долгоруков И.М., кн. Указ. соч. Т. 1. С. 315]. И, «жели монастыри уже стали необходимы, то желательно, чтобы они все походили на Саровскую пустыню, ибо, быв в ней в разные

времена, нашел, что в числе монахов многие трезвы, не все воняют и ни одного нет ханжи» [Там же. С. 315]. Автор воспоминаний не понимает и не одобряет постригшегося в монахи дворянина [Там же. С. 364], несколько стесняется своих приятельских отношений с архимандритом Донского монастыря [Там же. С. 545]. И.М. интересуется старинными монастырями как объектами историко-культурного наследия, часто посещает их «не с тем, чтоб молиться» [Там же. С. 631]. При этом он нередко показывает свое раздражение по поводу богатства монастырей, обширности их владений, красоты занимаемых ими мест [Там же. С. 315]. Польза вкладов в монастыри для самого верующего и для общества ему непонятна [Там же. С. 475].

Таким образом, анализ «Повести о рождении моем...» кн. И.М. Долгорукова позволяет сделать вывод о том, что традиционные представления о монастырском поминовении не имеют для него никакого значения и, более того, совершенно им утрачены.

А.Н. Зарубин (Чувашский ГУ, Чебоксары)

**П.Н. Ардашев и Н.И. Никифоров:
к истории взаимоотношений учителя и ученика**

Дореволюционный историк П.Н. Ардашев (1865–1924) являлся типичным представителем научной школы В.И. Герье, продолжившим традиции последнего в области изучения истории и предыстории французской революции конца XVIII в. Взаимоотношения П.Н. Ардашева и В.И. Герье нашли уже отражение в некоторых публикациях [См.: Иванова Т.Н., Зарубин А.Н. В.И. Герье как «надёжный путеводитель» в научной карьере П.Н. Ардашева // Мир историка. Историографический сборник. Омск, 2010. С. 22-42. См. также: Иванова Т.Н. Владимир Иванович Герье и формирование науки всеобщей истории в России (30-е XIX – начало XX века): Автореф. дис. ... д-ра ист. наук: 07.00.09. Казань, 2011. С. 38-39], но совсем мало известно об учениках самого Ардашева. В данных тезисах анализируется воздействие Ардашева на научное становление и творчество его ученика Николая Ивановича Никифорова (1886–1951).

Будучи студентом Киевского университета, Никифоров активно участвовал в семинариях Ардашева и написал под его руководством сочинение «Государственные, сеньериальные и церковные повинности французских крестьян по наказам

Этампского бальяжа», которое было удостоено историко-филологическим факультетом золотой медали. В январе 1911 г. он был оставлен Ардашевым при кафедре всеобщей истории в качестве профессорского стипендиата. Летом 1911 г. по представлению историко-филологического факультета Никифоров был отправлен в заграничную командировку во Францию для сбора материалов для диссертации. По итогам командировки он опубликовал книгу «Сеньориальные повинности по наказам третьего сословия Этампского бальяжа в 1789 г.». В 1915 г. Ардашев намечал вторично отправить своего магистранта в командировку во Францию и Англию, но из-за военных действий этого сделать не удалось. Тогда Ардашев добился в 1915 г. для своего ученика назначения из средств Министерства народного просвещения командировки в Москву для сбора материалов к диссертации в библиотеках Московского университета и Румянцевского музея [Государственный архив г. Киева (далее в сносках – ГАК). Ф. 16. Оп. 465. Д. 1259. Л. 1]. После окончания командировки в 1917 г. Никифоров устроился работать исправляющим должность экстраординарного профессора Омского коммерческого института по кафедре всеобщей истории. Ардашев же, оставшись в Киевском университете, продолжал осуществлять свое научное руководство над исследовательской работой Никифорова, о чем свидетельствует активная переписка между учителем и учеником [См.: Институт рукописей Национальной библиотеки Украины им. В.И. Вернадского (далее в сносках – ИР НБУВ). Ф.1. Ед. хр. 9967, 9971. См. также: ИР НБУВ. Ф. 167. Ед. хр. 74]. В одном из писем из Омска в 1917 г. Никифоров писал: «Приношу Вам, глубокоуважаемый Павел Николаевич, искреннюю благодарность за Ваше... доброе отношение ко мне, за Ваше руководство моими научными занятиями и Ваши ценные для меня советы» [ИР НБУВ. Ф. 1. Д. 9974. Л. 16]. К сожалению, Никифоров не смог защитить магистерскую диссертацию при жизни Ардашева. Лишь в 1928 г. после дополнительной исследовательской работы в Парижском Национальном архиве он написал монографию «Сеньериальный режим во Франции в исходе старого порядка (преимущественно в Пуату)», которую в этом же году защитил как магистерскую диссертацию в Испытательной комиссии при Русской Академической Группе в Праге.

Исследования Никифорова были напрямую связаны с интересами самого Ардашева и продолжали разработку тех проблем, которые последний наметил в своих исследованиях. По вопросу о достоверности содержания наказов 1789 г. взгляды

Никифорова несколько отличались от взглядов учителя. Ардашев считал, что наказания «не выражали действительного настроения и нужд» народных масс и крестьяне в наказаниях преувеличивали ухудшение своего положения [Ардашев П.Н. Разбор книги А. Ону «Выборы 1789 года во Франции и наказания третьего сословия с точки зрения их соответствия истинному настроению стран» (СПб., 1908). СПб., 1909. С. 26]. Никифоров же считал, что крестьянские наказания отражали реальную историческую действительность и «нет оснований сомневаться в достоверности» содержащихся в них конкретных данных [Отчет о научных занятиях приват-доцента Университета Никифорова с 1-го января по 1 сентября 1916 г. Отзыв об этих занятиях проф. Ардашева // ГАК. Ф. 16. Оп. 465. Д. 1258. Л. 6. См. также: Никифоров Н.И. Сеньериальные повинности по наказаниям третьего сословия Этампского бальяжа в 1789 году. Киев, 1912. С. 45]. Наличие некоторых разночтений во взглядах между учителем и учеником, на наш взгляд, свидетельствует о том, что Ардашев не подавлял учеников своим авторитетом и не навязывал им своих исторических взглядов. В то же время нельзя отрицать того, что в работах Никифорова явно прослеживается влияние взглядов Ардашева. В своей диссертации Никифоров придерживался того же мнения, что и Ардашев, утверждавший, что в течение XVIII в. прогрессивно расширялась площадь крестьянского землевладения и росло число зажиточных крестьян [Ардашев П.Н. Провинциальная администрация во Франции в последнюю пору старого порядка. 1774–1789; Провинциальные интенданты. Киев, 1906. Т. 2. С. 260–268, 288–292; Никифоров Н.И. Сеньериальный режим во Франции в исходе старого порядка (преимущественно в Пуату). Париж, 1928. С. 33, 74]. Можно усмотреть влияние взглядов Ардашева на Никифорова в оценке взаимоотношений между крестьянами и королевской властью. Никифоров старался не писать о ненависти крестьян к королевским провинциальным интендантам и в то же время всячески подчеркивал ненависть крестьян к агентам сеньериальной администрации. По мнению Никифорова, крестьяне перед революцией искали в королевской власти союзника против сеньоров [Никифоров Н.И. Сеньериальный режим во Франции... С. 249].

Кроме того Никифоров, как и Ардашев, проявлял интерес к философии и психологии истории, о чем свидетельствуют его работы «Физические факторы исторического процесса», «Эмоциональные основы цивилизации», «Ното economicus». Политические взгляды Никифорова также были близки к монархическим взглядам его учителя [См.: Бочарова З.С.,

Ципкин Ю.Н. Харбинский этап жизни Н.И. Никифорова // История белой Сибири: Мат-лы 5-й Межд. науч. конф., Кемерово, 4–5 февраля 2003. Кемерово, 2003. С. 263]. Примечательно, что Никифоров сам постоянно подчеркивал, что он ученик Ардашева. С полным основанием Никифорова можно назвать самым близким учеником Ардашева. В целом же, на наш взгляд, личность Никифорова представляет большой интерес не только в контексте взаимоотношений с Ардашевым. Творчество Никифорова представляет самостоятельный интерес. Его труды вполне вписываются в исследовательское русло «русской исторической школы» и заслуживают дальнейшего изучения.

О.И. Зезегова (Сыктывкарский ГУ)

**«Младшее» поколение «Ecole russe»:
историографический аспект**

XIX век – время формирования научных школ в российской исторической науке. Одна из них – школа Н.И. Кареева по новистике, ставшая преемницей «русской исторической школы», – представлена двумя поколениями исследователей – «старшим» и «младшим», рубежом между которыми является перерыв в педагогической деятельности профессора в Петербургском университете в 1899-1906 гг. Именно после этого семилетнего перерыва формируется второе поколение учеников, к которому можно причислить не только студентов Петербургского университета – И.Л. Попова-Ленского, В.В. Бирюковича, Я.М. Захера, П.П. Щеголева, Е.Н. Петрова, но и слушательниц Высших Бестужевских курсов – А.А. Матвееву-Леман, С.М. Глаголеву-Данини, М.А. Буковецкую. Развитие школы, продолжение традиций происходило не только в аудиториях учебных заведений на лекциях, семинарах, но и вне университетских стен. Практика проведения занятий на дому у профессора, на наш взгляд, была связана не столько со сложившимся коммуникативным укладом, сколько была вынужденной мерой. В 1918–1920-х гг., когда обучение проходили «младшие» ученики, университет не оплачивался, и профессора вынуждены были проводить занятия в домашней обстановке.

Первые сведения о формировании «младшего» поколения этого коммуникативного сообщества содержатся в воспоминаниях Кареева «Прожитое и пережитое», опубликованных спустя десятилетия после их написания

(Л., 1990), в которых профессор упоминает своих «обещающих в будущем учеников». Мемуары Кареева свидетельствуют о том, что он выделяет некоторых из своих студентов в качестве «своих». Но воспринимали ли указанные выше студенты Кареева как «своего» учителя? В поисках ответа на этот вопрос обратимся к историографической статье Глаголевой-Данини «Крестьянство и аграрный вопрос в эпоху великой революции» (Анналы. 1922. Вып. 1), где читаем: «Вспомним, что русские ученые к решению спорных научных вопросов привлекали внимание своих университетских учеников: у проф. Лучицкого на Высших Женских курсах была настоящая научная лаборатория, куда приносился учителем и анализировался учениками, каждый вновь приходивший том из Коллекции документов по экономической истории французской революции...; у проф. Кареева в течение многих лет изучались указы, делалась выборка материала по разным рубрикам, причем применялся метод статистических подсчетов». Таким образом, студенты воспринимали себя как ученики не конкретного профессора, а целой школы, именуемой «русской». Подчеркнем тот факт, что статья опубликована после установления в стране советской власти, и поэтому Данини сетует на разрыв связей с французскими учеными, но верит, что «в воспоминаниях о тех, кого уж нет, пользуясь советами тех, кто остался, молодые ученые будут черпать энергию в надежде, что настанет день, когда восстановится научное общение и вновь забьют пульс научной жизни». В 1920-е гг. российско-французские связи еще сохраняются. На страницах журнала «Историк-марксист» (1929, №14) А. Матъез сожалеет о том, что не овладел русским языком, чтобы в подлиннике читать исследования целой плеяды историков, «владельцев прекрасными методами и воодушевленных стремлением к точности, к истине». В 1928–1929 гг. самые благонадежные молодые историки – Щеголев и Захер – получают возможность поработать во французских архивах.

Однако надежда молодых на восстановление научного общения не оправдывается, очень скоро «Анналы» – своего рода рупор последователей «русской исторической школы» – запрещается, а его редактор Е.В. Тарле и авторы статей подвергаются жесткой критике. В советской стране начинается процесс пересмотра истории с позиций марксистской методологии и поэтому принцип многообразности, многовариативности заменяется монометодологическим пониманием исторического процесса. В условиях смены научной

парадигмы не остается места для немарксистских школ, начинается их вытеснение. Эти события приводят к размежеванию в среде последователей «Ecole russe». На московском заседании историков-марксистов, стенограммы которого опубликованы в книге «Классовый враг на историческом фронте» (М.-Л., 1931), Щеголев выступает одновременно и кающимся, и обвинителем, и обвиняемым. Он обличает своего научного руководителя Тарле и соучеников по семинарию Кареева: «Когда ставится вопрос о Тарле и о других буржуазных историках, имеются в виду не только они одни, но и их окружение, их школы... Данини обосновала на материалах по истории Дофинэ основную тезу Тарле. Могу указать на целый ряд других примеров... Попов-Ленский написал в свое время книгу о Барнаве, получившую ряд хвалебных отзывов марксистской критики. Затем он написал книгу о Лильборне, в которой развил то положение, что в английской революции народные массы никакого участия не принимали. Это была революция, которая обошлась без бунтов, без крестьянских выступлений и проч. Кареев похвалил Попова-Ленского, – это понятно. Но что его похвалили в нашей прессе, – это никуда не годится. Кроме Данини и Попова-Ленского следует упомянуть также Петрова и Бирюковича... Это оказывается, школа, давшая кое-какие пароли, продолжавшая цвести в послереволюционный период». Захер не присутствовал на указанном выше заседании, но вынужден был написать покаянное письмо, в котором он старался говорить «не только и не столько о Тарле, сколько о самом себе». Несмотря на желание быть корректным, Захеру это не всегда удается. Он пишет: «Работая в 1918-1922 гг. в семинариях Тарле и Кареева, я, как мне тогда казалось, проводил в своих взглядах марксистскую точку зрения и противопоставлял ее взглядам таких типичных учеников этих профессоров, как Попов-Ленский, Бирюкович, Глаголева-Данини и др. Однако сейчас для меня вполне ясно, что этот «марксизм» был ничем иным, как «марксизмом» куатсикианско-гильфердинского типа и именно поэтому, конечно, Кареев и Тарле, критикуя мои выступления, вместе с тем не только терпели меня в качестве своего ученика, но даже и выдвигали вперед».

Советские ученые В.А. Дунаевский, Г.С. Кучеренко, А.В. Адо, Е.В. Гутнова в своих историографических трудах упоминали «эпигонов русской школы». Историографы эпохи «хрущевской оттепели» смягчили оценки и утверждали, что, «учась исследовательской технике у Кареева, используя его огромный опыт и багаж фактических знаний, большинство его

учеников совершило в условиях советской действительности движение к усвоению марксистского мировоззрения».

Научное наследие и творческий путь «младших» учеников «русской исторической школы» интересуют современных историков. Первые упоминания встречаются в монографиях Г.П. Мягкова, С.Н. Погодина, затем появляются отдельные публикации о Я.М. Захере, В.В. Бирюковиче, М.А. Буковецкой, Н.П. Соколове, П.П. Щеголеве, С.М. Глаголева-Данини. Возможно, настало время обратить пристальное внимание к феномену «младшего» поколения «русской исторической школы», поскольку в этом случае будет реконструирована преемственность поколений дореволюционной и советской научных школ, так называемый «незримый колледж».

В.Е. Колупаев (Центр «Христианская Россия»,
Сериате, Италия)

Интеллектуальная биография М.А. Таубе на фоне эпохи в России и зарубежье

Наследие Михаила Александровича Таубе (1868–1961) принадлежит двум мирам – Российской империи и Русскому Зарубежью. М.А. Таубе – барон, выходец из старинного немецкого рода, известного с XIII в., профессор Санкт-Петербургского, Харьковского и Мюнстерского университетов, член Академии Международного права в Гааге, действительный член Императорского исторического общества, Императорского общества ревнителей исторического просвещения, почетный член Московского археологического института, Витебской, Тульской и Псковской губернских ученых архивных комиссий и Псковского археологического общества; действительный член Санкт-Петербургского философского общества, почетный член Общества классической филологии; государственный деятель, сенатор и тайный советник, член Государственного Совета – после Октябрьской революции 1917 г. эмигрировал в Финляндию, затем жил в Швеции, Германии, в 1928 г. переехал в Париж. Таубе – автор научных работ междисциплинарного характера по византиноведению и истории международного права, истории российской государственности в связи со

смежными вопросами культуры, истории церкви, места Руси–России в европейской семье народов и в мировой истории.

Работы Таубе по генеалогии, предпринятые им еще в дореволюционный период: «Stammtafel der freiherl. Zweiges d. Familie von Taube aus d. Hause Maart u. Hallinap» [SPb, 1899], «Beiträge zur Baltischen Familiengeschichte» опубликована в «Jahrbuch für Genealogie, Heraldik und Sphragistik» [Mitau, 1900, 1902, 1930] и «Archiv des uradeligen Geschlechts Taube, sonst Tüve genannt» [SPb, 1910-1911] – и продолжавшиеся в зарубежье: «Genealogisches Handbuch der Baltischen Ritterschaften: Estland» [T. I. Görlitz, 1930] и «Die von Uxküll: 1229-1929» [Berlin, 1930 и Tallin, 1936] – объясняют традицию балтийских немцев считать себя потомками древних владетелей страны, русских и балтийских князей.

Продолжением дореволюционного творчества, представленного в работе «История зарождения современного международного права: Средние века» [Т. 1. СПб, 1894, Т. 2. Харьков, 1899], стал труд «Развитие международных отношений и права в восточной Европе», в котором Таубе дает очерк политико-религиозных взаимоотношений между Римской Церковью и Русью. В основе работы публичные лекции, прочитанные в 1924 и 1926 гг. в Гааге и курс 1927 г. «Le développement historique du droit international dans l'Europe Orientale» в Католическом университете Лувена (Бельгия). В 1926 г. в Брюсселе опубликован исторический очерк «La Russia et l'Europe Occidentale a travers dix siecles», где автор рассматривает татарское нашествие как причину, оторвавшую восточную Русь от западного мира, где прежде существовал своеобразный древнерусский «союз государств» в составе Руси – наследницы князей св. Владимира и Ярослава, включая феодальные удельные княжества, республики-города Новгород и Псков, а также территорий Галицких князей. Это было единое политическое, экономическое и культурное пространство «международного общения» западной и центральной романо-германо-славянской Европы, можно сказать некий первообраз Unia Europea (Евросоюза). По мнению Таубе, эта так называемая «Respublica Christiana» мыслилось, прежде всего, как культурное взаимодействие народов, где Русь действительным образом активно участвовала в происходящих событиях европейской жизни.

В 1929 г. в Берлине печатается немецкое издание работы «Князь Аскольд», в 1947 г. книга вышла во французском варианте. К 1929 г. относится издание на русском языке в Праге статьи «Загадочный родовой знак семьи Владимира Святого», статья была помещена среди материалов под общим названием

«Сборник, посвященный П.Н. Милюкову (1859–1929)». Более глубокое и расширенное исследование поднятой темы продолжилось в работе «Родовой знак семьи Владимира Святого в его историческом развитии и государственном значении для Древней Руси», которая была опубликована во Владимирском сборнике [Белград, 1938]. Здесь автор считает нижнее течение Западной Двины входившим в сферу влияния русских князей с XI в.

В работе на немецком языке, изданной в Берлине в 1935 г., Таубе продолжает исследование вопроса о средневековой «немецкой» Ливонии и ее правителях, выясняя, что русская кровь текла в жилах балтийских дворян. Гипотеза Таубе о псковско-лаптальском Герцике) князе Всеволоде Мстиславовиче расширяет ареал и хронологические рамки русского присутствия в балтийском регионе.

В 1940 г. в Гааге печатается книга Таубе «Участие Византии в развитии западного международного права». В 1946 г. он пишет предисловие к французскому изданию книги J.J. Garanovitch «Historiographie russe (hors de la Russie)», выпущенной Nikitine B.P. [ed. and tr. Paris, 1946]. В 1947 г. парижское «Les Éditions du Cerf» печатает его книгу «Rome et la Russie avant l'invasion des tatars (IX-XIII siècle). Le prince Askold, les origins de l'état de Kiev et la première conversion des russes (856–882)». Это специальная работа о формах ранней русской дипломатии. В ней автор утверждает, что именно византийские правовые документы повлияли на формирование восточнославянского и древнерусского права, однако, при этом следует принимать во внимание, что именно Западная Европа дала наибольшее количество документальных свидетельств, исторических, богословских и философских работ с обоснованием взгляда на проблемы войны и мира. На христианском Востоке война, безусловно, рассматривалась как зло и грех, как безнравственное занятие, а в западных трактовках началось развитие понимания войны как справедливого и оправданного действия, утверждались моральные основания для правовой базы оправдания т.н. «христианских» войн. Здесь нельзя обойти вниманием переписку 1902–1903 гг. Таубе с Л.Н. Толстым [См.: Колупаев В. Лев Николаевич Толстой и новое о нем (по русским католическим источникам в Италии) // Новое литературное обозрение. 2011, № 109].

Неизвестны и малодоступны работы Таубе, опубликованные в зарубежных локальных периодических изданиях и pro manuscript. В сборнике «Католический

временник», который издавался Обществом св. Иоанна Златоуста в Париже, в 1928 г. появилась статья Таубе «Рим и Русь в до-монгольский период», далее в 1950-е годы выходили в свет лекции профессора в бюллетене «Наш приход» (хранится в архиве Центра «*Russia Cristiana*», Сериате, Италия). В этом же приходском издании русской католической церкви византийско-славянского обряда в Париже, активным прихожанином которой был барон, он публиковал отдельные сочинения малого формата.

Рукописные материалы архивной коллекции Таубе хранятся в Бахметьевском архиве Колумбийского университета, США.

Наследие Таубе, незаслуженно забытое и ждущее своего изучения на полках зарубежных учреждений, архивов и библиотек, достойно быть востребованным отечественной наукой.

А.А. Кузнецов (Нижегородский ГУ)

Новые данные к биографии А.Е. Кудрявцева (по материалам фонда С.И. Архангельского)

В личном фонде Сергея Ивановича Архангельского Центрального архива Нижегородской области (ЦАНО) хранятся материалы к биографии его коллеги, специалиста по истории Англии Александра Евгеньевича Кудрявцева: письма самого А.Е. Кудрявцева, его вдовы, ученика Генриха Рувимовича Левина, коллег – Инны Ивановны Любименко, Евгения Алексеевича Косминского.

В конце 1930-х гг. С.И. Архангельский решил переехать в Ленинград и подумывал о месте новой службы в Педагогическом институте. В ответ на его вопрос И.И. Любименко в письме от 3.9.1939 ответила, что знает из этого института историка Кудрявцева, который читал в 1920-е гг. доклад об Ост-Индской компании, по ее мнению, «на редкость слабый» [ЦАНО. Ф. 6299. Оп. 1. Д. 215. Л. 14]. К тому времени С.И. Архангельский знал А.Е. Кудрявцева лично и поддерживал с ним товарищеские и деловые отношения. Первое письмо Кудрявцева Архангельскому датировано 10.06.1934. В нем Кудрявцев положительно отзываясь о рукописи Архангельского, сообщает о своих исследованиях, научных новостях Ленинграда и просит нижегородца прислать его публикации. Большой интерес у Кудрявцева вызвала опубликованная в Нижнем записная книжка В.Г. Короленко, и он просил ее выслать [Там же. Д. 196. Л. 1-2об.]. Второе письмо датировано октябрём 1939 г. Разрыв в

датах объясним тем, что в Ленинграде жил сын С.И. Архангельского Константин и через него осуществлялся обмен информацией.

Во второе письмо вложено письмо трех аспирантов Кудрявцева с вопросами Архангельскому. Из них надо выделить Г.Р. Левина. С ним, начиная с 1942 г., переписывался Архангельский. 8.10.1942 Левин дал о себе знать: «Не знаю, помните ли Вы меня, но Вы присутствовали на моем докладе в институте истории на тему “Борьба за демократию в армии Кромвеля в 1647 г...” Знаете ли Вы о смерти А.Е. Кудрявцева? Он умер во время эвакуации из Ленинграда» [Там же. Д. 206. Л. 1].

Архангельский знал о смерти коллеги от его жены Н.В. Андреевской – письмо от 25.5.1942.: «Вы, наверно, знаете о тяжелой нашей утрате – умер Александр Евгеньевич Кудрявцев. В декабре его эвакуировали с группой профессоров педвуза Герцена. Ехали мы в очень тяжелых условиях, после трех месяцев исключительно тяжелой жизни в Ленинграде. В дороге он почувствовал себя плохо. Я с дочерью убеждала его остаться в Вологде, где у него был его аспирант, очень его любивший. Вы его знаете, Левин, он писал работу по Английской революции. Ал. Евг. отказался. Ночью Ал. Евг. сделалось дурно. Нас высадили в Галиче. Не приходя в сознание, он умер в Галиче. После похорон мы с дочерью догнали в Кирове группу педвуза... Знаю, что Вы всегда исключительно тепло и хорошо относились к Ал. Евг. Вы, может быть, в состоянии как-нибудь мне помочь. Положение мое и материальное и моральное очень тяжелое. Дочь после всех переживаний, голода в Ленинграде совсем больна, у ней туберкулез легких. Сын Ал. Евг., который работал на Алтае и звал нас к себе, призван в армию... В бумагах Ал. Евг. нашла Вашу открытку. Он вез Вам свои последние работы» [Там же. Д. 79. Л. 1-1об.].

В ноябрьском письме 1942 г. Г.Р. Левин сообщал, что набросал «проект» некролога А.Е. Кудрявцева и отослал его В.М. Лавровскому, Е.А. Косминскому и С.И. Архангельскому с просьбой отредактировать и подписать. Левин хотел опубликовать некролог в «Историческом журнале» и просил Архангельского отослать туда текст некролога [Там же. Д. 206. Л. 2]. 12.12.1942 Е.А. Косминский писал Архангельскому: «Я получил от В.М. Лавровского прилагаемый при сем некролог А.Е. Кудрявцева с предложением подписать его и направить его к Вам для подписи и пересылки в “Исторический журнал”. Если Вы согласны с данным текстом, то подпишите и перешлите в Москву в редакцию

«И.ж.» с соответствующим письмом» [Там же. Д. 193. Л. 15]. Последнее по времени упоминание о некрологе Кудрявцева встречается в письме Левина 16.2.1943: «Вл. Мих. пишет, что Е.А. Косминский подписал некролог А.Е. Кудр. и переслал его Вам для подписи» [Там же. Д. 206. Л. 5]. Затем тема некролога не поднималась в письмах Архангельскому. Не обнаружена его публикация, его содержание и местонахождение неизвестны.

Далее А.Е. Кудрявцев упоминается после войны. И.И. Любименко в 1950 г. писала: «Приходится разбирать наследство покойного профессора Кудрявцева. Он оставил после себя в Институте Герцена англистов» [Там же. Д. 215. Л. 85]. Еще раньше о Кудрявцеве вспомнил Левин. В январе 1946 г. он благодарил Архангельского за согласие написать воспоминания о Кудрявцеве и передавал благодарность Андреевской за то, что Архангельский сумел для нее сделать. Говоря об учителе Кудрявцева, Левин неверно информировал Архангельского о С.В. Ешевском: «На В/вопрос об учителе А.Е. могу только сообщить, что он учился в Юрьевском ун-те, где тогда как-будто работал Ешевский. Может быть, его влияние в какой-то степени и сказалось на А.Е.» [Там же. Д. 206. Л. 11]. Более четкие очертания идея мемориального сборника обрела в конце 1946 г.: «Несколько дней тому назад мы отмечали пятилетие со дня смерти Александра Евгеньевича Кудрявцева. Мне, его ближайшему ученику, пришлось много труда потратить на организацию научного заседания. На нем был доклад о работе А.Е. над испанскими проблемами, а также мое сообщение – “А.Е. Кудрявцев и проблемы англистории XVII в.” Было много выступлений с воспоминаниями о покойном. Сейчас кафедра решила издать сборник памяти А.Е. Предполагается дать несколько статей об А.Е. Боюсь затруднить Вас своей просьбой, но не могу удержаться от желания видеть и Вас в числе участников сборника памяти А.Е. Нельзя от Вас получить небольшую статью о покойном? Ведь Вы много раз встречались с покойным» [Там же. Д. 206. Л. 26-26об.]. До выхода в 1948 г. мемориального сборника (Ученых записок) со статьей Архангельского «Воспоминание о профессоре А.Е. Кудрявцеве» Левин отчитывался перед Архангельским о ходе работы над сборником.

Другая тема писем Архангельскому в связи с Кудрявцевым – это его библиотека. Вопрос о ней был закрыт в 1952 г. Еще в марте Левин писал: «На днях Нагалья Владимировна Андреевская говорила мне, что она собирается продать англ. книги из библиотеки покойного А.Е. Кудрявцева. Я

вспомнил, что Вы давно справлялись об этом и решил Вам написать. Если Вы интересуетесь этими книгами, напишите мне или непосредственно Н.Вл.» [Там же. Д. 206. Л. 67]. Но уже в мае ученица Архангельского сообщила: «10-го встретилась с... Андреевской и оказывается, что она, буквально перед моим приездом, продала все книги, оставшиеся после А.Е. Кудрявцева, Московской б-ке им. Ленина. Я спросила, почему же она Вам не написала, ну и она призналась, что думала, что Вы не располагаете такой суммой – 20 000 руб., а ей очень нужны деньги. Переговоры же с библиотекой вела ее дочь, и вела очень давно. Книги уже увезли, так что мне не пришлось воспользоваться ими здесь. И очень жаль, что они не перешли к Вам» [Там же. Д. 98. Л. 1].

М. П. Лантева (Пермский ГУ)

Интеллектуальная интуиция как элемент интеллектуальной биографии

Интуиция без интеллекта – несчастный случай.

П. Валери

Для развития жанра интеллектуальной биографии немалое значение имеет выяснение его особенностей, иначе говоря, определение того, чем данный жанр отличается от других вариантов биографий. Попытка найти некоторые его особенности была предпринята П.А. Алиповым в докладе на конференции в РГГУ. Автор проанализировал несколько монографий и статей, в названии которых прямо указано, что это интеллектуальные биографии, и сделал попытку их типологизации [Будущее нашего прошлого. М., 2011].

На мой взгляд, некоторый нюанс этого жанра может быть обозначен за счет привлечения относительно новых терминов, дающих иные существенные возможности исследования материала. Один из таких терминов – *интеллектуальная интуиция*, понятие, пригодное как для характеристики творческих особенностей персонажа интеллектуальной биографии, так и для критических текстов будущих рецензентов, оценивающих успехи или неудачи ее автора.

Насколько мне известно, впервые это понятие употребил Р. Декарт. Некоторые современные авторы применяют понятие *исследовательская интуиция*. Так, К.В. Хвостова подчеркнула роль исследовательской интуиции авторов, стремящихся

обобщить результаты коллективной аналитической деятельности профессионального сообщества [Хвостова К.В. Знание о прошлом в современной культуре // Вопросы философии. 2011. С. 31]. Тем не менее, объем этих понятий неодинаков: понятие интеллектуальной интуиции гораздо шире. Спиноза вообще полагал, что интеллектуальная интуиция – это высший род познания. Шеллинг отождествил ее с интеллектуальным созерцанием.

На огромном значении интуитивного понимания в научном творчестве настаивал В. Дильтей [Dilthey W. *Gesammelte Schriften*. Leipzig, Berlin, 1924. Bd. 5-6. S. 36-41]. Его последователь А. Бергсон, создав философскую систему интуитивизма, настаивал на том, что в процессе эволюции интуиция пала жертвой интеллекта. Полагая, что интуиция главенствует в духовной жизни, он утверждал, что духовную сущность человека можно постичь лишь «погрузившись» в интуицию и перейдя от нее к интеллекту, тогда как от интеллекта мы никогда не можем перейти к интуиции. Поскольку Бергсон противопоставлял интуицию интеллекту, то его интуитивизм позже назвали «антиинтеллектуальным» в отличие от наивного интуитивизма Декарта. М. Бунге выделял три вида интуиции: чувственную, мистическую и интеллектуальную (он считал ее рациональной) [Бунге М. *Интуиция и наука*. М., 1967. С. 5,18].

Учение об интеллектуальной интуиции занимает центральное место в теории познания Э. Гуссерля. Он называл ее философской, считал высшим родом познания, но отличал от прямой интуиции, возникающей из «смеси инстинкта и метода». Только философская интуиция, по его мнению, помогает открыть бесконечное поле работы и дает возможность получить массу точнейших сведений без особых методов, без аппарата умозаключений и доказательств [Гуссерль Э. *Философия как строгая наука*. Новочеркасск, 1994. С. 79,174].

Можно привести несколько примеров того, как биографам удавалось подметить роль интеллектуальной интуиции своих героев, даже если при этом они и не пользовались данным термином. Так, оценивая роль Й. Хейзинги в историографии культуры, автор послесловия к одной из его книг пишет о «парадоксе интуитивистской методологии», воплощенном в творчестве голландского историка, почти не интересовавшегося методологическими проблемами истории.

Хейзинга во время обучения особенно себя не проявил, однако, по мнению профессора, рекомендовавшего его на кафедру истории, обладал важной для историка способностью

«видеть» минувшее, видеть «движение истории в смене живых форм, сущностей, жизненных укладов» [Михайлов А.В. Йохан Хейзинга в историографии культуры // Хейзинга Й. Осень средневековья. М., 1988. С. 421]. Это «видение» оказалось сильнее рациональной мыслительной работы. Методологическое упрямство Хейзинги позволило ему открыть окно в XV столетие.

Второй пример взят мною из текста издателя и автора комментариев к полному собранию сочинений Кафки. Клод Давид полагает, что биограф не должен объяснять жизнь своего героя, исходя из его творчества, однако сам же нарушает это правило, основанное на признании независимости творчества. Клод Давид обратил внимание на те мысли Кафки в тексте «Приговора», которые он не доверял ни друзьям, ни дневнику. А вот литературное творчество открыло Кафке самого себя и сказало о нем больше, чем «Дневник», и даже «больше, чем он знает или хотел бы знать» [Давид К. Франц Кафка. Ростов-на-Дону, 1998. С. 55].

К сожалению, я далеко не сразу обнаружила, что понятие *интеллектуальная интуиция* могло бы пригодиться мне в попытках добавить несколько штрихов к биографии В. Набокова. Я предположила, что его явная нелюбовь ко всему немецкому имеет иррациональное происхождение [Лаптева М.П. Владимир Набоков и Германия // Копелевские чтения. 2002. Россия и Германия: диалог культур. Липецк, 2002; Она же. Феномен непонимания: Германия в жизни В.В. Набокова // Вестник Пермского университета. История. Пермь, 2002. Вып. 3; Она же. В. Набоков и немцы: к проблеме этнического непонимания // Национальные образы прошлого. СПб., 2008].

С помощью понятия *интеллектуальная интуиция* было бы легче объяснить некоторые особенности поведения Набокова. Так, например, он тщательно уничтожал черновики, рукописи и даже некоторые письма и записки. Возможно, что он не хотел раскрыть тайны своей интуиции. Отвечая на вопросы журналистов, Набоков часто говорил однозначно, словно не хотел пустить посторонних в дебри своей жизни. Еще совсем молодым он словно бы предвидел возможные спекуляции вокруг особенностей своего творчества, когда в стихотворении августа 1918 года писал: «...Каждый звук был проверен и взвешен прилежно, // каждый звук, как себя, сознаю, // а меж тем назовут и пустой и небрежной // быстролетную песню мою...»

Впервые я воспользовалась термином *интеллектуальная интуиция* в рецензии на книгу американского историка по проблемам исторической эпистемологии [Лаптева М.П.

Интеллектуальная интуиция Алана Мегилла // Вестник Пермского университета. Политология. История. Пермь, 2009. Вып. 2(9)]. Мне хотелось убедить читателей в невероятной научной проницательности А. Мегилла, давшего ответ на самые важные вопросы теории исторического познания. Означало ли это, что я отождествляю понятия *интуиция* и *проницательность*? И да, и нет, ибо каждое слово добавляет какой-то оттенок смысла, даже если мы пока не можем четко его определить. По словам Гете, «в том, что известно, пользы нет. Одно неведомое нужно».

Немецкий исследователь Я. Ассман назвал современную науку «организованным поиском истины» [Ассман Я. Культурная память. М., 2004. С. 309]. На мой взгляд, к истине можно только приблизиться, поэтому в безграничном и вечном процессе творчества интеллектуальная интуиция играет не меньшую роль, чем рациональные средства познания, а доказать это могут как раз авторы интеллектуальных биографий.

О. В. Метель (Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского)

**Может ли теолог быть историком,
или «случай» Альфреда Луази***

Проблема взаимоотношений науки и религии является одной из наиболее актуальных для современных ученых, столкнувшихся в последние десятилетия с кризисом традиционных исследовательских канонов, что заметно как в области естественных наук, так и в гуманитаристике. Сформулированные в XIX в., в эпоху торжества сциентизма, каноны научности дают системные сбои, требуя своего существенного пересмотра, связанного, в первую очередь, с обращением к истокам, т.е. к критическому анализу процесса их формирования и утверждения.

В области науки о религии в качестве основополагающих постулатов получили утверждение принципы: а) *светскости*, т.е. независимости исследователя от любых догматических предрассудков, б) *историчности*, связанный с прочтением религиозных феноменов в границах их исторического развития. Во Франции становление указанных принципов было связано с именем Э. Ренана, покинувшего в 1845 г. лоно Церкви на том

** Работа проводилась при финансовой поддержке Министерства образования и науки РФ, государственный контракт № 14.740.11.1306

основании, что она не дает полную истину. В предисловии к «Жизни Иисуса» Э. Ренан уподобляет правоверного богослова птице в клетке, а либерального – птице с подрезанными крыльями, указывая, что на путь историка богословов никогда не ступит, меж тем «критические исследования, относящиеся к происхождению христианства будут завершены только тогда, когда они будут проводиться в духе совершенно светском» [Ренан Э. Жизнь Иисуса. М., 1991. С. 21].

Победа принципа независимости от религиозных предрассудков в научных исследованиях в области изучения религиозных феноменов была одержана во Франции во многом благодаря общим принципам лаицизма, широко распространившимся в Третьей республике. Однако, данная модель была отнюдь не единственной. Католическая экзегеза XVII в. в лице Р. Симона и немецкая протестантская либеральная теология, нашедшая отражение в трудах страсбургского профессора Э. Реусса, поставили вопрос о принципиальной совместимости научного поиска и религиозных убеждений. На рубеже XIX–XX вв. выражением данной линии стали работы католического аббата А. Луази, настаивавшего на необходимости *сохранения* церковного авторитета как руководящей линии при проведении научных изысканий в области первохристианской истории на том основании, что области веры и разума не должны смешиваться между собой.

А. Луази родился в 1857 г. в крестьянской семье в небольшом местечке на севере Франции. Проявив во время учебы значительные способности, он, однако, вопреки желанию семьи решил посвятить свою жизнь служению Богу и в октябре 1870 г. пошел в семинарию. В отличие от Э. Ренана, А. Луази не уделял значительного внимания немецкой критике, но и не отставал от новейших идейных течений, знакомясь с современной философской литературой. Он также изучал еврейский язык. Способный ученик привлек к себе внимание руководителей семинарии, которые приняли решение отправить его учиться в недавно открывшийся в Париже католический институт (1875). Прочувшись в данном заведении около года, А. Луази решил вернуться в семинарию и принять сан. Получив по окончании семинарии место приходского священника, уже через год он, однако, вернулся в католический институт Парижа.

Защита в 1890 г. диссертации, посвященной истории канона Ветхого Завета, открыла перед А. Луази новые перспективы развития академической карьеры, но, вместе с тем, обозначила основные линии неприятия выводов молодого экзегета

консервативными представителями Церкви. Но подлинное столкновение было впереди. В 1902 г. А. Луази опубликовал скандально известную «le petit livre rouge» («маленькую красную книжку»), где представил результаты применения историко-критического метода к первохристианской истории [Loisy A. L'Évangile et l'Église. P., 1902]. Книга вызвала острую полемику в католической среде и подверглась осуждению римской курией как база модернистской ереси. Предпринятая затем попытка прояснить свою позицию [Loisy A. Autour d'un petit livre. P., 1903] не имела успеха: работы А. Луази были внесены в Индекс запрещенных книг, а сам автор отлучен от Церкви. Тяжело переживая данное потрясение, *потеряв веру*, А. Луази, вплоть до самой смерти в 1940 г., продолжал свои изыскания в лоне светских академических учреждений, ведь уже в 1909 г. он был избран профессором кафедры истории религий в Коллеж де Франс, которую некогда занимал Э. Ренан. Дальнейшая интеллектуальная эволюция А. Луази была связана с развитием историко-сравнительного метода применительно к христианству и некоторым другим религиозным системам, а также с подготовкой ряда экзегетических работ.

В целом, эволюция мысли А. Луази шла от деконструкции Священного Писания к деконструкции первохристианской истории в целом, причем главным орудием экзегета на данном пути стала *история*. Любопытно, что мы не чувствуем серьезного разрыва между идеями данного автора в церковный и внецерковный периоды. Уже в своей диссертации католический экзегет поставил вопрос об историческом характере библейских книг, прошедших в своем развитии ряд последовательных фаз и не содержащих точную и реальную историю происхождения мира и человека. Далее, А. Луази, стремясь доказать необоснованность требований протестантского либерального богослова А. Гарнака поставить в центр всего христианства Евангелие, обращается к анализу Нового Завета, рассматривая отраженное в его текстах учение Иисуса Христа. Вместе с тем, весьма любопытно, что проведенный им источниковедческий анализ новозаветных текстов в целом вполне согласуется с идеями немецких протестантов, что особенно заметно в отношении канонических Евангелий. В монографии «Вокруг небольшой книги» А. Луази рассматривает появление христианства как земное явление, связанное с проповедью человека-Иисуса, за которым он, впрочем, признает также божественное достоинство. Дальнейшая история первоначального христианства – это история ряда кризисов, первый из которых наступил сразу после смерти

Иисуса Христа, второй был связан с вхождением в языческий мир и, наконец, третий – с утверждением концепции христианского Бога на основе греческой философии. Завершающей фазой развития научной концепции А. Луази стало помещение первоначального христианства в один ряд с другими религиями древности при помощи историко-сравнительного метода [Loisy A. Les mystères païens et le mystères chrétiennes. P., 1919; Loisy A. Le mandéisme et les origins chrétiennes. P., 1934; Loisy A. La naissance du christianisme. P., 1933].

Иными словами, пример А. Луази еще раз наглядно демонстрирует, что понимание научного поиска как исключительно *светского* отнюдь не вытекает из его природы, а возникает как исторически изменчивое, навязанное извне обязательное условие. Причем, сказанное относится как к протестантизму, традиционно ассоциировавшемуся со свободным исследовательским поиском, так и к католицизму.

Н.В. Некрасова (РГГУ, Москва)

Источники реконструкции интеллектуальной биографии тверского историка В.И. Колосова (1854-1919)

Исследование жизни и творчества провинциального историка второй половины XIX – начала XX в. необходимо начать с авторских дефиниций понятий «провинциальная историография» и «провинциальный историк». В современной историографии активное изучение творчества провинциальных историков и сообществ, в рамках которых они действовали, началось более двух десятилетий назад. Начало изучению провинциальной историографии было положено историками А.А. Севастьяновой [Севастьянова А.А. Историография русской провинции второй половины XVIII в. (к постановке проблемы) // История СССР. 1991. № 1. С. 34-142; Она же. Русская провинциальная историография второй половины XVIII века. М., 1998] и В.А. Бердинских [Бердинских В.А. Уездные историки: Русская провинциальная историография. М., 2003]. Понятием «провинциальная историография» мы, вслед за Севастьяновой, обозначаем историописание в русской провинции во второй половине XVIII – начале XX в. (до оформления краеведческого движения в 1920-е гг.). Таким образом, провинциальный историк – создатель исторических трудов в провинции в означенный период.

Обращение к интеллектуальной биографии провинциального историописателя представляется нам актуальным по нескольким причинам. Во-первых, актуальность связана с «антропологическим поворотом» в историческом знании, персонализацией предмета истории и оформлением таких проблемных полей, как историческая антропология, интеллектуальная история, новая биографика, новая локальная история. Следующая причина – растущее внимание профессиональной историографии к своей истории, саморефлексия по поводу взаимодействия и сосуществования научно ориентированной и социально ориентированной практик историописания.

Тверской историк В.И. Колосов «имеет право» на научную биографию: преподаватель всеобщей и русской истории в Тверской духовной семинарии, историк, археолог, археограф, хранитель Тверского историко-археологического музея, товарищ председателя Тверской ученой архивной комиссии (далее ТУАК), председатель совета Тверского общества любителей археологии, истории, естествознания, автор более 40 работ по истории Тверского Верхневолжья и церковной истории.

Интеллектуальная биография – это синтез биографического, текстуального и социокультурного анализа [см.: Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М., 2011. С. 313]. Реконструкция интеллектуальной биографии В.И. Колосова предполагает изучение жизненного мира провинциального историка в широком социокультурном контексте, исследование его модели историописания, определение уровня и типа репрезентируемого им исторического знания.

Для реконструкции интеллектуальной биографии мы используем типологию биографического жанра, предложенную Д. Уокером [см.: Нейман А.М. Биография в истории экономической мысли: опыт интеллектуальной биографии Дж.М. Кейнса // История через личность: Историческая биография сегодня. М., 2010. С. 332-333]. Изучение биографии личности (время и место рождения, семейные корни, воспитание, черты характера, личная жизнь), библиографической биографии (анализ трудов автора), профессиональной биографии (профессиональная деятельность, отношения внутри профессиональных сообществ), ситуационной биографии (события и условия социально-экономической и политической жизни общества и эпохи) предполагает обращение к широкому кругу источников.

Источниковая база нашего исследования представлена, в основном, трудами В.И. Колосова (опубликованными и неопубликованными), документами личного происхождения (так называемыми эго-документами) и делопроизводственными документами. Корпус источников достаточно репрезентативен. Труды В.И. Колосова – весьма обширный корпус историографических источников, включающий монографические исследования, исторические очерки, рецензии, предисловия к публикациям документов, методические работы по преподаванию истории, некрологи. Представляется необходимым систематизировать историографические источники по тематическому и хронологическому признакам. Творчество провинциального историка необходимо изучать в проблемном поле новой локальной истории, обращая внимание на исторический дискурс, выбор источников для построения исторического нарратива, приемы работы с источниками, на конструкцию и содержание текстов.

Начато изучение комплекса архивных документов личного происхождения – личных фондов В.И. Колосова, хранящихся в Государственном архиве Тверской области [Ф. 1020. Оп. 1-2. 142 ед. хр. 1865-1929 гг.; Ф. 103. Оп. 1. 34 ед. хр. 1701-1916 гг.] и Научном архиве Тверского государственного объединенного музея [Ф. Р-7. Оп. 1. 12 ед. хр. 1874-1913 гг.]. Эго-документы представляют обширную переписку с близкими (женой, братьями, родителями, родителями жены), письма тверских историков и «любителей старины», членов ТУАК, московских и петербургских историков; документы о рождении, образовании и служебной деятельности; семейные фотографии, записные книжки, конспекты лекций. Особенно ценны для понимания личности, выявления эмоционально-психологических аспектов биографии Колосова его переписка с женой и матерью жены, а также воспоминания о нем коллег и родных, собранные после его смерти членами ТУАК.

Пристальное внимание следует уделить делопроизводственным документам. Это, в первую очередь, обширный комплекс изданных делопроизводственных документов ТУАК: Журналы заседаний [№№ 1-118] и Отчеты о деятельности. В Журналах, являющихся ценным историографическим источником, освещались вопросы, рассматриваемые на заседаниях, помещались выступления членов комиссии, рефераты докладов, публиковались документы. В.И. Колосов принимал активнейшее участие в работе комиссии, что нашло отражение в журналах и отчетах.

Необходимо выявление и изучение такого историографического источника, как рецензии на труды Колосова, сопоставление этих источников с современным взглядом историков на его творчество. Для понимания масштаба работ Колосова и определения его места в провинциальной историографии целесообразно использовать компаративный подход и изучить его творчество в историографическом контексте, представленном провинциальным историописанием (издания губернских ученых архивных комиссий и др. провинциальных исторических обществ, провинциальные исторические журналы и публикации в неофициальных приложениях к губернским и епархиальным ведомостям), а также сравнить труды Колосова с работами по истории Твери других авторов.

Ожидаемым итогом данного исследования, выполненного в рамках феноменологической парадигмы источниковедения, должно, на наш взгляд, стать достижение возможности понять жизненный мир человека прошлого, а также представить «...в одно и тоже время и конкретно, эмпирически верифицируемый и теоретически значимый научный результат» [Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008. С. 268].

Н.А. Селунская (ИВИ РАН, Москва)

Интеллектуальная биография историка тоталитарной эпохи (компаративный аспект)

Тема моего исследования – особенности интеллектуальных биографий двух влиятельнейших для своего времени историков, авторов исследований и концепций истории эпох Средневековья и Рисорджименто [В прошедшем 2011 г. не только праздновался юбилей объединения Италии, но и отмечались памятные даты двух историков-итальянистов: сорок лет кончины Дж. Вольпе и столетие со дня рождения В.И. Рутенбурга]. Я считаю эти концепции, а также существующие между ними переклички весьма примечательными объектами изучения с точки зрения интеллектуальной истории, а их создателей – весьма одаренными самобытными историками и бесспорными профессионалами. Речь идет об известных историках: Джоаккино Вольпе (Италия) и Викторе Рутенбурге (СССР).

Моя задача состоит не в том, чтобы рассматривать целиком весь комплекс исследований, проведенных как Вольпе, так и Рутенбургом по истории Рисорджименто или Средневековья, а в

том, чтобы провести более узкий и специализированный анализ: способов реконструирования этими учеными исторических объектов и определения ими акторов изучаемых процессов.

Этот специализированный анализ, однако, предполагает вовлечение в сферу рассмотрения нескольких разноплановых контекстов: вопросы собственного дисциплинарного развития исторического знания, вопросы идеологического порядка, личные характеристики двух избранных историков, живших в двадцатом веке – веке великих мистификаций и великих потрясений, и изучавших историю Италии, взятую в большой длительности, начиная со времени средневековья.

Каждый из названных историков работал именно в те периоды, которые теперь расцениваются как периоды господства тоталитарной идеологии, однако, что примечательно, основными темами изысканий названных историков были такие революционные, кризисные и динамичные сюжеты истории, как: развитие городских общин, консолидация горожан в коммуну и приобретение этими коммунами самоуправления и публичных функций, еретические и народные движения в средневековье и период Возрождения, и наконец, Рисорджименто, понимаемое как социальное, политическое и культурное движение, несущее импульсы обновления, освобождения и объединения [Volpe. *Il Medioevo*. Firenze: Vallecchi, 1927 [ripubblicato da Sansoni nel 1958]; Volpe. *Medio Evo italiano*. Firenze: Vallecchi, stampa 1923 [ripubblicato da Laterza nel 2003 con una introduzione di Cinzio Violante]; Volpe. *Movimenti religiosi e sette ereticali nella società medievale italiana: secoli 11.-14.* Firenze: Vallecchi, stampa 1922 (2a ed. 1926 [ripubblicato più volte a Firenze da Sansoni - 1961, 1971, 1972, 1977 - e da ultimo nel 1997 a Roma dall'Editore Donzelli nel 1997, con introduzione di Cinzio Violante]; Рутенбург В.И. *Истоки Рисорджименто*. 1980; Он же. *Итальянский город от раннего Средневековья до Возрождения*. 1987; Он же. *Кампанелла*. 1956; Он же. *Народные движения в городах Италии*. 1958].

Думается, для каждого из названных историков определенную роль играл личный опыт участия в войнах, сопровождавшихся большим национально-патриотическим подъемом, – для Вольпе это была Первая Мировая война, которой он посвятил и некоторые сочинения [Volpe G. *Il popolo italiano nella Grande Guerra (1915-1916)*, a cura di A. Pascuale. Roma, 1998], а для Рутенбурга – Вторая Мировая, в годы которой молодой историк окончательно сформировался как личность. Следует вспомнить, что согласно клише фашистской идеологии, после долгой предыстории, т. ч. недолгого расцвета эпохи

Рисорджименто, и последующей и утраты достижений этой эпохи, народный дух окончательно формируется в период Первой Мировой войны. Иначе говоря, в этот период и формируются идеологические стереотипы, связанные с понятием народ, которые будут играть особую роль в идеологической базе итальянского фашизма. Относительно роли той войны, которая получила у нас название Великой Отечественной можно сказать то же самое: идея народа и его исторической роли сформировалась в идеологическое клише советского дискурса.

Став такими идеологическими клише, понятия и представления, начинают проецироваться тоталитарным дискурсом и в гипотетическое будущее, и в историческое прошлое.

Я принципиально не соглашусь с тем, что политические аспекты мировоззрения и творчества историков надо отделять от собственно исторических работ, например, изучения средневековых сюжетов.

Напротив, надо учесть, что идеологическая составляющая исторических сочинений Рутенбурга, как и его итальянского коллеги Вольпе не была мимикрией или навязанной извне идеей, но индивидуально генерируемым кодом, который невозможно отделить от личностной концепции историка по разным причинам: националистической гордости или необходимости подвести историческое развитие под стандарт прогрессивной смены формаций. Но оба историка рассказывали в создаваемых ими научно-исторических нарративах о позитивном и прогрессивном развитии истории и народа как ее творца, при этом склоняясь к антропоморфной метафоре в описании этого актора истории.

Безусловно надо констатировать, что в Вольпе и Рутенбург – идеологически убежденные интеллектуалы, никак не могут быть описаны как жертвы или даже пассивные проводники влияния того политического режима, при котором осуществлялась их карьера. И Вольпе, и Рутенбург – не просто кабинетные ученые, они деятели и борцы в прямом смысле – оба отважно принимали участие в военных действиях. Оба ученых являлись также и борцами так называемого «идеологического фронта», не просто воспринявшие идеологию, а творившие ее, как интеллектуальное обеспечение определенного режима, создававшие крупные исторические картины и идеологемы, универсалистские концепции истории.

В то же время Вольпе, как и Рутенбург, – прекрасный историковедец, знаток казусов. Хотя оба названных историка получили закалку в школе кропотливого изучения источников, в том числе – правовых документов, но, по своим личностным

характеристикам – не могли быть приверженцами следования логике источника, – идеи, провозглашенной 70-е гг.

Ученые такого интеллектуального и идейного склада, сыны таких эпох, какими были Вольпе и Рутенбург, могли вести за собой читателя, убеждая и разубеждая, могли вскрывать корни явлений, обнаруживая их тончайшие особенности, анализировать частное и конкретное, но при том параллельно и мифологизировать результаты, подчинять разрозненные казусы общему дискурсу.

Н.Б. Селунская (МГУ, Москва)

**Академик И.Д. Ковальченко:
личность ученого, его научная школа,
профессиональные контакты с историческим сообществом**

Изучение историографической традиции, осмысление опыта развития исторической науки является необходимым компонентом успешного развития исторического знания. В структуре историографической традиции вполне обоснованно выделяются историками различные уровни ее анализа, прежде всего, такие, как направление, течение и школа. Все три уровня являются некой формой обобщения персональных исторических концепций и соответственно, результатом типологии историографического процесса развития национальной или мировой историографии на определенном историческом этапе. Однако, несомненно, что личность ученого оказывает мощное влияние на его творчество, формируясь в рамках определенной социокультурной среды, определяясь вехами индивидуальной биографии ученого и судьбы страны и мира, в котором он существует.

В докладе сделана попытка реконструкции персональной биографии известного историка – академика Ивана Дмитриевича Ковальченко, анализа основных теоретико-методологических оснований и конкретно-исторических разработок, формирующих его научную школу, а также его активной деятельности, направленной на развитие национального исторического сообщества, интеграцию в международное профессиональное сообщество историков.

И.Д. Ковальченко был не только выдающимся ученым, деятелем высшей школы, но и крупнейшим организатором науки. Он автор около 200 научных работ, в том числе шести монографий. Уже будучи известным специалистом-аграрником, И.Д. Ковальченко активно участвует в создании (с 1958 г.) и многолетнем руководстве работой Межреспубликанского

симпозиума по аграрной истории Восточной Европы. С 1969 г. И.Д. Ковальченко в течение 18 лет являлся главным редактором журнала «История СССР». В 1972 г. он был избран членом-корреспондентом Академии наук СССР, а в 1987 г. действительным членом Академии наук СССР, с 1988 г. является академиком-секретарем Отделения истории и членом Президиума АН СССР. Он вслед за М.В. Нечкиной руководил работой Научного совета по историографии и источниковедению при Отделении истории, конференции которого получили широкий резонанс в среде специалистов. Весьма активно выступал И.Д. Ковальченко в области международного сотрудничества историков. Начиная с 1966 г. он участвовал в работе Международной Ассоциации экономической истории, а с 1978 по 1990 гг. был членом Исполкома этой Ассоциации. Особенно плодотворными были его усилия по налаживанию творческого сотрудничества в области применения количественных методов с американскими историками-клиометристами.

Становление интересов И.Д. Ковальченко как ученого проходило под влиянием таких прекрасных ученых и педагогов, как Н.Л. Рубинштейн, С.Д. Сказкин и С.С. Дмитриев. Он работал в семинаре на первых курсах у Н.Л. Рубинштейна, слушал лекции С.Д. Сказкина. Особое влияние на его научные взгляды, по словам Ивана Дмитриевича, оказал Н.М. Дружинин.

Для изучения индивидуальной биографии ученого, раскрытия его личностных характеристик особое значение имеет возможность использования материалов личных архивов, содержащих не только материалы научной лаборатории ученого, но и автобиографические материалы, переписку, воспоминания. Именно такой разнообразный комплекс материалов будет использован в данном докладе.

Научные взгляды и научная школа И.Д. Ковальченко формировались в послевоенный период и, несомненно, представляют определенный сегмент советской историографической традиции. Надо заметить, что в процессе познания отечественной историографической традиции существенно менялись общие оценки и отношение к советской историографии. По справедливому замечанию автора монографии, посвященной советской исторической науке середины XX в. Л.А. Сидоровой, в конце XX в. советская историография оценивалась крайне негативно – как сплошь политизированная, фальсифицированная и, следовательно, «без права на научность». Начало XXI в., однако, характеризуется пересмотром отношения к историографии этого этапа. При этом весьма отрядным является

признание ее неоднородности и даже преемственности с русской дореволюционной (классической) историографией.

Высказанные соображения актуализируют обращение на современном этапе к личности Ивана Дмитриевича Ковальченко и в связи с потребностью нового прочтения советского периода развития отечественной историографии.

Т.А. Тоштендаль-Салычева
(Уппсальский университет, Швеция)

Гармония личного и общественного в творчестве Биргитты Удэн

Первой женщиной Швеции, получившей в 1965 г. кафедру ординарного профессора истории и вошедшая в этом качестве в историю родного Лундского университета, стала Биргитта Удэн (г.р. 1921) – академик Шведской Королевской Академии литературы, истории и древностей (Kungliga Vitterhets Historie och Antikvitets Akademien), Европейской (Akademia Europaea) и Финской (Suomen akatemia) академий.

Послевоенная шведская историография не может быть понята без изучения многочисленных и разнообразных трудов Биргитты Удэн, которые во многом определяли направление национальной исторической мысли. Она всегда опережала свое время и стремилась найти исторические корни современных общественных проблем. Творчеству этого ученого органично присущи две черты: оно развивалось, ориентируясь на актуальные интересы современного автору общества и на междисциплинарные методы исследования.

Важную роль в становлении и победе либерально-позитивистской школы критики источников братьев Лаурица и Курта Вейбуллей, расцвет которой ознаменовал смену парадигм в шведской историографии первой половины XX в., сыграли их ученики. Среди них был и научный руководитель Б. Удэн – Стуре Булин, профиль семинара которого соответствовал внутренним запросам Биргитты, изначально сочетавшей принципы естественных и гуманитарных наук. Определяющее значение в выборе тематики докторской диссертации Удэн, опубликованной в 1955 г. («Налогообложение и расходы страны. Государственные финансы и финансовое управление во второй половине XVI века»), и последовавших за ней двух монографий принадлежало еще одному вейбуллианцу – Свену А. Нильссону. Экономической истории с особым интересом к результатам, добытым из

источников с помощью математических операций, Б. Уден посвятила первые 15 лет своей научной жизни.

С середины 1960-х гг. происходит главный поворот в творческой судьбе Биргиты Уден: в своей исследовательской практике она окончательно и бесповоротно обращается к социальной проблематике. Интересы общества в широком смысле стали определять параметры оптимальных норм ее работ. Это случилось еще до прихода «красной волны», связанной с политической радикализацией масс и проникновением в гуманитарное сообщество Швеции марксистских идей.

Первый проект профессора Б. Уден на кафедре истории Лундского университета был посвящен социальным аспектам шведской эмиграции XIX – начала XX в. Смежными дисциплинами, методы которых оказали инспирирующее воздействие на автора, в этом случае стали социальная антропология и культурная география. Несомненное влияние на выводы Уден имела диффузная теория шведского географа Т. Хэгерстранда. Уден была одной из первых историков Швеции, кто в своих работах начал применять социологические теории, пришедшие из-за океана.

Работая над проблемами эмиграции, Б. Уден вплотную подошла к историко-демографической тематике, однако, не желая конкурировать с коллегами из Уппсальского университета, возглавила проекты по вопросам окружающей среды, напрямую затрагивавшие взаимоотношения человека с современным обществом. Ей принадлежала инициатива в разработке этого направления, она сформулировала методологические установки и нацелила работу историков на тесное сотрудничество с учеными других наук. Универсальность проблем окружающей среды делают, по мнению Уден, невозможной их принадлежность к какой-то одной дисциплине – они касаются каждого и затрагивают интересы не только отдельной личности или страны, но всей планеты.

Отвечая на запросы со стороны студенчества, заинтересовавшегося в бурные 1960-е теоретическими обществоведческими построениями, Б. Уден пришла к необходимости поиска и объяснения новых теорий. Так родился курс лекций по истории шведской исторической мысли, а затем последовали статьи и книги по методологии и историографии. Взаимодействие индивидуальности ученого и окружающей его научной атмосферы было поставлено во главу угла в монографии 1975 г. о Лаурице Вейбулле. Совершенно новым для исторической науки Швеции того времени был социологический подход Уден,

почерпнутый ею у Т. Куна и еще в большей степени у А.О. Хиршмана.

Историографическая составляющая всегда оставалась в ближнем круге научных интересов Б. Уден. Она была едва ли не первым историком в Швеции, который начал писать о французской школе «Анналов» и вслед за ними осваивать новые исследовательские поля. Кроме того работы Б. Уден, посвященные творчеству женщин-историков, должны рассматриваться скорее как примеры историографических штудий, чем сочинения в рамках женской или гендерной истории, хотя интерес ученого к разработке истории женщин был очевиден и выражался в щедрых советах своим коллегам и в формулировании установочных гипотез в контексте собственных произведений.

С середины 1970-х гг. к сюжетам по методологии и историографии добавилась другая тема – высшее гуманитарное образование и подготовка научных кадров, – получившая наиболее полное отражение в итоговой книге «Изменения в подготовке ученых в 1890-1975 гг. История, политология, культурная география, экономическая история» (1991). Главный вывод работы заключался в отрицании традиционного взгляда на функционирование университетов лишь с точки зрения их сугубо внутринаучных интересов. Переработав мощный арсенал современной социологии, Б. Уден показала, что они интегрированы в общество и всерьез зависят от происходящих в нем процессов.

Социальное звучание темы окружающей среды, начало освоения которой относится к концу 1960-х гг., через десять лет нашло свое логическое развитие в разработке вопросов старости. Б. Уден возглавила междисциплинарный проект «Старики в обществе – прошлое, настоящее, будущее». Взаимоотношения между поколениями, дети, женщины, семья – наиболее типичная тематика Уден после ухода на пенсию в 1987 г. Комплекс экономических, психологических, и моральных аспектов, сопряженных с жизнью пожилых людей как в прошлом, так и в современном социуме, оказались в центре внимания историка. Она изучала не только социальные, но и экзистенциальные аспекты старости, включая добровольный уход из жизни и утешение, получаемое человеком перед смертью. В этих работах яре всего проступила связь шведского историка с традициями школы «Анналов». Очевидная междисциплинарность тематики позволила использовать методы социологии, гериатрии и социальной медицины, в проектах с ее участием работали

представители различных гуманитарных и естественных наук из разных стран. В 2005 г. Биргитта Уден стала лауреатом Большой Геронтологической премии «за выдающийся и достойный подражания» вклад в науку.

Биргитта Уден постоянно находилась в поиске и практически никогда не ограничивалась только историческим полем исследования, но «переходила границы» смежных дисциплин, причем не только гуманитарных. Ее ментальность – это, без сомнения, ментальность действия. Выйдя на пенсию, Уден написала гораздо большее количество произведений, чем за время службы в университете.

Гармония личного и общественного проявлялась на всех этапах творчества Биргитты Уден: интерес к экономической истории был обусловлен естественнонаучной и гуманитарной дихотомией ее семьи, а тема диссертации – желанием продолжить начатую старшим коллегой (Эрик Лённрут) работу. Насущные проблемы общества продиктовали поворот в сторону социальной истории: эмиграция, окружающая среда, подготовка научных кадров в гуманитарных науках и еще в большей степени – старость. Занимаясь проблемами пожилых, Б. Уден как бы ставила эксперимент, одним из участников которого была она сама, ее близкие и родные. В частности, она использовала переписку с безнадежно больной подругой как источник для написания книги об утешении, получаемом человеком на самом последнем отрезке жизни. Историкографические штудии были вызваны запросами радикализованного студенчества 1960-х гг. Эта научная задача решалась Уден на протяжении всей жизни. К своему девяностолетнему юбилею в 2011 г. Биргитта Уден выпустила замечательную книгу: «Стуре Булин – историк эпохи Второй мировой войны». Эта монография была задумана не только как дань любимому учителю, но и как аргументированный ответ на несправедливую критику в его адрес. Таким образом, историк выполнил свой профессиональный и моральный долг как перед своими предшественниками, так и перед обществом в целом.

В.А. Филимонов (Сыктывкарский ГУ)

**Антиковеды – авторы «Энциклопедического словаря»
Брокгауза и Ефрона в коммуникативном пространстве
Н.И. Кареева**

Ни одно из исследований жизни и наследия выдающегося российского историка и социолога Н.И. Кареева (1850–1931) не обошлось без констатации факта его работы по редактированию исторического отдела самой авторитетной дореволюционной энциклопедии – «Энциклопедического словаря», издававшегося Ф.А. Брокгаузом и И.А. Ефроном. Первоначально издание состояло в основном из переводов на русский язык статей немецкого оригинала Brockhaus Conversations Lexikon, с небольшой адаптацией для русского читателя. Первые 8 полутомов (до буквы «В»), вышедшие под общей редакцией проф. И.Е. Андреевского, вызвали массу претензий к качеству перевода и руководству изданием.

Новый период в истории энциклопедии начался с приглашения в состав редакции многих выдающихся ученых того времени, в том числе и Кареева. Это в конечном итоге привело к тому, что оригинальные статьи получили преобладание над переводными, компилятивными и из тривиальной энциклопедии превратилось в собрание новейших достижений и открытий во всех областях науки и техники.

Фамилия Кареева как редактора исторического отдела появляется на титуле 9-го полутома «Буны-Вальтер» (1891), однако, похоже, что первоначально он использовал материал, подготовленный старой редакцией и только с 10-го полутома статьи начинают атрибутироваться подписью автора.

Нами был проведен мониторинг всех томов Словаря на предмет авторства статей по античной истории. Всех авторов (25 чел.) можно условно разбить на 2 группы. В первую мы включили специалистов-антиковедов, имеющих ученую степень и работавших над конкретными статьями по близкой им проблематике по личной просьбе редактора. Это коллеги Кареева по Петербургскому университету профессора Ф.Ф. Зелинский (10 антиковедческих статей), И.И. Холодняк (3), М.Н. Крашенинников (ст. «Курия»), приват-доценты А.Н. Щукарев (108) и Е.М. Придик (12), а также антиковеды из других университетов: Ф.Г. Мищенко (проф., Казань, 63 статьи), В.И. Модестов (в недавнем прошлом проф. Новороссийского университета, вышедший на пенсию и проживавший в Риме, 27), В.П. Бузескул (проф., Харьков, 12), А.М. Придик (приват-доцент, Дертп, 31). В период сотрудничества со «Словарем» защитил в Петербурге магистерскую (1899) и докторскую (1903) диссертации М.И. Ростовцев (19 статей). К этой же группе примыкают известные исследователи, писавшие статьи по

другим разделам всемирной и российской истории и при этом выступавшие как авторы по греко-римской проблематике: И.М. Гревс (приват-доцент, а затем профессор СПб. университета, 5 антиковедческих статей, а всего – 29), профессор Московского университета М.С. Корелин (10, всего – 45), В.И. Герье (ст. «Рим, город», всего – 12), приват-доцент университета Св. Владимира в Киеве Е.В. Тарле (ст. «Тридцать тиранов», всего – 39).

Вторую группу составили молодые исследователи, которые специализировались на античности и работали на договорной основе (за гонорар): Н.П. Обнорский (597), А.К. Васильев (22 статьи), Р.Х. Лепер (16), З.С. Сувальский (9), а также авторы статей по разным разделам истории, в том числе и греко-римской: А.М. Ловягин (34 статьи по античности, а всего – 89), А.Г. Готлиб (24, всего – 84), Д.Д. Каринский (22, всего – 71), С.Л. Степанов (14, всего – 34), П.А. Конский (5, всего 127), М.Г. Васильевский (ст. «Рабство», всего – 21), В.А. Мякотин (ст. «Вер Луций», всего – 100). Большинство авторов второй группы были хорошо знакомыми редактору выпускниками историко-филологического факультета Петербургского университета, оставленными для приготовления к профессорскому званию, а последние трое – учениками Кареева. В списке авторов можно выделить возрастные группы: от 19 до 29 лет на момент публикации первой статьи – 10 чел.; от 30 до 39 – 11 чел.; 40 лет и старше – 4 чел.

Результаты мониторинга показали, что Карееву пришлось проделать огромную работу по редактированию статей – только по истории античности их общее число составило более 1000. Смелое решение редактора по формированию команды с привлечением, как опытных исследователей, так и талантливой молодежи, полностью себя оправдало: для многих авторов работа в «Словаре» стала хорошей стартовой площадкой для обеспечения карьерного роста на научной и педагогической стезе.

В докладе предпринята попытка проследить дальнейшую судьбу авторов «Словаря», особенно тех, чьи биографии оказались слабо отраженными в историографии. Вряд ли нуждаются в представлении имена ученых, внесших значительный вклад в развитие исторической науки: В.И. Герье, Ф.Ф. Зелинского, Ф.Г. Мищенко, В.И. Модестова, В.П. Бузескула, М.И. Ростовцева, И.М. Гревса, М.С. Корелина, Е.В. Тарле, их жизни и творчеству посвящены монографии, диссертации, статьи. Рано умерли и не успели в полной мере раскрыть свой потенциал А.Н. Щукарев (прожил 39 лет), М.Г. Васильевский

(28), З.С. Сувальский (25). Еще до революции ушли из жизни петербуржцы – профессор римской словесности университета И.И. Холодняк и директор 5-й гимназии С.Л. Степанов. В роковом для русской интеллигенции 1918 г., оставшись без работы и средств к существованию, в петроградском госпитале Марии Магдалины умер бывший директор Херсонесского музея И.Х. Лепер. В 1925 г. в возрасте 55 лет скончался ученый секретарь НИИ книговедения, профессор Ленинградского пединститута А.М. Ловягин. В 1932 г. в Семипалатинске умер ссыльный профессор Воронежского университета М.Н. Крашенинников. Революционное лихолетье разметало по разные стороны границы братьев Придики: Е.М. Придик работал в Государственном Эрмитаже главным хранителем отдела древностей, а затем куратором отдела античных монет и умер в Ленинграде в 1935 г. Проработав какое-то время в Ростове-на Дону после эвакуации туда Варшавского университета, профессор древней истории А.М. Придик, смог выехать в Эстонию, где долгое время преподавал в Тартуском университете и умер в 1936 г. В 1937 г., в Праге завершил свой жизненный путь эмигрировавший из Советской России В.А. Мякотин, один из основателей партии народных социалистов. В 1949 г. ушел из жизни зав. кафедрой иностранных языков Пермского университета Н.П. Обнорский. Последним (в 1960 г.) из авторов «Словаря» умер профессор Одесского университета А.Г. Готлиб, в свое время послуживший прототипом Н.А. Татарина, одного из отрицательных героев романа В. Каверина «Два капитана». Дальнейшую судьбу А.К. Васильева, П.А. Конского и Д.Д. Каринского выявить пока не удалось.

Таким образом, редакторская работа Кареева породила своеобразное научное сообщество лидерского типа. Объединенное общим проектом и не связанное географическими и возрастными ограничениями, оно внесло существенный вклад в дело популяризации исторического знания в целом, и антиковедческого в частности.

Н.Г. Шишкина, А.Л. Туркевич
(Удмуртский ГУ, Ижевск)

**Немецкое происхождение профессора В.Е. Майера
в контексте Великой Отечественной войны:
тернистый путь к профессиональному мастерству**

Известный отечественный медиевист профессор Вильгельм (Василий) Евгеньевич Майер (1918-1985) прожил удивительную, насыщенную, но крайне непростую жизнь [Шишкина Н.Г. Василий Евгеньевич Майер: историк и его дело // Средние века. М., 2006. Вып. 67; Шишкина Н.Г., Владыкин В.Е. Биографическая справка и творческое наследие В.Е. Майера // Майер Василий (Вильгельм) Евгеньевич: к 90-летию со дня рождения. Ижевск, 2008]. Немаловажным фактором, сыгравшим здесь свою роль, стало немецкое происхождение Василия Евгеньевича.

По-видимому, предки В.Е. Майера оказались в России во второй половине XVIII в. Среди немецких колонистов весьма значительным было число протестантов-меннонитов, которых в манифестах Екатерины привлекало освобождение от военной службы и «свободное отправление веры». В 1871 г. меннонитами была приобретена земля в д. Кронау Херсонской губернии (сейчас – с. Высокополье Херсонской области Украины), где 6 декабря 1918 г. родился В.Е. Майер. По свидетельству профессора УдГУ А.И. Орловой [Орлова А.И. Благодарю судьбу // Историк и его дело (Серия памяти профессора В.Е. Майера). Ижевск, 2011. Вып. 9], близко знакомой с Василием Евгеньевичем по совместной работе в Ижевском отделении Общества Дружбы СССР-ГДР, его родители были меннонитами, поэтому возможно допустить, что именно в те годы предки В.Е. Майера оказались на Херсонщине.

Родным языком В.Е. Майера был немецкий. В 1937 г. он окончил среднюю немецкую школу в Запорожье, после чего поступил на исторический факультет МГУ, а затем был приглашен в качестве вспомогательного научного сотрудника в Институт Маркса-Энгельса-Ленина при ЦК ВКП(б) для работ с рукописями К. Маркса (с 1 марта 1941 г.) [Профессор Василий Евгеньевич Майер в воспоминаниях и письмах. Ижевск, 2012. С. 26].

7 июля 1941 г. В.Е. Майер в числе других студентов исторического факультета МГУ ушел добровольцем на фронт. Но вскоре на основании директивы НКО СССР № 35105с от 8 сентября 1941 г. об изъятии немцев-военнослужащих из рядов Красной Армии, предписывавшей «изъять из ... учреждений Красной Армии, как на фронте, так и в тылу, всех военнослужащих рядового и начальствующего состава немецкой национальности и послать их во внутренние округа для направления в строительные части», и приказа ГКО от 5 декабря

1941 г. В.Е. Майер был отозван из рядов РККА и отправлен в трест «Ижлес» г. Ижевска [Там же].

Получив в 1945 г. диплом МГУ, молодой историк вернулся в Удмуртию, фактически теряя возможность заниматься наукой, медиевистикой. Эти слова не являются преувеличением. Вот что писала в те годы Е.А. Миллиор, ученица В.И. Иванова, антиковед, филолог-классик, около 20 лет преподававшая в УГПИ: «1947. Ижевск. Одиночество – интеллектуальное и всяческое. ... Иж<евск> ненавижу. Грязь под ногами уже непролазная, темнота. Дыра дырейшая» [Цит. по: Ермакова Л.Л. Елена Александровна Миллиор: штрихи к портрету // Историк и его дело (Серия памяти профессора В.Е. Майера): Межвуз. сб. Ижевск, 2010. Вып. 8. С. 132-133]. Однако Василий Евгеньевич не опустил руки, а смог использовать те козыри, которые у него имелись: желание заниматься крестьянским вопросом, великолепная школа исторического факультета МГУ и, конечно, блестящее знание немецкого.

Weistümer (Вайстюм, Устав) – документ юридического характера, своеобразный источник, отразивший многие стороны жизни средневековой немецкой деревни. В научный оборот он был введен в середине XIX в. Я. Гриммом, немецким лингвистом, писателем, знатоком древнегерманского права, одним из знаменитых братьев-сказочников. В отечественной историографии обращения к этому источнику были крайне скудными: лишь ряд работ М.М. Смириня о классово-борьбе в Юго-западной Германии. Все это побудило В.Е. Майера обратиться к изучению этих документов. Несмотря на объективные проблемы и затруднения (молодая семья, простое материальное положение, «привязанность» к Ижевску) Василий Евгеньевич работал над выбранной проблемой со стопроцентной отдачей. Он писал М.М. Смирину, своему научному консультанту: «Я подробнейшим образом прочитал 3 тома «Weistümer» Гримма, сделал себе обильные выписки (600 тетрадных страниц мелким шрифтом в одну клетку), работаю теперь над 4-м томом...» [Письма учителю и другу. Из научного наследия профессора В.Е. Майера (подготовка к публикации и комментарии Б.П. Сысоевой-Майер). // Средние века. М., 2009. Вып. 70 (1-2). С. 318]. Он изучал немецкую историографию проблемы, для чего ему приходилось выписывать необходимую литературу из Москвы и Ленинграда. Несмотря на статус высленца, не упуская возможности побывать в Москве, чтобы встретиться с научным руководителем, получить необходимые консультации, работать в библиотеках, для чего ему приходилось регулярно отпрашиваться

в МВД и отмечаться на станциях. Упорство и целеустремленность принесли свои положительные плоды: в 1955 г. В.Е. Майер защитил кандидатскую диссертацию в МГУ [Майер В.Е. Уставы (Weistümer) как источник по изучению положения крестьян Германии в конце XV – начале XVI в.: автореф. дис. ... канд. ист. наук. М., 1955. 19 с.].

Это событие во многом стало переломным в жизни В.Е. Майера. Стабилизировалось его положение в УГПИ, улучшилась материальная ситуация. Но и в последующие годы немецкое происхождение продолжало оказывать свое влияние на судьбу ученого. Несмотря на то, что Указ Президиума Верховного Совета СССР от 13 декабря 1955 г. снимал правовые ограничения в отношении спецпоселенцев, он не возвращал им право возвращения на места прежнего жительства. Таким образом, возвращение в МГУ оставалось невозможным. Тем не менее, занятия немецкой аграрной историей были продолжены (следствием чего стала успешная защита докторской диссертации в 1968 г. [Майер В.Е. Развитие производительных сил сельского хозяйства и аграрные отношения в Германии в XIV-XVI вв.: Автореф. дис. ... д-ра ист. наук. М., 1968. 33 с.]), а к ним добавилась активная преподавательская работа, в том числе и на факультете романо-германской филологии и существенная общественная нагрузка, например, в Ижевском отделении Общества Дружбы СССР-ГДР, где В.Е. Майер был бессменным руководителем.

Довольно многое в жизни В.Е. Майера было определено его происхождением. Но, как кажется, все это – лишь «внешние» границы жизни, гораздо важнее ее внутреннее содержание. И его Василий Евгеньевич формировал сам упорным, кропотливым трудом, настойчивостью, постоянным самосовершенствованием. Помимо сугубо научных успехов, он смог добиться признания в удмуртском вузе (здесь он был одним из первых докторов наук и профессоров), где, после реорганизации пединститута в университет, в 1972 г. стал проректором по научной работе (1972-1976). Профессор Майер – великолепный специалист, блестящий педагог и ответственный гражданин – сам создавал свою судьбу.

Часть 3. ИСТОРИЯ КАК НАУКА И ЕЕ ОБЩЕСТВЕННЫЙ ПОТЕНЦИАЛ

Т.А. Булыгина (Ставропольский ГУ)

Научное сообщество советских гуманитариев во второй половине 1960-х – 1970-е годы

К середине 60-х гг. XX в. в СССР функционировала устойчивая система научных гуманитарных сообществ, которая была тесно связана не только с политическим, контекстом, но и с личностями руководителей страны. Так, если Н.С. Хрущев, будучи рьяным защитником советской идеологии, на практике пренебрежительно относился к гуманитариям, то во времена Л.И. Брежнева, когда духовной жизнью страны управлял «серый кардинал», официальное обществоведение существенно повысило свой социальный статус. Отказ от принципов XX съезда приобрел форму ползучего неосталинизма, что потребовало усиления общественных наук как идеологического инструмента проведения нового политического курса. Нарастание политического консерватизма нуждалось в наукоподобном обосновании, которое и стало социальным заказом для обществоведов. Вот почему при снижении статуса официального обществоведения неформальные сообщества ученых-гуманитариев активнее работали в 1960-е гг., вдали от идеологических боев, а в 1970-е гг. условия их существования ужесточились.

С другой стороны, в 1970-е гг. качественно изменился социальный контекст истории советских научных сообществ. Именно тогда происходило окончательное перерождение искренней коммунистической веры в мимикрию идейной убежденности, которая стала необходимой формой социального поведения всех слоев советского общества. Власть все активнее использовала идеологию как средство социальной стабилизации и все меньше как орудие коммунистического строительства.

Говоря о научных сообществах гуманитариев в позднесоветскую эпоху, следует иметь в виду их многообразие, которое определялось не столько профессиональными задачами, сколько контекстами времени. Хотя были и профессиональные сообщества философов, историков, социологов, психологов и пр., но по содержательным характеристикам мир советских обществоведов делился на официальную и неофициальную

науку, на академическое и вузовское сообщество, на объединения столичных и региональных гуманитариев.

Необходимо подчеркнуть, что власть стремилась ликвидировать это многообразие официальными решениями и практическими мерами. На совещаниях различного уровня говорилось о необходимости объединенных усилий вузовских и академических ученых, но эти призывы реализовывались в границах Москвы, реже Ленинграда, Новосибирска и столиц союзных республик. В партийно-государственном руководстве родилась идея консолидации сил обществоведов во всей стране, но это работало только в отношении отдельных маститых ученых советской провинции, а в целом провинциальные гуманитарии оставались за пределами научных и социальных возможностей столиц.

В конце 1960-х – начале 1980-х гг. в официальном обществоведении происходит смена векторов, заданных властью – от борьбы «с волонтаризмом и субъективизмом», до конструирования новой общности «советский человек» и общества «развитого социализма». Именно эти парадигмы определяли действия официального научного сообщества.

Официальное обществоведение без особых драм приняло новые правила игры в отличие от периода борьбы с культом личности Сталина. Однако травма раскола на «сталинистов» и «антисталинистов» осталась и влияла на творческие судьбы обществоведов. Атмосфера прежнего ритуала умолчания неудобных имен, перемена портретов и цитат опосредованно конкретизировали абстрактные обвинения в адрес исторических персонажей. Складывалась иллюзия возврата прежних контекстов. Однако язык и стиль партийно-государственных документов диктовал новые правила – лицемерие и двоемыслие, благодаря которому создавался определенный подтекст, не совпадающий с официальными идеями. Иносказания, намеки, эзопов язык не столько формировали свободную мысль, сколько развращали нравственное чувство, заражали обществоведов цинизмом. Все эти подтексты были понятны лишь узкому кругу столичной академической элиты «посвященных». Для большинства провинциальных обществоведов подразумеваемый смысл этих текстов был скрыт и воспринимался как тривиальный официоз.

Создавалась питательная среда для расцвета «заказных» ученых из сторонников сталинского режима, таких как руководитель Главного архивного управления Ф.М. Ваганов или заведующий Отделом науки и учебных заведений ЦК КПСС

С.П. Трапезников. Эта армия обществоведов-консерваторов готовилась совершить «прорыв» назад в сталинское прошлое. Они «втемную» или откровенно цинично выполняли заказ власти имитировать незыблемость коммунистических идей и воспитывать общество в духе имитации верности этим идеям. Рождался сценический тип отношений между властью и обществом, где режиссером был партийный аппарат, а обществоведам отводилась роль сценаристов и декораторов.

Однако период «оттепели» не прошел бесследно. Изменился сам воздух научных сообществ гуманитариев. Даже официальное сообщество гуманитариев не было однородным. В то время, когда начальники от науки «просеивали» научную продукцию сквозь идеологическое сито, запрещали публикации, клеймили «неустойчивых» коллег, отдельные гуманитарии даже на самом вершине власти продолжали верить в реформирование системы и старались своими трудами приблизить этот процесс. Примером может служить деятельность А.М. Румянцева. В эти годы в сознании многих элитных партийных обществоведов нового поколения происходили идейные сдвиги, которые реализовались, как только ослабел партийный контроль. Это и Д.А. Волкогонов, и Ю.Н. Афанасьев и А.Н. Яковлев и др., кто в предшествующие перестройке годы не отличался фрондерством.

Что касается неофициальной науки или отклонений даже в рамках официоза, то здесь работал принцип выдавливания различными способами нетипичных гуманитариев из научной среды. Тем не менее, не только идейные соображения, но и профессионализм и научная добросовестность продолжали воспроизводить эти «неправильные» сообщества.

Примером может служить научное сообщество социологов. В 1968 г. по заданию ЦК партии был создан институт конкретных социологических исследований (ИКСИ). Занятия социологическими исследованиями позволяли новому поколению обществоведов уйти из идеологизированных областей науки, войти в сферу международного научного сообщества. Не случайно более половины сотрудников института не были коммунистами. Они ощущали себя «избранными» не только по причине высокой языковой, математической и теоретической подготовленности, но и из-за прямых контактов с «самым верхом». Это проявлялось в вольности поведения, когда Н.И. Лапин мог публично назвать цитаты из классиков марксизма-ленинизма принудительным ассортиментом. В ИКСИ нашли приют политические «неблагонадежные» подписанты Ю.Н. Давыдов, Б.И. Шрагин, Р.Я. Левит. В конечном итоге из АН

СССР в ЦК пришел донос на 6 листах за 40 подписями, правда, неразборчивыми, и в 1971 г. институт был разгромлен. Поводом стал скандал с лекциями по социологии доктора философии Ю.А. Левады.

Подобные неформальные сообщества философов складывались и в других отраслях гуманитарной науки, например, вокруг журнала «Вопросы философии» и Философской энциклопедии. О таких сообществах можно говорить и в рамках «нового направления в исторической науке, и в рамках тартуской семиотической школы. Их существование также завершалось погромами. Однако в сравнении с подобными акциями 1940-х – 1950-х гг., значительная часть советской научной общественности сопротивлялась, пытаясь перевести грубую критику официальных лиц на рельсы научных дискуссий. Партийные органы должны были прикладывать немалые усилия, чтобы использовать научные коллективы для очередного погрома неугодных. К примеру, в защиту Б.В. Ракитского, А.П. Бутенко, А.Г. Милейковского, подвергнутых политической травле, вступились коллеги из Института экономики, финансово-экономического института, редакции журнала «Вопросы экономики», руководители Института экономики мировой социалистической системы. С письмами в защиту историка А.М. Некрича выступили академики Н.М. Дружинин и М.В. Нечкина, академик Н.И. Конрад, академик С.Г. Струмилин.

А.Н. Бурлаков (МПГУ, Москва)

Страноведение и история Запада: проблемы и перспективы взаимодействия

Страноведение – это комплексная учебная дисциплина и направление научного поиска, призванные изучать живую действительность страны во всем ее многообразии. По логике эта увлекательная и нужная дисциплина должна быть востребована историками, географами, филологами, дипломатами и т.д. Между тем, страноведение являет собой одну из тех учебных дисциплин, которым больше всего «не повезло» в системе отечественного гуманитарного образования.

В недавние времена *практическая направленность* страноведения Запада угрожала идеологическим мифам советской системы. Нацеленное на свободное ориентирование в иноязычной среде, страноведение в идеале было призвано дать реальную картину жизни в западных странах с их высоким

уровнем жизни, с приверженностью общественно-политическим ценностям и национальным традициям, часто несовместимыми с принципами классовой борьбы. Вот почему изначально страноведение было загнано в идеологическом отношении безопасное «прокрустово ложе» географической науки и сознательно отделено от близкой ему исторической науки.

Прорыв в теории и методологии советского страноведения совершил профессор географического факультета МГУ Н.Н. Баранский, сформулировавший в 60-е годы широкое понимание страноведения как «организационной формы объединения разносторонних знаний о той или иной определенной стране». Хотя страноведческие курсы в 1970-е-1980-е гг. были уже представлены «триадой» – «Экономической географией», «Историей и культурой», «Государственным и политическим строем» страны – предназначены они были исключительно для филологов. В эти времена страноведение Запада отличалась крайней идеологизацией и тенденциозностью. Действительность западных стран преподносилась в искажённом виде: история и культура трактовались с позиций классовой борьбы, социально-экономические достижения замалчивались, современная политическая жизнь рисовалась в негативном свете, страноведческие реалии игнорировались. Вместе с тем, несмотря на все идеологические ограничители, советское страноведение Запада сумело не только утвердиться в системе гуманитарного образования, но и получило развитие.

В наше время, когда пали идеологические запреты и расширились зарубежные контакты и сотрудничество, страноведение, казалось бы, должно пережить второе рождение. Об интересе общества к страноведческой тематике говорит издание большого числа соответствующей научно-популярной и справочной литературы. Однако в сфере образования господствуют прямо противоположные тенденции. На исторических факультетах комплексные страноведческие курсы не вводятся. В учебных планах филологических вузов объём часов, выделяемых на страноведческие курсы, постоянно сокращается. Налицо разрыв между потребностями общества и образовательного сообщества, с одной стороны, и состоянием данной учебной дисциплины в вузах страны.

В силу недостаточной методологической и теоретической разработанности страноведческого направления необходимо подробнее остановиться на его предмете и месте в ряду таких гуманитарных дисциплин, как история, а также география, экономика, культурология, правоведение, политология. Как и

означенные дисциплины, страноведение выполняет важную общеобразовательную задачу – даёт учащимся знания по истории, культуре, географии, экономике, политической системе зарубежных стран. Страноведение использует в своих целях достижения смежных гуманитарных дисциплин и обществоведческую методику преподавания.

Вместе с тем у страноведения есть и своя специфика. Если смежные гуманитарные дисциплины изучают соответствующие *аспекты* жизни той или иной страны, то страноведение отличает *цивилизационный подход*, предполагающий изучение жизнедеятельности национального сообщества во всех его проявлениях и многообразии. Для страноведа любая страна – это живой единый организм. В центре внимания страноведения находятся страноведческие *реалии* – предметы, явления, символы, порождённые национально-культурными особенностями того или иного народа и активно присутствующие в его менталитет, языке, традициях и повседневной жизни. В углублённом исследовании национально-культурных реалий состоит ещё одна отличительная черта страноведения, в то время как смежные гуманитарные дисциплины, такие, как история, много внимания уделяют выявлению общих закономерностей.

С изучением реалий связано еще одно отличие страноведения от смежных дисциплин – это его тесная связь с иностранным языком. Страноведческие реалии «зашифрованы» в языке в виде специальных терминов, понятий, аббревиатур и т.п. Так, например, в предназначенных для студентов исторических факультетов учебниках по истории зарубежных стран не встретишь страноведческих реалий и терминов. Между тем, эти реалии, носящие порой ненаучный и даже разговорно-бытовой характер, что называется, «у всех на устах» в той или иной стране: они известны каждому жителю из повседневной действительности. В общении, языке СМИ, наконец, в национальном сознании они часто дублируют, заменяют официальные термины и названия. Речь идет о парламентской, судебной и политической лексике, обусловленной национально-культурными особенностями страны.

Не только широким кругам общественности и делового мира сейчас остро нужны практические знания о западных странах. За годы существования советской системы образования и науки наши гуманитарии, прежде всего историки, занимавшиеся западными странами, утратили (не по своей вине) очень важную составляющую исследовательской работы – наблюдение

изучаемой действительности воочию (что не мешало им подчас делать выдающиеся открытия и писать интересные работы). К тому же марксистско-ленинская наука, державшаяся за догмы, уделяла много места пустому теоретизированию, заслонявшему реальную жизнь. Добавим к этому не всегда квалифицированную языковую подготовку наших специалистов. Страноведение может помочь представителям других обществоведческих дисциплин, прежде всего историкам, обогатить свой взгляд на предмет своих исследований, а, может быть, и взглянуть на него под совсем другим углом.

Потребность наших соотечественников в изучении страноведения Запада продиктована также и глубинной историко-культурной причиной: ведь речь идет о другой цивилизации. Наша страна, хотя и находилась в постоянном взаимодействии со своими западными соседями, представляет собой другой мир, имеющий иные культурные и исторические корни.

На исторических факультетах для студентов, избравших специализацию по новой и новейшей истории стран Запада, следует вводить спецкурсы страноведческой тематики. Историки должны уделить особое внимание изучению страноведческих реалий, национального характера, традиций, менталитета, особенностей восприятия собственной истории жителями той или иной страны.

Хочется верить, что страноведение в нашей стране ждет бурное развитие, а его достижения будут с успехом применены *на практике* историками, географами, правоведами, политологами, переводчиками, дипломатами, журналистами-международниками.

Л.А. Гаман (Северский технологический институт – филиал Национального исследовательского ядерного университета «МИФИ»)

Г.П. Федотов о советской истории: эволюция представлений

Г.П. Федотов (1886–1951) – русский историк и религиозный мыслитель, внесший заметный вклад в изучение российской культуры. Оказавшись в эмиграции в 1925 г., выбрав добровольное изгнание в силу несогласия с утверждавшейся в Советской России идеологией большевизма, ученый посвятил свои силы познанию России. В корпусе работ Г.П. Федотова, так или иначе связанных с россиеведческой проблематикой, немало

внимания уделяется анализу Русской революции 1917 г. и советского этапа российской истории, который справедливо рассматривался им как звено единого российского исторического процесса. Постулирование преемственности развития России, независимо от внешнего разрыва исторической ткани, стало важным методологическим принципом Г.П. Федотова, позволившим ему сделать немало ценных выводов о своеобразии российского исторического процесса, об особенностях российского менталитета. Иллюстрацией могут послужить размышления ученого о специфике сознания российской интеллигенции. «С... русской интеллигенцией – писал Г.П. Федотов, – пробилось наружу глубокое народное наследие русского кенотического христианства. Но вместе с его пороками и недостатками». Мыслитель полагал, что в рамках кенотического христианства трагическим образом не сформировалось ценности свободы. «Нечувствие к свободе и к миру культурных гуманистических ценностей, – продолжал он, – составляет оборотную сторону русского религиозного наследия» [Федотов Г.П. Потерянный писатель А.И. Герцен (1812–1870) // Федотов Г.П. Полн. собр. соч. В 6 т. Paris, 1988. Т. IV. С. 115]. С этим обстоятельством Г.П. Федотов связывал многие социальные деформации как в предреволюционной – «канунной», – так и в пореволюционной России.

Предваряя дальнейшее изложение, подчеркнем, что в эмиграции Г.П. Федотов позиционировал себя как сторонника «пореволюционного сознания», носители и популяризаторы которого (Н.А. Бердяев, Ф.А. Степун и др.) заявляли о своем приятии свершившийся в России революции и о необходимости считаться с данным фактом, независимо от своего отношения к установившейся в стране политической власти. Реставрационные настроения представлялись Г.П. Федотову бесперспективными, что он образно выразил в следующей формуле: «попытки пересудов уже свершившегося Божия суда» [Федотов Г.П. И есть, и будет // Федотов, Г.П. Собр. соч. В 12 т. М, 2011. Т.V. С. 6]. Такая установка позволяла видеть как негативные, так и позитивные стороны происходивших в Советской России трансформаций. Среди факторов, вызывавших особое негодование Г.П. Федотова, укажем на широкое распространение имморализма в Советской России [Федотов Г.П. Потерянный писатель А.И. Герцен... С. 19], низкий уровень жизни советского народа и формирование нового социального неравенства, советский конформизм [Там же. С. 71, 73], милитаризацию сознания. Однако в 1920-х – начале 1930-х гг. многочисленные

изъяны советской системы не представлялись ученому непреодолимыми. Наличие целого ряда факторов позволяло ему надеяться на постепенное преодоление негативных сторон советского строительства. Отметим наиболее важные из них. Это «пробуждение положительных народных сил» [Федотов, Г.П. Собр. соч. В 12 т. Т. V. С. 75], начавшееся после революции. Это зарождение «нового советского патриотизма», что Г.П. Федотов рассматривал в качестве «единственного шанса на бытие России» [Федотов Г.П. Потерянный писатель А.И. Герцен... С. 14]. О положительных процессах в Советской России свидетельствовали также зарождение элементов гуманизма [Там же. С. 86] и рост образовательного и культурного уровня широких масс народа [Там же. С. 47].

Однако по мере укрепления сталинского тоталитаризма в СССР – «сталинокрапии» в терминологии ученого, – негативные оценки начинают заметно преобладать. Одним из первых ученых обратил внимание на качественное перерождение советского государства. «Власть Сталина менее всего советская», – констатировал он в 1938 г. [Там же. С. 213]. Масштабность не только явных, но и имплицитных структурных изменений в Советской России в 1930–1940-е гг., завуалированных марксистско-ленинской риторикой, привела Г.П. Федотова к выводу о контрреволюции в стране, совершенной Сталиным в интересах укрепления своей собственной власти. «Один человек – против всей страны. Никогда еще ситуация в России не была столь отчаянно определенной», – писал ученый в 1938 г. [Там же. С. 191]. В многочисленных статьях данного периода Г.П. Федотов квалифицирует сложившуюся в Советской России систему как «фашистскую». Это свое представление он сохранил и в американский период творчества (1942–1951).

Репрессивная политика Сталина, его антикрестьянская политика и форсированная индустриализация вели к формированию социальной реальности, мало способствующей становлению справедливого общества. Г.П. Федотов не ограничился констатацией «срыва» сталинской модернизации. В рамках предпринятого им историко-философского анализа этой последней, он указал на трагическое сочетание в практике советского строительства неслыханного насилия над русским народом и энтузиазма, подпитывавшегося, в частности, привлекательностью технического идеала капитализма, воплотившегося в мечте «Россия – Америка». Причем, насилие не связывалась учёным исключительно с деятельностью репрессивной машины в СССР. Ее составной частью в

концепции Г.П. Федотова являлась проблема допущения русским народом подобного насилия над собой. Это стало возможным, полагал он, в результате сложного взаимодействия целого комплекса социально-психологических факторов, начиная от «вековой привычки к повиновению», и заканчивая рядом особенностей русского религиозного сознания.

Нападение фашистской Германии на СССР, как известно, было неоднозначно воспринято различными кругами российской эмиграции. Г.П. Федотов являлся противником коллаборационистских настроений. Систематическое внимание к театру военных действий некоторое время наполняло Г.П. Федотова гордостью за свою родину. «Русские армии, – писал он в 1943 г., – еще обороняют родину... Мир полон признательности пред Россией и готов вознаградить понесённые ею жертвы. Сейчас ей могла бы выпасть на долю завидная роль – освободительницы и устроительницы мира» [Федотов Г.П. SOS // Федотов Г.П. Собр. соч. В 12 т. М., 2004. Т. 93, С. 95]. Однако внимательное отслеживание политических позиций лидеров воюющих государств привело Г.П. Федотова к выводу об изменении освободительного характера войны со стороны СССР по мере продвижения советской армии за пределы собственных рубежей. Постепенно у него сформировалось представление о войне как столкновении двух диктаторских режимов, стремящихся к мировому господству. Эту свою точку зрения Г.П. Федотов артикулировал задолго до прочного утверждения в зарубежной историографии концепции тоталитаризма, как ведущей объяснительной модели советской истории, возможно, выступив одним из ее предшественников.

Таким образом, представления о советской истории Г.П. Федотова не оставались неизменными в эмигрантский период творчества. В его размышлениях о Советской России сочетается объективная критика негативных её сторон с позитивными оценками ряда явлений. Такой опыт прочтения советской истории может способствовать становлению более взвешенных подходов к этому одному из наиболее сложных и мифологизированных периодов российской истории.

И.Л. Григорьева (Новгородский ГУ)

**Исторические труды в библиотеках Новгородских владык
XVIII века**

Уже С.Л. Пештич в своем фундаментальном труде «Русская историография XVIII века» [Л., 1961. Ч. 1. С. 58] обратил внимание на значение «церковного сословия» в деле распространения в России исторических произведений, связанных с европейской культурной традицией. А.К. Гаврилов [О филологах и филологии. СПб., 2011. С.14-15] происхождение западничества на Руси связывает с «притязаниями русских на византийское наследство», «что содействовало русской склонности к идеократическому, а не функциональному взгляду на роль государства». Усиление этой тенденции падает на время юго-западного культурного влияния, шедшего через Украину и Белоруссию. В инициированной российским правительством «культурной легитимации» европеизма «импортерами» зарубежных идей выступали, как правило, православные церковные иерархи малороссийского происхождения. В этой связи примечательна роль Новгорода, в бытность его своеобразной «церковной столицей». Возникшие здесь учебные заведения – школа братьев Лихудов и Новгородская духовная семинария – обладали, в частности, богатейшими книжными собраниями, включавшими многочисленные «культурные продукты» западной цивилизации.

После смерти патриарха Адриана в 1700 г. по воле царя Церковь возглавил «экзарх и блюститель» патриаршего престола митрополит Рязанский и Муромский Стефан (Яворский). Однако он был недружелюбно встречен как в Москве, так и на Христианском Востоке, потеряв со временем и царское расположение. Зато особое значение приобрел пользовавшийся доверием Петра Новгородский митрополит Иов (1697–1716): когда в ходе Северной войны русская армия «прорубила окно» в Европу, все большую роль стали играть отнесенные к Новгородской епархии новозавоеванные земли и города.

В 1708 г. царь обратил внимание на «выдвиженца» митрополита Иова Феодосия (Яновского). Заняв Новгородскую кафедру, Феодосий возглавил церковную иерархию. При учреждении Св. Синода в 1721 г. он стал первым синодальным вице-президентом, фактически, вместе с Феофаном (Прокоповичем), возглавив духовную коллегия. Падение Феодосия обеспечило Новгородскую кафедру Феофану (Прокоповичу) (1725–1736), первенствующему члену Св. Синода. Вслед за Феофаном «первоприсутствующими» в Св. Синоде были архиепископы Новгородские Амвросий (Юшкевич) (1740–1745) и Стефан (Калиновский) (1745–1753). Митрополит Новгородский и Великолукский Димитрий (Сеченов) (1757–

1767), первенствующая духовная особа при Екатерине II, короновал императрицу и был ее постоянным советником в духовных делах. В 1762 г. он освящал воздвигнутый по проекту Б.Ф. Растрелли Зимний дворец. В 1759 г. Владыка Димитрий заложил для библиотеки Новгородской духовной семинарии отдельную каменную палату – одно из первых в России зданий, специально построенных для библиотек. В 1765 г. он добился для Новгородской семинарии самого большого финансирования. С митрополита Новгородского и Санкт-Петербургского Гавриила (Петрова) (1770–1799) начался порядок совмещения Новгородской и Санкт-Петербургской церковных кафедр, что стало залогом утраты Новгородом прежней роли в церковных делах.

Основатель Новгородской духовной семинарии архиепископ Амвросий (Юшкевич) после учебы в католических польских школах окончил Киевскую духовную академию. По его инициативе в 1740 г. императрица Анна Иоанновна утвердила «Штат о содержании Новгородского Архиерейского дома», в котором имелся особый раздел «О семинарии». На ее штатный оклад была ассигнована сумма, намного превосходившая денежное содержание других духовных учебных заведений. Документ также требовал обеспечить семинарию «довольною библиотекой» [См.: Григорьева И.Л., Салоников Н.В. История библиотеки Новгородской духовной семинарии // Вестник Новгородского государственного университета. Сер.: Педагогика. Психология. 2009. № 53. С. 16-19]. В 1742 г. в ответ на просьбу Амвросия, по распоряжению Св. Синода и по Высочайшему Указу императрицы Елизаветы Петровны, Новгородской семинарии была передана библиотека Феофана (Прокоповича). И собственное богатое книжное собрание Владыка завещал любимому детищу. Преемник архиепископа Амвросия на Новгородской кафедре архиепископ Стефан (Калиновский) также учился в Киевской духовной академии. В 1735 г. он возглавил комиссию, продолжившую работу по изданию нового перевода славянской Библии. Приняв Новгородскую кафедру, он много сделал для завершения организационной работы в семинарии. После смерти архиерея учебному заведению была передана его громадная библиотека. Затем Новгородскую епархию возглавил митрополит Димитрий (Сеченов) (1757–1767), один из немногих церковных иерархов великорусского происхождения в царствование императрицы Елизаветы Петровны. Он получил образование в Московской Славяно-греко-латинской академии. В 1765 г. при введении новых штатов митрополит добился, чтобы

Новгородской духовной семинарии был назначен самый большой оклад. Благодаря его усилиям семинарская библиотека значительно пополнилась. Впоследствии в нее вошло и существенное книжное собрание Владыки Димитрия.

Книжные собрания новгородских архиереев содержали множество исторических трудов. Уже митрополит Иов располагал переводами сочинений по истории, сделанными по указанию царя: «О деяниях, содеянных Александра Македонского» Квинта Курция Руфа, «О разорении Трои» и др. Наибольшее же количество книг по истории имелось в библиотеке Феофана (Прокоповича), совмещавшего в себе, по замечанию Г.А. Гуковского, «черты ученого-гуманиста эпохи Возрождения с просветительскими стремлениями европейской мысли его времени». Феофан был не только государственным деятелем и законодателем, но и одним из первых русских ученых-историков. Эта дисциплина была представлена в его библиотеке, насчитывавшей около 4000 томов, многочисленными изданиями: трудами античных авторов, сочинениями о греческих и римских древностях, по истории отдельных стран и истории Церкви, памятниками политической мысли [См.: Салоников Н.В. Библиотека Новгородской духовной семинарии: состав и история формирования. Автореф. дис. ... канд. ист. наук. Великий Новгород, 2004. С. 25].

В книжном собрании Амвросия (Юшкевича), насчитывавшем около 600 томов, были разнообразно представлены византийские авторы: Никита Хониат, Прокопий Кесарийский, Георгий Синкелл, Феофилакт Симокатта, Георгий Пахимер, Иоанн Зонара, Георгий Куропалат, Михаил Глика, Лаоник Халкокондил, Никифор Григора, Иоанн Кантакузин, патриарх Фотий. В нем имелись также сочинения Корнелия Непота, Анастасия Библиотекаря, Полидора Вергилия, Иоанна Целлариуса, Иоанна Слейдана. Библиотека Стефана (Калиновского) включала 866 томов, среди которых — Геродот, Корнелий Непот, Цезарь, Веллей Патеркул, Плутарх, Квинт Курций Руф, Саллюстий, Иосиф Флавий, Евсевий Памфил, Созомен, Сократ Схоластик, Феодорит Кирский, Павел Йовий, Иоганн Слейдан, Полидор Вергилий, Цезарь Бароний, Христофор Целлариус. Насчитывавшая 474 тома библиотека учившегося в Москве великоросса Димитрия (Сеченова) также включала исторические труды (по истории Древней Церкви, сочинения византийских авторов и др.), однако это книжное собрание отличал известный консерватизм. [См.: ГАНУ. Ф. 384. Оп. 1. Д. 2. Л. 204-263].

В.Н. Ерохин (Нижевартовский государственный гуманитарный университет)

Исторические знания в дискуссиях о британской идентичности в современной Великобритании

В современной Великобритании активно разворачивается спор о будущем британского государства и о том, что значит быть британцем, что такое «британство». В спорах о «британстве» активно участвуют историки.

С середины 2000-х г. усилилась критика идеи мультикультурализма. Политики из консервативной и либерально-демократической партий заявляют, что мультикультурализм – плохое руководство для проведения повседневной политики, поскольку в нем недооценивается сложный характер различных этнических групп. Хотя в мультикультурализме есть позитивные аспекты, выражающиеся в том, что он призывает к уважительному отношению к другим верам, традициям различных этнических групп, в то же время мультикультурализм фиксирует, превращает в стереотипы существующие культурные различия, которые, может быть, и не оставались бы такими прочными, если на них не фиксироваться. Мультикультурализм в политической жизни провоцирует опасную и ошибочную практику. Из-за того, что отдельные этнические сообщества в Великобритании начинают восприниматься как совокупности определенного количества голосов избирателей, политикам приходится с почитательностью относиться к лидерам этнических сообществ, даже не имеющим серьезного влияния и порой нерепрезентативно выражающим мнение той культурно-этнической общности, от имени которой они выступают. Среди консерваторов и либерал-демократов распространяется взгляд, согласно которому к этническим сообществам надо подходить как к сообществам, состоящим из личностей, взгляды которых не полностью и не во всем predeterminedены только их культурно-этническим происхождением. На такой основе могут быть созданы предпосылки к формированию толерантной британской национальной идентичности, основывающейся на множественности идентичностей, которые могут быть национальными, этническими, географическими, религиозными, но должны быть прочно приверженными идее соблюдения прав человека, законности и порядка.

В 2005 г. председатель государственной Комиссии по равенству и правам человека Тревор Филипс в интервью журналу «Джуиш квотерли» заявил, что признает факт существования мультикультурного общества как данность, но ему не нравится идея, когда «людей инвентаризируют и раскладывают по коробкам», что не только разделяет людей, но и тем самым провоцирует мысль, что к людям надо относиться по-разному. По словам Т. Филипса, люди действительно отличаются друг от друга, но, если люди живут в обществе, у них в сознании должна утвердиться мысль, что в определенных ключевых сферах жизни все они должны действовать в соответствии с общими, согласованными в этом обществе правилами.

Джон Ллойд, журналист из «Файнэншл таймс», считает, что «нам необходимо понятие британства, которое могли бы признать ясным и здравым те, кто является коренными жителями острова, учитывая, чтобы такое понимание британства также было и достаточно открытым для иммигрантов, прибывших на Британские острова и согласных приспособиться к сложившимся здесь ранее нормам». Обсуждение этих проблем не надо тормозить, надо говорить об этом искренне, но, не преклоняясь чрезмерно перед чувствительностью некоторых групп населения, как поступают некоторые участники этих дискуссий, руководствующиеся, в первую очередь, нормами политкорректности.

Министр образования в правительстве Дэвида Кэмерона Майкл Гоув заявил в августе 2011 г., что в преподавании истории в школах необходимо отметить выдающуюся роль Британских островов в мировой истории и оценивать Британию как образец свободного общества, которому должны подражать другие страны. Правые политики фактически придерживаются мнения, согласно которому быть британцем означает быть наследником великой и славной культуры с громадными достижениями практически во всех областях человеческой деятельности. У этого британского наследия практически нет равных, с этим наследием точно не могут равняться представители тех народов – выходцев из азиатских, африканских стран и Карибского бассейна, которые недавно поселились на Британских островах и теперь притязают на то, что Великобритания – их страна. Правые фактически придерживаются мнения, что, если в современном мире уделяется большое внимание сохранению дикой природы и животного мира, умственно и сохранение у населения Британских островов того генофонда, который обеспечил достижения Великобритании в прошлом, для будущего. Со стороны

выразителей мнений этнических и расовых меньшинств звучат утверждения, что современные консерваторы и правительство Дэвида Кэмерона в понимании и изучении истории выступает за «белый, евроцентричный исторический нарратив с навязанной хронологией».

Майкл Гоув на основе анализа учебных программ заявил, что в преподавании истории и географии акцент должен быть сделан на изучении фактов, поскольку это дает сущностное знание, необходимое школьникам. Изучение истории и иностранных языков также должно сформировать у учеников способность к размышлениям, рефлексии, и он считает, что гуманитарное образование может сформировать креативную личность. Гоув высказался также за то, чтобы в национальном стандарте для изучения истории в школах было упомянуто больше важных, ключевых имен из британской истории. Сейчас же сложилась ситуация, когда в национальном стандарте, который устанавливает только самые общие рамки содержания изучаемого предмета для 11-13-летних учеников, история пока еще обязательна в школе; по именам упоминают только двух известных борцов за отмену рабства Уильяма Уилберфорса (1759–1833) и оказавшегося в Великобритании выходца из Западной Африки Олаудаха Эквиано (1745–1797). Эти персонажи и их деятельность приемлемы для цветного населения Британских островов.

Большое место в 2007 г. британские власти уделили празднованию 200-летия отмены трансатлантической работорговли. Школьники также еще обычно слышат упоминания о Мартине Лютере Кинге, но при этом ученикам зачастую не рассказывают, кто такой первоначальный Мартин Лютер. Хотя в реальном преподавании истории в школах учителя имеют право составлять свою программу на основе национального стандарта и пользоваться выбранными в данной школе многочисленными в Великобритании учебниками истории, в результате чего ученики фактически слышат больше имен видных деятелей британской истории – не два имени, Майкл Гоув считает ненормальным, что в национальном стандарте по истории упоминания конкретных имен крайне минимизировано, что приводит к различиям между школами в конкретном содержании преподавания. Англия – единственная страна в Европе, где изучение истории не обязательно для учеников старше 14 лет, на чем для многих и заканчивается изучение этого предмета.

К 2013–2014 гг. планируется пересмотр школьной программы по истории. К этой работе привлечен известный историк Саймон Шама, работающий в Колумбийском университете в Нью-Йорке. На британском телевидении С. Шама ведет снискавший большую популярность цикл передач «История Британии», в результате чего и сам Шама приобрел много поклонников, в числе которых оказался также министр образования Майкл Гоув. С. Шама в публичных выступлениях, говоря о положении с преподаванием истории в школе, обращает внимание и на то, что «школьным учителям ужасно недоплачивают и плохо их материально обеспечивают». С. Шама высказывается за то, чтобы уделять наибольшее внимание нарративной истории Британских островов. Он призывает преподавать историю как долговременный кумулятивный процесс, а не набор наскоков на отдельные периоды британской истории.

О.В. Золотарёв (Коми государственный пединститут, Сыктывкар)

О некоторых проблемах исторического образования в современной России

Проблемы, связанные с положением исторического образования, всегда оживленно обсуждались как учеными-гуманитариями, так и общественностью. Даже в новейшей истории нашей страны мы были свидетелями острейших дебатов по этим вопросам: начиная с 1930-х гг., когда на самых верхах власти принималось решение о содержании школьного учебника по истории и заканчивая созданием в мае 2009 г. Комиссии по противодействию фальсификации истории.

Естественно историческое образование – это весьма специфическая форма использования исторического знания. Ее всегда отличали значительное политическое воздействие и жесткий правительственный контроль. И это объяснимо – через восприятие школьниками прошлого своей страны происходит формирование определенных социальных норм, морали, которые на данный момент преобладают в обществе или которые стремятся привить обществу. Через отечественную историю происходит и национальная идентификация подрастающего поколения. Недаром С.Кара-Мурза подчеркивал: «Школа – главный государственный институт, который «создает» гражданина и воспроизводит общество. Это – консервативный

«генетический аппарат» культуры» [См.: Кара-Мурза С. Советская цивилизация. Кн.1. От начала до великой победы. М., 2002. С. 171].

С этим вопросом напрямую связана и важнейшая проблема современной российской школы - проблема воспитания. Ныне она – одна из самых актуальных. Ведь в последние годы под видом «деидеологизации» школы была отброшена система ценностей, которая была характерна не столько для советского человека, сколько для российского гражданина.

Данные рассуждения полностью отвечают и посылам преподавания отечественной истории в высшем образовании. А ведь без истории высшая школа немыслима, Ф. Ницше в этой связи говорил: «всякое высшее воспитание должно быть историческим» [Ницше Ф. Философия в трагическую эпоху. М., 1994. С. 279]. Но достижение этой цели в современной России все более усложняется, ибо нравственная общественная обстановка в настоящий момент чрезвычайно размыта той атмосферой, что вырабатывается деятельностью средств массовой информации, особенно телевидением. Поэтому школа и вуз, в том числе в плане исторических знаний, обязаны исполнить роль своеобразного защитника сознания, воспитания личности.

Специфика преподавания отечественной истории в вузе состоит еще и в том, что целью исторического образования на непрофильных факультетах высших учебных заведений является поиск особенностей развития нашей страны, анализ исторических корней сегодняшней действительности. Это непросто, как в силу отсутствия единства методологических взглядов в сегодняшней отечественной исторической науке, так и вследствие понятных психологических сложностей.

В значительной степени преподаванию истории в вузе мешает чрезвычайно слабый уровень исторических знаний нынешних выпускников школ. Сосредоточившись на подготовке к успешной сдаче Единого госэкзамена школа, закладывает порочный, на наш взгляд, базис исторических знаний (отрывочных и в основном фактологических), от которого и вынужден в дальнейшем отталкиваться преподаватель вуза. И в вузе приходится практически с нуля формировать те исследовательские навыки, основы которых ранее создавались школьным курсом истории. Такая ситуация в еще большей степени нарушает преемственность вузовского и школьного образования и ставит под сомнение качество вузовской подготовки.

В настоящий момент в первую очередь важно обеспечить совершенствование содержания исторического образования. Необходимо перекинуть мостик от описания отдельных исторических событий к обобщению, к пониманию основных тенденций развития общества. Только тогда появляется возможность знакомить учащихся с особенностями экономического, социального, политического и духовного развития России.

Но здесь надо помнить, что преподаватели гуманитарных кафедр вынуждены опираться на государственные стандарты, предназначенные для исторических факультетов вузов. Подобное положение представляется порочным. Ибо, как количество отводимых на изучение исторических дисциплин часов в данном случае весьма разнится, так и цели у исторического образования здесь разные.

Еще одна проблема связана с разработкой учебных пособий по истории, прежде всего школьных. Советские учебники создавались учеными-профессионалами, они были написаны весьма живо и интересно. Конечно, их слабым местом был классовый подход, который значительно обеднял их содержание. Но в последнее время школьные учебники вызывают массу нареканий. На съезде учителей истории и обществознания (весной 2011 г. было отмечено, что педагогов-практиков не устраивает большинство современных учебных пособий по истории, особенно много претензий к учебникам по XX веку.

Конечно, надо помнить, что нельзя отказываться от вариативности преподавания истории и наличия нескольких учебников. Но их должно быть не десятки, а три-четыре. Главное в школьном учебнике – он должен основываться на фактах и разделяемых обществом оценках и интерпретациях прошлого [Российская газета. 2011. 31 марта].

Много вопросов и к вузовским учебникам по отечественной истории.

Создавшееся в области подготовки учебных пособий по истории ситуация лишней раз засвидетельствовала ту пропасть, что существует между популярной и кабинетной историями, а фактически отчуждение одной от другой. Это – прямое следствие узурпации профессиональной сферы исторического знания дилетантами и очередного подчинения исторической науки новым идеологическим установкам.

Конечно, каждое поколение людей создает свою версию исторических событий, которая в большей степени соответствует тем запросам и проблемам, что волнуют поколение. Ведь

история, по меткому замечанию К. Леви-Стросса «никогда не является историей чего-то, но всегда история для чего-то» [Цит. по: Тишков В.А. Новая историческая культура // Новая и новейшая история. 2011. № 2. С. 6]. Новое поколение иначе представляет себе прошлое нашей страны и иначе к нему относится. Это результат той исторической политики, что проводилась властями на протяжении последних двух десятилетий. Что лишний раз позволяет говорить об исторической политике как о «важной и признанной форме общественного сознания, как об одной из характеристик новой исторической культуры». Вместе с тем, историческое наследие все чаще воспринимается обществом как определенная «мифическая версия прошлого», необходимая для чувства идентичности. Именно эта версия весьма важна для воспитания гражданина. А если исходить из подобных посылок, то школьная история и должна представлять собой версию исторического наследия [Там же. С.11, 16].

В заключение надо отметить и еще одно – многие недостатки настоящей системы российского исторического образования, на наш взгляд, проистекают из тенденции, которая в последнее время преобладает в отечественной школе: целью образования все более является не развитие личности, а подготовка «квалифицированного потребителя».

И последнее – причина негодности многих новаций в том, что они даются в виде указаний сверху и нередко представляют собой бездумное заимствование чужого опыта. Поэтому на практике эти рекомендации, не учитывающие российских реалий, не работают. Инициатива изменений должна идти снизу, изнутри, от самих преподавателей. В этом залог успеха.

О.И. Ивонина (Новосибирский ГПУ)

С.М. Соловьев о закономерностях всеобщей истории

Интерес к проблематике всеобщей истории, проявившийся в годы учебы С.М. Соловьева в Московском университете под влиянием Т.Н. Грановского, усилился в ходе европейской стажировки молодого ученого, сделавшей его поклонником идей Гегеля и французских романтиков. Влияние на Соловьева основных течений западной философии истории способствовало его углубленной рефлексии над проблемами универсальности

субъекта истории и специфики исторического прогресса, нашедшей отражение в «Феософическом взгляде на историю России» (1841 г.), «Исторических письмах» (1858 г.), «Наблюдениях над исторической жизнью народов» (1868 г.) и других произведениях автора.

Будучи сторонником идеалистического подхода к пониманию истории, Соловьев считал событийную историю манифестацией идей, производных от типа духовности и религиозного опыта, определяющих характер развития различных исторических субъектов в лице народов, наций, государств и цивилизаций. Понимание ученым многомерной природы исторического факта как *со-бытия* человека и Бога в различных временных масштабах, творческого диалога, отражающего своеобразие различных эпох и всеобщую ценность исторического опыта разных народов на пути к вечным идеалам добра и справедливости, предопределило либерально-гуманистический характер мировоззренческого кредо Соловьева-историка.

Своеобразие исторического развития любого народа определяется, по мнению Соловьева, *спецификой природно-географической среды обитания, этнической доминанты и «исторического воспитания»* [Соловьев С.М. Сочинения. СПб., 1882]. Внешние детерминанты «исторического взросления» народа Соловьев называл «историческим воспитанием», подразделяя их на две группы: а) факторы природного, естественного происхождения б) факторы исторического, социального происхождения, проявляющиеся в межкультурном взаимодействии.

Одним из законов всемирной истории Соловьев считал переход от *естественных* к *искусственным* формам социально-политического развития разных стран и народов, отражающий смену их «исторических возрастов». На раннем этапе своего развития народ руководствуется в делах и мыслях глубоким религиозным чувством, воодушевлен непосредственной «детской» верой. По мере взросления исторического субъекта религиозный пафос угасает, уступая место господству «критического разума» во всех сферах общественной жизни. Историк полагал «возраст чувств» временем юности народа, когда общество развивается благодаря альтруизму его граждан, приносящих частные интересы в жертву общему делу «громадной творческой работы». Во второй фазе критическая рефлексия разрушает, по мнению Соловьева, непосредственное отношение к жизни, вытесняя бессознательное творчество

стремлением проверить на практике то, во что прежде верилось, поставить под вопрос прежние истины, пошатнуть то, что считалось до сих пор непоколебимым.

Особенностям исторического возраста народа соответствует его представление о своем месте в мире, задающее характер межкультурных коммуникаций. В период «господства чувств» любое общество, по мнению историка, отличается консерватизмом, стремлением к мировоззренческой герметичности и даже ксенофобией, поскольку «чувство считает известные предметы священными и неприкосновенными... оно определяет отношение к своему и чужому таким образом, что свое имеет право на постоянное предпочтение перед чужим» [Там же. С. 434]. Кризис общества, переживающего «период господства мысли», напротив, содействует расширению его межкультурных связей. Утратившие собственные идеалы и ценности, индивиды пытаются заимствовать средства самоидентификации у других сообществ, ксенофобия сменяется космополитизмом. Господство разума уничтожает различие «своего» и «чужого», «выводя народ в широкую сферу наблюдений над множеством явлений в разных странах, у разных народов, в широкую сферу сравнений, соображений и выводов» [Там же. С. 435].

Раннему периоду исторической жизни народа соответствует, по мнению историка, *естественная*, родовая организация общества, характерная для народов Востока и архаической (гомеровской) Греции. Переход древних народов к созданию искусственных форм социально-политического единства (в форме дружины, гражданского союза, централизованного государства) осуществлялся, по мнению историка, в местах плотных миграционных потоков. Активными мигрантами Древности Соловьев считал представителей арийского племени, конфронтация которого с автохтонным населением Средиземноморья обусловила последующее развитие Запада как особой культурно-территориальной общности вплоть до эпохи буржуазных революций XVIII–XIX вв.

Историческая динамика Запада описывается Соловьевым как последовательная эстафета искусственных форм социально-политической жизни: аристократии, демократии, монархии. Конфликт патрициев и плебеев Древнего Рима приобрел, по мнению историка, форму борьбы за права, превратив юридикзм западного общества в его важнейшую социокультурную и идейно-политическую характеристику. Исторически развитой формой искусственного человеческого союза Соловьев считал

правовое государство, основанное уже не на завоевании, а на принципе солидарности, гражданского равноправия и социальной справедливости объединенных в нем людей.

Рассуждения Соловьева о прогрессе всемирной истории, впервые обозначенные в «Исторических письмах», сходны с идеями О. Конта, Г. Спенсера и Т. Бокля. Русский историк разделял общее всем либеральным мыслителям понимание развитого общества как системы детального разделения труда, которое делает каждого индивида значимым для жизни общества в силу уникальности выполняемой им функции. Признаком прогресса для Соловьева является как появление человеческой *индивидуальности*, ценной для общественного целого ввиду ее незаменимости и уникальности в производственном процессе, так и рост общественной *солидарности* в результате осознания взаимозависимости индивидов, выделившихся из недифференцированной массы [Соловьев С.М. Избранные труды. Записки. М., 1983. С. 181].

Представление мыслителя о христианстве как религии свободы и прогресса, определившей единство аксиологического и хронологического вектора развития христианских народов, объясняет понимание Соловьевым универсального субъекта исторического прогресса в лице единой Европы. Первоначально христианство санкционировало суверенитет государства как публично-правового единства, противостоящего анархии частных союзов эпохи феодализма, а затем объединило романо-германские народы в единую культурную общность. В период Нового времени, названный Соловьевым «эпохой гуманизета», Европа становится уже идеалом всемирного единства и солидарности народов.

Таким образом, именно на материале западноевропейской истории С.М. Соловьеву удалось показать значение обнаруженных им закономерностей исторического процесса: перемещения центра мировой истории с Востока на Запад, отразившего маршрут арийской миграции; перехода народов от патриархальных деспотий к ранним (дружина, феодальная корпорация) и зрелым (централизованные империи) формам государственности; общественного разделения труда, способствовавшего тесному взаимодействию и взаимозависимости народов в период Нового времени, который автор считал эпохой подлинно всеобщей истории.

Г.Н. Канинская (Ярославский ГУ им. П.Г. Демидова)

Французская историческая наука в глобализирующемся мире:

традиции, проблемы, перспективы

1. Не будет преувеличением сказать, что французская историография если не доминировала в мировой истории, то являлась одним из ее «становых хребтов». Справедливо также и то, что она по-прежнему не утратила своего престижа в глобализирующемся историческом пространстве. Французская историческая школа была и остается весьма плодотворной и богатой на знаменитые имена.

2. Не является секретом и то, что отечественным историкам всегда была присуща «особая чувствительность» по отношению к французской исторической школе и ее мэтрам. В нашей стране сложилась плеяда именитых франковедов, которые, печатаясь в различного рода изданиях, неизменно останавливались на их французской составляющей.

3. В связи с тем, что, начиная с последней четверти XX в., исторические дискуссии стали в значительной мере интернациональными и появилась возможность свободного обращения идей и книг, российский читатель может самостоятельно ознакомиться с творчеством выдающихся французских мыслителей в области истории благодаря переводам их сочинений на русский язык.

4. В то же время небезынтересно, осмыслив суждения французских историков о том, как влияет на их национальную историческую науку стремительно развивающаяся универсализация исторического знания, подумать, какой посыл этот процесс может передать российской исторической науке.

5. Происходящая в мире «социокультурная глобализация» сблизила больше, чем когда бы то ни было прежде, национальные исторические школы. Это прекрасно видно на международных конференциях, во время которых со всей очевидностью проявляются схожесть и совместимость историографических подходов. К тому же стоит подчеркнуть в качестве характерного симптома то, что отныне каждой национальной историографии свойственно признавать такое понятие, как «мировая история». В то же время правомерным остается и тот факт, что любая национальная историография есть продукт собственных традиций и исторического наследия. А это, по крайней мере на сегодня, позволяет утверждать, что национальные историографии сохраняют свои особенности. Более того, нельзя забывать о том, что в разных исторических школах в некоторые понятия не всегда вкладывается одинаковый смысл, что подчас вызывает сильные историографические разночтения.

6. За тридцать последних лет французская историография сильно изменилась. В первой половине 70-х гг. XX века еще широко доминировала социальная история, а в ее рамках развивалась так называемая «ментальная история». Сегодняшний историографический пейзаж предстает глубоко изменившимся. Если говорить о произошедшей эволюции в самых общих чертах, то следует упомянуть о ее двух главных проявлениях. Во-первых, возродилась политическая история, а во-вторых, развилась культурная история. Размах метаморфоз, происшедших во французском обществе за годы «Решающего двадцатилетия», 1965-1985-е, был настолько велик, что исторический отрезок времени, существовавший до них, можно назвать «миром, который мы утратили», и к его анализу уже вполне применим историко-антропологический метод.

7. Еще одним методом, позволяющим дополнить новыми сведениями наше знание об исследовательском поле современной французской историографии, могут послужить интервью, полученные непосредственно от самих «творцов» французской исторической школы. Обобщив сведения, полученные во время личных бесед с рядом ведущих французских ученых, трудящихся в Институте политических наук г. Парижа, Высшей школе социальных наук, университетах Парижа, можно сделать следующие выводы:

А) К сожалению, современная французская историография испытывает немалые трудности. Она вдруг оказалась малоизвестной мировому историческому сообществу, оттого, что французы не публикуются на английском языке, что просто необходимо в современных условиях, потому что на «глобальном историческом рынке» котируются произведения, написанные на английском языке.

Б) Французской исторической школе свойственны отличительные черты и по сей день. Например, англоязычная историография – это историография синтеза, она меньше задействована на архивах, тогда как во французской историографии еще ощущается влияние той эпохи, когда надо было защищать докторскую диссертацию, для чего требовалось проделать глубокое научное исследование. Хотя сейчас, когда и во Франции защищают лишь одну диссертацию, появилась тенденция писать большие работы обобщающего характера, где представлены взгляды и предложены перспективы авторского коллектива. Но пока университетская наука такие работы-амальгамы считает не совсем научными.

В) Еще одна черта современной французской историографии заключается в том, что ученые сосредотачивают внимание на исследованиях отдельных и узких сюжетов, поэтому ей недостает работ, где присутствуют глобальные выводы, что присуще англосаксонской историографии.

Г) Сегодня французской историографии явно не хватает выхода на международный уровень и на другие дисциплины, в том числе на философию, антропологию, социологию, теоретические и политические науки. Велика значимость трудов коллективных, которые, бесспорно, должны совмещаться с индивидуальными.

И.И. Кобылин (Нижегородский ГПУ),
Ф.В. Николаи (Нижегородская государственная медакадемия)

Американские trauma studies: история, культурная память, биополитика

В отечественной историографии практически нет специальных работ, посвященных такому перспективному направлению современных исследований как trauma studies. Отчасти это объяснимо: указанное течение пока трудно охарактеризовать в полной мере – оно весьма неоднородно, его научно-исследовательская программа еще не сложилась окончательно, а принципиальные интересы участников находятся на пересечении различных академических дисциплин (и у многих историков междисциплинарность в данном случае вызывает скорее опасения, чем энтузиазм). Однако анализ «исследований травмы» представляется крайне актуальной задачей. В своем становлении они являются диагностически значимым показателем чрезвычайно важных процессов, идущих в западной историографии в целом. Кроме того, тематизация американскими исследователями травматического измерения истории и разработанный ими аналитический инструментарий могли бы существенно расширить наши возможности при работе с травмирующими аспектами собственного прошлого. (Безусловно, речь идет не о простом заимствовании или копировании, а о теоретически продуктивном диалоге). Настоящее выступление будет сконцентрировано на общем обзоре исторического формирования американских trauma studies и выявлении их специфики по сравнению с другими трендами современной мысли.

Для начала кратко обозначим основные этапы развития этого течения. Ключевым событием, спровоцировавшим его

появление в США, стала война во Вьетнаме. Ветераны и беженцы, чей опыт явно противоречил официальному «патриотическому» дискурсу республиканцев, оказались вовлечены в «великие протестные движения» 1970-х гг. Попытки артикулировать травматичные переживания – на фоне упорного «молчания» государственных институтов – тесно переплетались с радикальным политическим активизмом. Подобная политическая ангажированность была важна и для представителей академического сообщества, впервые попытавшихся сформулировать идеи trauma studies – Б. ван дер Колка, Р.Дж. Лифтона, Х. Шатана, Ч. Фигли, М. Хоровитца.

В результате в конце 1970-х – начале 1980-х гг. trauma studies начинают формироваться за пределами доминирующих нарративов в рамках новых социально-активных дискурсивных практик – women's studies, постколониальных исследований, визуальной антропологии и т.д. – обретающих постепенно академическое признание. Уже в 1980 г. Американская психиатрическая ассоциация приняла предложенное Б. ван дер Колком понятие «посттравматического стрессового расстройства» (ПТСР), а в 1985 г. было создано Общество исследований травматического стресса. Однако, несмотря на это, целостной концепции «травмы» пока не существовало. Это было зонтичное понятие, которым пользовался широкий круг исследователей-практиков, занимающихся сбором, систематизацией и статистической обработкой клинического материала. Поэтому условно период 1980-х гг. можно назвать «терапевтическим» или прагматическим.

В 1990-е гг., когда накопленный материал все настоятельнее требовал концептуального осмысления, развернулись теоретические дискуссии о сущностной специфике травматического опыта и перспективах его репрезентации. И уклониться от этой полемики историки уже не могли. Выразителями крайних точек зрения в этих дискуссиях стали Ш. Фелман и Д. Лакапра. Для Фелман травма нерепрезентируема. Парадоксальным образом все свидетельства и репрезентации оказываются свидетельствами о самой несвидетельствуемости и представлениями самой непредставимости. Лакапра в своей критике взглядов Фелман показывает, что такой подход приводит к возвышенной мистификации/сакрализации травматического потрясения, блокирующей при этом возможность его «проработки» (в смысле фрейдовского понятия «durcharbeitung»), транзитивного диалога с болезненным грузом прошлого. Позиции большинства других

теоретиков *trauma studies* располагались между этими полюсами, и основные усилия были направлены здесь на конкретизацию механизмов травматического воздействия. Эта тенденция проявилась в работах Дж. Александера, М. Джея, К. Карут, Р. Лэйз, Э. Сантнера и др.

Новый импульс развитию *trauma studies* придали события сентября 2001 г., когда все американское общество испытало шок от терактов в Нью-Йорке. Последовавшая «война с террором» вызвала не столько теоретическую озабоченность виктимизацией, сколько обсуждение границ применения понятий, разработанных в рамках *trauma studies*. Действительно, своеобразная «индустрия травмы» в 2000-е гг. охватила самые разные предметные сферы: локальные конфликты и память о мировых войнах XX в.; исследования Холокоста и современной националистической политики Израиля; последствия естественных и технологических катастроф (от Чернобыля до урагана Катрина); трансляцию «вторичной травмы» кинематографом и другими медиа-ресурсами; травмированную память о расовом угнетении и распаде постколониальных сообществ.

Подобная пролиферация стремительно набирающих символический капитал *trauma studies* представляется, на наш взгляд, симптомом целого ряда трансформаций (концептуальных и институциональных), характерных как для современного историописания, так и для гуманитарного знания вообще. Речь идет о формировании специфической *парадигмы памяти*, объединяющей сообщества вокруг опыта прошлого. Причем должным образом «проработанный» негативный опыт может быть по-настоящему продуктивным в деле формирования подлинной солидарности, отличной от фантазматических имитаций ничем незамутненной целостности. И, безусловно, *trauma studies* (и в теоретическом, и в клинично-практическом аспектах) обладают определенным ресурсом для такой проработки. Анализ травматических меток – мнезических цезур (и соответственно защитных процессов вытеснения), шоковых аффектов, навязчивых повторений, неконтролируемых телесных жестов – существенно расширяет наше представление о работе памяти, включая ее сбои и искажения. Всегда находящаяся на стыке персонального и коллективного, личной и культурной памяти травма в этом контексте становится одним из наиболее сложных – и именно поэтому наиболее важных и интересных – топосов новой парадигмы.

Однако у востребованности trauma studies существует и другая сторона. Если в момент своего возникновения они были неотделимы от политически эффективной критики в адрес властных институций, то сегодня, пользуясь беспрецедентным государственным содействием, скорее способствуют политической нейтрализации. Речь уже идет не об ответственности правительства за развязывание полномасштабных военных конфликтов, но лишь об отдельных людях, получивших психические травмы. Граждане – политически активные агенты, способные вырабатывать формы сопротивления насилию и социальной несправедливости – на глазах превращаются в потенциальных жертв, нуждающихся в терапевтической помощи. Медиализация социополитических проблем, культ виктимности, идущий рука об руку с фетишизацией безопасности, вписывают значительную часть исследований травмы в ту биополитическую парадигму, которая согласно Фуко и Агамбену является сегодня господствующей парадигмой власти. Впрочем, стратегия виктимизации находит своих критиков и среди некоторых теоретиков trauma studies, а это значит, что потенциал развития здесь далеко не исчерпан.

М.Е. Колесникова (Ставропольский ГУ)

Становление и развитие кавказоведения во второй половине XIX – начале XX в.

Современный уровень развития кавказоведения – результат труда профессиональных ученых (археологов, антропологов, этнографов, историков, филологов) и краеведов-любителей, которые на протяжении столетий изучали Северный Кавказ, выявляли, накапливали и анализировали источниковую базу исследований, формировали историческое знание о регионе.

Письменная традиция изучения Северного Кавказа уходит корнями в античные времена. Являясь перекрестком исторических дорог, Северный Кавказ привлекал внимание ярким своеобразием своей природы, экзотичностью быта и языковой пестротой населения. Зарождение северокавказской историографической традиции относится ко второй половине XVIII в., когда в период присоединения Северного Кавказа к России и его освоения начинается систематическое научное изучение края. На протяжении XIX в. шло формирование концепта «Северный Кавказ» в отечественной исторической науке, складывались научные традиции кавказоведения.

Центрами по изучению региона во второй половине XIX – начале XX в. стали Императорское Русское Географическое общество и его Кавказский отдел, Общество любителей естествознания и его Этнографический отдел, Императорское Московское археологическое общество. Их исследовательские программы способствовали росту интереса к прошлому Северного Кавказа, консолидации местных исследовательских сил и развитию северокавказской историографической традиции. Ключевую роль сыграл V (Тифлисский) Археологический съезд (1881), положивший начало систематическому изучению края.

Археологическое обследование региона осуществляла Императорская Археологическая комиссия, совмещавшая в себе научно-исследовательские, охранные и реставрационные функции. Члены комиссии А.А. Бобринской, В.Г. Тизенгаузен, Н.И. Веселовский, Н.П. Кондаков, Д.Я. Самоквасов, Н.Е. Макаренко, Н.Я. Марр, Э.А. Реслер и др., а также сотрудничавшие с комиссией любители древности внесли неоценимый вклад в развитие северокавказской археологии. Ими были исследованы и спасены от разрушения многие памятники археологии Северного Кавказа.

Важную роль в развитии исторических исследований сыграли северокавказские (Ставропольский губернский, Терский, Кубанский и Дагестанский областные) статистические комитеты. Их деятельность позволила значительно расширить источниковую базу, воссоздать событийную сторону локальных исторических процессов на Северном Кавказе с древности до начала XX в. Северокавказские статкомитеты стали научными центрами, которые объединили вокруг себя провинциальную интеллигенцию, занимавшуюся археологическими, этнографическими и историческими исследованиями. Интенсивность и характер этих исследований во многом зависели от деятельности секретарей комитетов П.П. Соколова, Н.Н. Черноярского, И.В. Бентковского, Н.А. Благовещенского, Е.Д. Максимова, Г.А. Вертепова, М.А. Караулова, Е.Д. Фелицына, В.А. Щербины, С.В. Руденко, Е.И. Козубского и др. Результаты научно-исследовательской деятельности членов статкомитетов публиковались в их периодических изданиях (Дагестанский сборник. Темир-Хан-Шура, 1902. Вып. 1-2; Кубанский сборник. Екатеринодар, 1883-1916. Т. 1-21; Сборник сведений о Северном Кавказе. Ставрополь, 1906-1914. Т. 1-11; Терский сборник. Владикавказ, 1890-1910. Вып. 1-7).

Кавказская археографическая комиссия, издававшая «Акты» (Тифлис, 1866–1885), и Ставропольская губернская ученая

архивная комиссия – один из центров изучения региональной истории в начале XX в. объединили северокавказскую интеллигенцию, скоординировали ее усилия по изучению региона. Они спасли от уничтожения документальное наследие, заложив основы архивного дела на Северном Кавказе.

Активизация местных исследовательских сил при содействии столичных научных учреждений и обществ обусловила создание в этот период ряда северокавказских научных обществ (Ставропольское епархиальное церковно-археологическое общество, Общество любителей изучения Кубанской области, Общество любителей казачьей старины, Общество распространения в народе грамотности и полезных знаний, Кавказское горное общество, Кубанское общество народных университетов, Терское общество любителей казачьей старины, Ставропольское общество для изучения Северо-Кавказского края, Кубанское общество любителей изучения казачества, Терское общество защиты и сохранения памятников старины и др.), занимавшихся археологическими, этнографическими, историко-краеведческими исследованиями, охраной памятников древности, музейной, просветительской и издательской деятельностью. Это были самостоятельные историко-краеведческие центры, развитие которых определялось их организационными и материальными возможностями, самобытностью местной проблематики.

В северокавказских научных учреждениях и обществах работали как профессионалы, так и историки-любители, которые состояли в нескольких обществах одновременно, что было характерно для пореформенной российской провинции в целом. Большинство северокавказских историописателей были выходцами из чиновничества и учительства, отчасти – духовенства. Среди них было немало представителей горской интеллигенции, выпускников Ставропольской мужской гимназии, военных. Они работали в статистических комитетах, состояли членами научных обществ, бескорыстно занимались научными исследованиями и просветительством, создавали музеи и библиотеки. Среди них: А.П. Архипов, И.В. Бентковский, Г.А. Вертепов, В.Ф. Владимирский, Н.И. Воронов, Б.М. Городецкий, Н.Ф. Грабовский, С.К. Даль, Н.Я. Динник, А.Н. Дьячков-Тарасов, М.И. Ермоленко, К.Т. Живилов, М. Заалов, А.-Г. Кешев, Д.С. Кодзоков, М.В. Краснов, В. Кудашев, Н.Т. Михайлов, Д.М. Павлов, Г.К. Пправе, Г.Н. Прозрителев, Л.П. Семенов, П. Тамбиев, А.И. Твалчрелидзе, П.И. Хицунов, Б. Шаханов и многие другие.

Их труды имели форму краеведческих и топографических описаний – наиболее распространенного типа научной работы того времени. Они содержали исторические, археологические, этнографические, статистические и географические сведения и были этапом на пути создания обобщающих трудов по истории Северного Кавказа, способствовали накоплению источниковой базы, углублению и дифференциации исторической тематики. Содержащийся в них разнообразный материал позволяет не только воссоздать историю региона, но и увидеть сам процесс «создания» исторической науки в провинции.

Существенный вклад в изучение истории края внесли военные историки: Н.Ф. Дубровин, А.Л. Зиссерман, П.П. Короленко, И.С. Кравцов, И.Д. Попко, В.А. Потто, Д. Романовский, К.Ф. Сталь, В.Г. Толстов, Р.А. Фадеев, Е.Д. Фелицын, Ф.А. Щербина, С. Эсадзе, А. Юров и др.

В пореформенный период значительную роль в консолидации северокавказского культурного сообщества сыграла региональная периодическая печать. Анализ «Ставропольских губернских ведомостей», «Кубанских войсковых ведомостей», «Терских областных ведомостей», «Кубанских областных ведомостей» («Кубанские ведомости»), «Кавказских епархиальных ведомостей», «Ставропольских епархиальных ведомостей», «Владикавказских епархиальных ведомостей» показывает, что провинциальное историописание (приемы и методы работы с источниками, включая устную память, конструкции исторического нарратива, формы и жанры исторических работ) – представляет различные уровни исторического знания и типы исторического письма.

Н.В. Липатова (Ульяновский ГУ)

Историк как психотерапевт современного общества: общественный потенциал исторического знания

*Дело историка – не выносить приговоры, но понимать.
Марк Блок. Судить или понимать?*

Медицинское сообщество и законодательство четко различают функции и роль психолога, психиатра, психотерапевта, психоаналитика. Аналогично различаются и задачи политолога, социолога и историка. Именно врач-психотерапевт, имея право назначать лекарственные препараты (в отличие от психолога), чаще всего занимается нефармакологическим лечением –

лечебной беседой. Аналогия между историком и психотерапевтом на первый взгляд представляется излишне вольной. Однако именно аналогия является одним из самых универсальных эвристических приемов для решения творческих задач, что необходимо, как воздух, настоящему историку – историку, стремящемуся избежать пристрастности журналиста, политика или обывателя и взглянуть на исторические фигуры не как на неудачников или героев, а как на людей своей эпохи, на события не как на результат чьих-то козней, а как на сложный многогранный жизненный процесс.

Аналогия – правдоподобное вероятное заключение о сходстве двух предметов в каком-либо признаке на основании установленного их сходства в других признаках [Спиркин А.Г. Философия. М., 1985. С. 503]. Аналогия лежит в природе самого понимания фактов, связывает неизвестное с известным. Правда, со времен Дэвида Юма аналогия зачастую рассматривается как в лучшем случае спорный метод изучения разделенных во времени ситуаций. Однако, в начале XX в. метод познания по аналогии был оправдан и в настоящее время, как минимум, признается, что он может использоваться в гуманитарных науках [Wolf J. Intelligent Design Debate and the Rehabilitation of Analogical Knowledge. Publication of Metanexus Institute // www.metanexus.net/magazine]. Этот метод, основывающийся на свойстве человеческого мозга устанавливать ассоциативные связи между словами, понятиями, чувствами, мыслями, впечатлениями, позволяет, вместе со сравнением, наиболее отчетливо увидеть аспекты проблемы, находящиеся в тени.

Историк реагирует на недуги общества, «страдающего» теми же проблемами, что и обычный человек – забывчивостью, замкнутостью на себя, и т.д. Примером может служить факт смещения событий 1991 и 1993 гг. у Белого дома в Москве, подтвержденный результатами социологических опросов.

Историк в обществе не исследователь, а врач. Порой он подпитывает уверенность пациента, подтверждая историческими данными основание для чувства гордости. Наиболее ярко это показывает праздник 9 мая – День Победы, который не нуждается в исторической мотивации, так как общество его всецело принимает. Более того, исследования историков, не отражающие позитивного представления о ПОБЕДЕ, на уровне общества игнорируются. Другой праздник – 4 ноября, исторические корни которого уходят в Смутное время, требует исторической подпитки, поскольку, согласно социологическим

опросам, более 60 процентов респондентов не знают фактуры, составляющей основу исторической гордости.

Историка стоит называть социальным врачом еще и потому, что именно он, в отличие от политолога, социолога, видит состояние не только «здесь и сейчас», а анализирует его и в исторической ретроспективе, и в широких географических рамках. Сравнения и диагнозы историков порой весьма неслестны для их родного общества, но необходимы как лекарство, как лечебная беседа. Результат такого воздействия – оживление как позитивных, так и негативных эмоций и реакций общества. Рассмотрим несколько аспектов воздействия исторического знания на общество, которые, безусловно, не являются исчерпывающими.

Бытовой аспект зачастую выражается в словесной формуле – *поговорить об истории*. Историческое знание выступает исключительно в роли факта, независимо от его собственной структуры. Историческая эрудиция свидетельствует не столько о начитанности и любознательности, сколько превращает ретранслируемые факты в аргументы дальнейших «кухонных» бесед, далеких от исторического знания.

Творческий аспект превращает человека, обладающего исторической информацией (источник абсолютно не важен) и умеющего найти традиционную основу для новой идеи, праздника и т.д., в историка-хранителя старины. Материальным выражением служат музеи, юбилей населенного пункта, памятные доски и т.д.

Идеолого-мировоззренческий аспект превращает историческое исследование и самого историка в создателя идеологической концепции, которая зачастую представляет инструмент исторического манипулирования. Наиболее ярким примером в отечественной историографии является концепция М.Н. Покровского «Февраль – пролог Октября», повлиявшая не только на историческую науку, но и на мировоззрение общества в целом.

Образный аспект трансформирует историческую информацию в рекламу. Историк авторитетным мнением превращают неисторическую информацию в историческую действительность в глазах общества посредством фильма, литературного произведения, рекламного ролика, агитационного плаката и т.д. Существует и обратная ситуация, когда именно образ создает псевдодействительность. Слова популярной песни могут влиять на восприятие событий, в этом меня убеждает собственный преподавательский опыт. Стоило группе «Любэ» спеть песню «Не валяй дурака, Америка» со строками про

«Екатерину, которая была не права», продав Аляску Америке, как студенты, слушавшие эту группу, стали на экзаменах отвечать: «Аляску продали при Екатерине II». Когда я спрашивала, откуда эта информация, то слышала в ответ: «Ну, ведь есть такая песня».

Вещный аспект отчетливее всего проявляется в коллекционировании. Антиквариат, филателия, нумизматика и т.д. Коллекционер соприкасается с историей посредством предметов, познает эпоху на микроуровне. Знания мелочей превращают его в глазах общества в эксперта уже не только по предметам коллекции, но и по истории эпохи.

Психологический аспект связан с историко-биографическими исследованиями. Вместо историй успеха пациента I, или информанта N, историк имеет дело с конкретными публичными личностями прошлого. Популярность исследований дневниковых записей, эпистолярных источников объясняется еще и тем, что подобные источники интересны широкому кругу читателей, о чем свидетельствует востребованность книжной серии ЖЗЛ и мемуарной литературы.

«Престиж утверждения *это было*, – пишет Ролан Барт, – обладает поистине исторической значимостью и масштабом. Вся наша цивилизация питает пристрастие к эффекту реальности, что подтверждается развитием таких специфических жанров, как роман, дневник, документальная литература, хроника происшествий, исторический музей, выставка старинных вещей, а в особенности массовое развитие фотографии, чья единственная отличительная черта (по сравнению с рисунком) – именно обозначение того, что изображенное событие *действительно* имело место» [Барт Р. Дискурс истории // Система моды: Статьи по семиотике культуры. М., 2003. С. 438]. Таким образом, позиция историка-исследователя заключается не только в том, чтобы хронологически укладывать и связывать исторические факты, но и в том, чтобы их истолковывать.

С.И. Маловичко (Российский государственный аграрный университет – МСХА им. К.А. Тимирязева, Москва)

Источниковедение историографии с точки зрения Научно-педагогической школы источниковедения

В связи с трансформацией функций гуманитарного знания, размывания как его рационалистической, так и охранительной составляющих, вопрос о познавательных возможностях

исторической науки становится ключевым в эпоху постпостмодерна.

Оказавшись в ситуации парадигмального изменения в гуманитаристике, историки отмечают, что «вся история целиком вступает в свой историографический возраст» [Нора П. Между памятью и историей: Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб., 1999. С. 23], а историография все чаще начинает выступать как одна из «базовых составляющих исторической культуры» [Репина Л.П. Память и историописание // История и память: Историческая культура Европы до начала Нового времени. М., 2006. С. 45-46]. Актуализация роли историографии происходит в ситуации, которая характеризуется все большим размежеванием разных типов исторического знания: социально ориентированного и научно ориентированного, где последнее старается найти более строгие научные основания профессиональной деятельности историков. Неслучайно обращается внимание на пересмотр параметров истории историографии [Grever M. Fear of Plurality: Historical Culture and Historiographical Canonization in Western Europe // Gendering Historiography: Beyond National Canons. Frankfurt; NY, 2009. P. 46-47] и делается вывод о своевременности формирования нового направления исторической критики, позволяющего исследовать не столько концепции, историографические направления и школы, а профессиональную культуру в целом [Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М., 2011. С. 409-410].

Строгие научные основания истории историографии может предоставить лишь логический процесс верификации получаемых результатов исследования, базой которого служит *источниковедение историографии*. Ее актуальной задачей является *классификация историографических источников* и такую работу историки проводят уже довольно давно, а предложенный жанровый подход [См.: Нечкина М.В. История истории (Некоторые методологические вопросы истории исторической науки) // История и историки: Историография истории СССР. М., 1965. С. 10], а также классификация исторической литературы по принципам происхождения, авторства и вида [См.: Зевелев А.И. Историографическое исследование: методологические аспекты. М., 1987. С. 126] до сих пор привлекают внимание исследователей. Однако научные принципы систематизации (кроме «классового» подхода) и выявления видового состава историографических источников так и не были определены, что особенно заметно по докторским диссертациям последних лет. В данном случае я

остановлюсь на проблеме структурирования таких историографических источников как произведения историков, что наиболее полно соответствует базовому понятию *историографический источник*.

Феноменологическая парадигма Научно-педагогической школы источниковедения (сайт Источниковедение.ru), восходящая к эпистемологической концепции А.С. Лаппо-Данилевского, как мне уже приходилось замечать, позволяет исследователю плодотворно работать с историографическими текстами [См.: Маловичко С.И. Историописание: научно ориентированное vs социально ориентированное // Историография источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин: материалы XXII междунар. науч. конф. М., 2010. С. 24]. Тем более что, как отмечает М.Ф. Румянцева, сегодня происходит парадигмальное сближение историографии с источниковедением в рамках интеллектуальной истории [Румянцева М.Ф. Феноменологическая парадигма источниковедения в актуальном историографическом пространстве // Будущее нашего прошлого: материалы всеросс. науч. конф. М., 2011. С. 227].

Необходимо помнить о том, что произведения историков прошлого по отношению к наблюдателю-исследователю выступают эмпирической реальностью – вещью, которая сама по себе, реализованный интеллектуальный продукт, результат целенаправленной человеческой деятельности, выступающей в процессе познания как особый феномен. Этот феномен, по мнению О.М. Медушевской, представляет собой «главный материальный объект, посредством которого возникает в автономной человеческой информационной среде феномен опосредованного информационного обмена» [Медушевская О.М. Эмпирическая реальность исторического мира // Вспомогательные исторические дисциплины — источниковедение — методология истории в системе гуманитарного знания: материалы XX междунар. науч. конф. Москва, 31 янв. – 2 февр. 2008 г.: в 2 ч. М.: РГГУ, 2008. С. 33]. Таким образом, источниковедческий подход может строиться на феноменологической парадигме, которая, по меткому замечанию историка, уже является источниковедческой по своей ключевой позиции [Медушевская О.М. История в общей системе познания смена парадигм // Единство гуманитарного знания: новый синтез: материалы XIX междунар. науч. конф. Москва, 25 – 27 янв. 2007 г. М.: РГГУ, 2007. С. 14].

Феноменологическая парадигма позволяет рассматривать историю историографии (и историю в целом) как науку, имеющую свой эмпирический объект, создававшийся в процессе целенаправленной деятельности историописателя. Созданный автором интеллектуальный продукт становится основным источником информации о человеке и исторической культуре его времени. При этом, в качестве объекта источниковедческой операции выступает уже не отдельно взятое произведение, а система (вид) историографических источников, соответствующая определенному типу культуры. Разработка видовой природы исторического источника, отмечает М.Ф. Румянцева, «дает возможность... рассматривать каждый исторический источник не только как уникальное произведение человеческого творчества, но и как “экземпляр” в контексте данного вида исторических источников, как объект, несущий в себе устойчивые признаки породившей его культуры» [Румянцева М.Ф. Современное источниковедение: поиск универсальных оснований научного знания // Проблемы исторического познания. М.: ИВИ РАН, 2011. С. 70-82]. Неслучайно, основой процедуры выделения видовой структуры исторических источников в Научно-педагогической школе источниковедения принят принцип *целеполагания*.

Подход Научно-педагогической школы источниковедения позволяет рассматривать историю историографии как строгую науку, дает возможность выявить связи между произведениями и авторами, которые существовали в период функционирования живой информационной сети своего времени и тем самым включить их в систему произведений. Каждый продукт человеческого интеллекта структурирован своей целью. Поэтому произведения историков функциональны, они несут в себе обозначение своей функции в системе исторического знания, т.к. цели, ставившиеся историками при написании диссертаций, монографий, статей, больших нарративов по национальной истории, а тем более курсов лекций, не могли быть одинаковыми. В практике историографических изысканий плодотворными будут исследования информационного ресурса какого-либо одного вида историографического источника (монографии, статьи, рецензии, отзывы и т.д.). Выбор однородных видовых корпусов историографических источников предоставляет перспективу выстраивания компаративных исследований, позволяющих изучать общие и особенные черты видовых конфигураций в разных школах историков в рамках национальной историографии,

а также в различных национальных историографиях, как в синхронном, так и в диахронном аспектах.

П.Н. Матюшин (Чувашский ГУ, Чебоксары)

Формирование исторического сознания в период политического террора 1930-х гг.

1930-е гг. в истории Советского Союза – сложный период, неоднозначно оценивающийся учеными, политиками, общественностью. Особой проблемой является формирование исторической памяти в этот период, для изучения чего необходим анализ взаимоотношений государства и школьного образования как структуры, влияющей на формирование исторического сознания.

Школьное образование 1930-х гг. уже становилось объектом исследований историков. Однако, вопрос о методах формирования исторического сознания школьников второй половины 1930-х гг. – времени политического террора – специально не рассматривался. В этот период основной упор был сделан на работу в средних школах для того, «чтобы сделать историю наиболее могучим фактором коммунистического воспитания» [Ярославский Ем. Невыполненные задачи исторического фронта // Историк-марксист. 1939. № 4. С. 7]. И это несмотря на то, что в большинстве советских школ ситуация выглядела так: «малоподготовленный преподаватель работал в одиночку, без литературы, без всякой помощи» [Хазанова Е. Преподавание истории в неполной средней школе в первой половине 1936/37 учебного года // Историк-марксист. 1937. № 3-4. С. 216].

1934-й год ознаменовался масштабными изменениями в преподавании истории. 15 мая ЦК ВКП(б) и СНК СССР приняли постановление «О преподавании гражданской истории в школах СССР». В нем решительно осуждались прежние подходы к преподаванию общественных дисциплин, когда «вместо преподавания гражданской истории в живой и занимательной форме с изложением важнейших событий и фактов в их хронологической последовательности с характеристикой исторических деятелей учащимся преподносились абстрактные схемы». Это постановление положило начало формированию содержания систематических школьных курсов истории в советский период.

Однако, основы советской истории во второй половине 1930-х гг. не только не были до конца восприняты обществом, но и наталкивались на неизбежные в таких случаях препятствия: жизненный опыт и знание людьми реальной истории. При этом, на периферии страны появлялась возможность получения альтернативной информации. В политических отчетах по Чувашской АССР за 1936–1937 гг. есть сводки о настроениях в среде учительства, «протаскивавшего» контрреволюционно-троцкистскую идеологию и занимавшегося «прямой контрреволюционной троцкистской агитацией». Причины указывались следующие: «1) наличие проникновения в некоторые учебные заведения классово-чуждых элементов и лиц с чуждой идеологией, на деле проводящих прямую контрреволюционную работу, благодаря отсутствию проверки их при назначении и приеме на учебу со стороны Наркомпроса ЧАССР; 2) недостаточное, а подчас и полное отсутствие партийной и комсомольской работы среди учащихся, в силу чего последние остаются без партийно-комсомольского влияния, просвещения и воспитания; 3) имели место отрывы руководителей и воспитателей (директоров, учителей) в отдельных школах от личной жизни и бытовых условий учащихся вне школы и полное предоставление последних самим себе; 4) наличие отдельных классово-враждебных элементов и лиц с чуждой идеологией». Этим реставраторским и контрреволюционным установкам своевременный отпор не давался, поскольку преподаватели недостаточно интересовались жизнью учеников. Так, например, учитель Шихазановской средней школы Никифоров вместо того, чтобы вскрыть корни отчужденности ученика Павлова пошел по линии наименьшего сопротивления и заявил ему: «Ты в школе все равно не уживешься, тебе надо из нее уходить» [Государственный архив современной истории Чувашской Республики. Ф. 1. Оп 18. Д. 68. Л. 67-68]. Зачастую учителя высказывали свое мнение о «врагах народа» – Троцком, Бухарине, Рыкове. Такие высказывания органами НКВД незамедлительно связывались с настроениями учеников: «Ученик 7 класса Русско-Чукальской НСШ Шемуршинского района Ченышев повесил мертвую курицу на веревке у клуба с надписью на бумаге "Я могла жить, но померла потому, что в колхозе хлеба не дали". При расследовании выяснилось, что это было сделано по указанию отца. Студенты II курса Алатырского педтехникума распространяли антисоветские анекдоты» [Там же. Д. 86. Л. 75].

Положение с молодыми учителями, в том числе и по истории, описана в одном из отчетов районного отдела образования следующим образом: «Оканчивающие педучилища не получали необходимую идейно-теоретическую подготовку и необходимые организационные и практические навыки для самостоятельной работы в школах. Часть учительства, становясь на самостоятельную практическую работу в школах, постепенно сползали с правильного пути, потеряли необходимое политическое чутье в работе и очутились в плену мелкобуржуазной стихии и мещанской обывательности. Многие молодые учителя, преимущественно окончившие педучилище, разложились в идейно-политическом и бытовом отношении. Вместо систематической и упорной работы над собой занимаются пьянством и развратничеством» [Там же. Д. 134. Л. 8].

«Краткий курс истории ВКП(б)» (1938) был призван заменить «несовершенные» учебники по истории СССР. В частности, к ним были отнесены учебники Г. Зиновьева, Волосевича, Ем. Ярославского, преданные анафеме за изложение истории ВКП(б) прежде всего «вокруг исторических лиц и воспитывавших кадры на лицах и биографиях» [Постановление ЦК ВКП(б) от 14 ноября 1938 г «О постановке партийной пропаганды в связи с выпуском «Краткого курса истории ВКП(б)» // Пропаганда и агитация в решениях и документах ВКП(б). М., 1947. С. 369]. Издание «Краткого курса...», хотя и вызвало рост активности масс по изучению его основных положений, привело также к заметному «отторжению» допущенного передергивания реальных событий.

Учительство беспокоила, прежде всего, возможность использовать «Краткий курс» в качестве учебного пособия. «Не могу не указать на один очень крупный недостаток. Дело в том, что книга предложена для массового пользования публики примерно со средним образованием. Но глава IV переполнена научными выражениями и в ней не разобраться», — писал в комиссию по изданию «Краткого курса» народный учитель С.И. Пугачев [РГАСПИ. Ф. 623. Оп. 1. Д. 1. Л. 47], подтверждая тезис Ярославского, высказанный в 1935 г. в письме Сталину и Стецкому, о необходимости выпуска трех видов учебников (для низовой партийной сети, для комвузовцев и пропагандистов).

Таким образом, в массовом сознании не только закладывалось искажение исторической истины, но и создавались предпосылки для длительного и устойчивого существования этого искажения. Как свидетельство успеха формирования нового исторического сознания можно привести

отрывок из докладной записки в управление Главлита СССР: «Пришлось мне встретить книжицу, где на обложке помещены портреты Ленина и Троцкого, а внизу написано "Да здравствуют наши вожди". Эту книжицу читают дети.... Надо это быстро ликвидировать» [Там же. Д. 120. Л. 49]. Человек, писавший это, даже не задумывается, почему Троцкий назван вождем наряду с Лениным. Безотказно срабатывает сформированный стереотип «Троцкий-враг», отмечающий остальные вопросы.

Аллан Мегилл (Allan Megill)
(Университет Вирджинии, США)

Интеллектуальная и дисциплинарная истории: общее и особенное

Данное исследование начинается с ряда констатаций. *Во-первых*, существуют разные жанры интеллектуальной истории. *Во-вторых*, интеллектуальная история имеет более тесные связи (а иногда и частично совпадает) с множеством других дисциплин, чем дисциплинарная история, в том числе *среды прочих других*, с философией, политическими, естественнонаучными и литературными исследованиями. *В-третьих*, по отношению к дисциплинарной истории интеллектуальная история часто рассматривается как на удивление слабо привязанная и даже чуть ли не маргинальная.

Повод для размышления над этими проблемами около года назад был дан мне датским интеллектуальным историком Миккелем Торупом (Орхусский университет), сформулировавшим мне и многим другим интеллектуальным историкам пять тщательно отобранных вопросов, касающихся данной области. Краткая версия моих ответов на эти вопросы была опубликована в книге “Intellectual History: 5 Questions” (Ed. by F. Stjensfelt, M.H. Jeppesen, and M. Thorup. Automatic Press/VIP, Copenhagen, 2012: <http://www.vince-inc.com/contact.html>); подробные ответы можно найти в двух моих статьях [Five Questions on Intellectual History // Rethinking History. 15: 4 (December 2011). P. 489–510; Пять вопросов по интеллектуальной истории // Диалог со временем. 2012. № 38. С. 489–510]. Кроме того, у меня состоялось широкое обсуждение этих вопросов с посетившим Университет Вирджинии К. Чжаном (Xupeng Zhang) (Китайская академия общественных наук), и этот диалог также будет опубликован в 2012 году в Китае и в 2013 году в Англии.

В данном исследовании я развиваю свои размышления о жанре интеллектуальной истории, в частности об ее зачастую сдержанном, а иногда даже проблематичном отношении с дисциплинарной историей. Многие ученые, внесшие свой вклад в этот жанр, считают своим «домом» другие дисциплины и области специализации – литературные исследования, философию, естественнонаучные и политические исследования, историю искусства и т.д. И даже те интеллектуальные историки, которые «живут» в истории зачастую по своим интересам и способам анализа стоят особняком от своих коллег-историков – не все, но все-таки многие.

Какими должны быть отношения между интеллектуальной историей и историей дисциплинарной? Какие последствия это может иметь для интеллектуальных историков и их работы? Может и должна ли интеллектуальная история заявить о своей «автономии» по отношению к другим областям (как однажды предложил американский интеллектуальный историк Леонард Кригер) и, если да, что должно стать основой и последствиями такой автономии? Или следует заявить о ее особом отношении с дисциплинарной историей?

Л.П. Репина (ИВИ РАН, Москва)

Социальные функции исторической науки в XXI веке*

О социальных функциях историописания написано немало, этот вопрос (в различных терминах и формулировках) занимал историков самых разных эпох, начиная с древности. Тезис о пользе исторических сочинений постоянно присутствовал у античных и у византийских авторов, и, более того, именно стремление принести «пользу» декларировалось как цель исторических трудов, впрочем, наряду и в тесной связке со столь же извечным стремлением к «истине». Между тем, со становлением истории как академической дисциплины проблема функций исторического знания существенно усложнилась и трансформировалась – именно в связи с новыми установками на достижение *исторического знания* и критериями *научной истории*. В этой связи уже в новых социальных и интеллектуальных условиях конца XIX – первой половины XX века в целой серии посвященных методологии истории работ (как в тех, что скоро

** Исследование выполнено при поддержке РФФИ (проект № 10-06-00264).

стали классическими, так и в ныне практически забытых) – либо во вводных главах, либо как центральная тема – вновь оказался актуальным и дискуссионным вопрос о пользе истории (например, в «Апологии истории» М. Блока или в «Пользе истории А. Роуза, если ограничиться 1940-ми гг.). Наконец, в острой полемике между критиками истории в ее модернистском понимании и историками, защищавшими статус «истории как науки» перед лицом «постмодернистского вызова», вопрос о функциях и «пользе» исторической науки стал рассматриваться во все более тесной связке с вопросом о «злоупотреблении» ею (что, например, ярко проявилось в постановке соответствующих проблем в рубрике «главных тем» для обсуждения на Международных конгрессах исторических наук в конце прошлого и в начале нынешнего столетия).

И.М. Савельева и А.В. Полетаев в целом ряде своих работ (в том числе в специальной статье: Савельева И.М., Полетаев А.В. Функции истории. Гуманитарные исследования. Серия WP6. М., 2003, а также в фундаментальных монографиях) проделали обстоятельный анализ всего спектра функций историописания и предложили их новое истолкование с учетом динамики развития исторической науки Нового времени и ситуации, сложившейся в XX веке, заметив, в частности, целенаправленность и активность действий представителей прагматического типа историографии Нового времени, пригодной для обоснования идеологических принципов и политических задач, в осуществлении широко понимаемых социальных функций – тех историков, которые «особенно остро осознают свою зависимость от настоящего, сознательно реагируют на проблемы своего времени и пытаются, как минимум, “словом” воздействовать на способы их решения» [Савельева И.М., Полетаев А.В. Знание о прошлом: теория и история. В 2 т. СПб., 2006. Т. 2. Образы прошлого. С. 562]. Ими же впервые был поставлен очень важный вопрос, насколько «применимы предшествующие многовековые рефлексии по поводу функций истории к современной ситуации», и, в попытке осмыслить, что произошло с функциями исторического знания в XX в., список этих функций был сведен к пяти ключевым понятиям: *поддержание образцов, легитимация, идентификация, открытие Другого и историческая память.*

Несмотря на формальные различия нельзя не заметить как некоторые пересечения, так и значимые расхождения между указанными понятиями, обобщающими функции истории в Новейшее время, и пятью аспектами (*семантический, когнитивный, эстетический, риторический и политический*),

выделенными Й. Рюзенем для характеристики исторического сознания и историописания [Rüsen J. Historisches Erzählen // Rüsen J. Zerbrechende Zeit. Über der Sinn der Geschichte. Köln, Weimar, Wien: Böhlau, 2001. S. 43-105].

Пожалуй, наиболее острые дискуссии, напрямую касающиеся рассматриваемой проблемы, концентрируются сегодня вокруг понятия «историческая память», а точнее – вокруг отношений между исторической памятью и исторической наукой. Все чаще вопросы такого плана поднимаются не только в связи с состоянием и задачами современного исторического знания, но и с более специальными проблемами историко-историографического анализа. Это противопоставление истории и памяти в современной форме в некотором смысле повторяет оппозицию истории как науки и истории как искусства, широко обсуждавшуюся еще на рубеже XIX–XX вв., и – что весьма показательно – перечисляемые в работах первой половины XX в. позитивные и негативные следствия утверждения научного статуса истории для ее воздействия на широкую публику и, соответственно, на общество в целом [Rowse A. The Use of History. L., 1946. С. 87-89; etc.], совпадают с тем набором размежеваний, которыми характеризуются аналитические конструкты, обозначаемые обычно концептами «историческая память» (варианты: «образы прошлого», «массовые представления о прошлом» и т.п.) и «научная история» (варианты: «история историков», «критическая история» и т.п.).

Если памяти, вслед за П. Нора, приписывается ведущая роль в организации, сохранении/забвении и прагматичной (в интересах общества или отдельных групп) актуализации опыта («образов») прошлого в настоящем, то «научная история» выступает как критическая, аналитическая, проблемная. Среди множества разнообразных версий этого «противостояния» в работах последних лет наиболее интересными представляются две очень близкие (но совсем совпадающие, поскольку нередко рассматриваются в разных планах и с разными исследовательскими задачами) интерпретации дихотомии «социально-ориентированной» и «научно-ориентированной» истории, представленные в ряде докладов и статей М.Ф. Румянцевой [см., например: Румянцева М.Ф. «Места памяти» в структуре национально-исторического мифа // Диалог со временем. 2007. Вып. 21. С. 106-118] и С. И. Маловичко [Маловичко С.И. Социальная память и историческая наука: проблемы целеположения // История и историки в пространстве национальной и мировой культуры XVIII – начала XX века. М., 2011. С. 212-215; и мн. др.]. Конвенциональность нашего

профессионального языка обуславливает необходимость детального обсуждения, прояснения и уточнения понятий, которыми мы оперируем, более четкой дифференциации сфер их употребления, выявления возможных затемняющих смысл коннотаций и сомнительных аналогий.

Представляется, в частности, полезным выделить различные по своим задачам составляющие «социально-ориентированной истории», смысл и содержание которой отнюдь не исчерпывается социально-политическим конструированием («национальная история» как идеологический проект; «политика памяти»; «контрапрезентная память»). Без понимания специфики целеполагания и коммуникативных стратегий «публичной истории» (или «истории для всех») невозможно предметно представить современные перспективы распространения исторического знания в их научно-популярной форме). Осуществляемое через разделяемые «образы прошлого», стереотипы восприятия, уровни понимания, критерии полезности и горизонты ожиданий детерминирующие воздействие социокультурного контекста на современное историческое знание и перспективы развития исторической науки не отменяет оснований для действия обратного вектора. Историческое сознание является неотъемлемой структурообразующей частью общественного сознания, и именно в этой сфере рельефно обнаруживается социально-воспитательная функция и прагматика исторической науки, реализуется ее мировоззренческий потенциал, познавательная и практическая ценность, задействуются механизмы ее влияния на развитие общества и его отдельных групп. «Публичная история», которая преодолевает отчуждение исторической науки от «непосвященных», опираясь на новые подходы, используя все возможные каналы влияния для распространения исторических знаний и навыков исторического мышления в кругах непрофессионалов, оперативно отвечая на социальные запросы, общаясь с публикой на понятном ей языке и используя современные средства коммуникации, является важным инструментом данной стратегии, которая должна активно противостоять политическим проектам, которые, например в форме «национальной исторической памяти», могут оборачиваться оружием массового поражения.

Применение общего понятия «социально-ориентированной истории» в целях историко-историографического анализа в режиме *longue durée* также требует разработки более тонкого инструментария. Как показывает многовековая история историографии, два выделяемых в аналитических целях

измерения историописания – идеологическое (политическое) и когнитивное (критическое) – не только размежевывались, но причудливым образом «сцеплялись», и «история критической историографии» не ограничивается периодом развития истории как научной дисциплины, а выступает как органичная часть синтетической *истории исторической культуры*, включающей историю исторического познания, сознания и мышления, историю исторических представлений и концепций, способов производства, хранения, передачи исторической информации, а также, разумеется, и средств манипулирования ею, и, не в последнюю очередь – идеологизированных «образов прошлого», задающих интерпретационные модели и выступающих как мощный фактор личностной и групповой идентичности. История исторической культуры предполагает изучение динамики состояний исторического сознания во взаимосвязанности трех различных перспектив, которые в той или иной мере соответствуют таким основным направлениям обновленной методологии интеллектуальной истории, как история интеллектуальной жизни, история ментальностей и история ценностных ориентаций, и, потому требует разработки соответствующего интегрального концептуального аппарата.

Н.В. Старикова (Нижегородский ГПУ)

К вопросу о становлении научного статуса исторической науки в России XVIII в.

Историческая наука в России в XVIII в. делала свои первые шаги в условиях господства представлений о «прагматизме» научного знания, постоянного притока идей западной историографии, в условиях разрушения догматов о собственной уникальности и обособленности и, вместе с тем, пытаясь сохранить самоидентификацию.

Развиваясь под эгидой государства и удовлетворяя в первую очередь его запросы и потребности, историческая наука заявляла о собственно научных задачах, без решения которых, ее окончательное оформление было бы невозможно. Обсуждение научных проблем не замыкалось в рамках академии и академического сообщества. С середины века с появлением научно-популярных периодических академических и частных изданий в них публикуются статьи и материалы по истории, обсуждаются важнейшие на тот момент вопросы науки. Спецификой российских академических и университетских

журналов был их научно-популярный характер, а главной задачей – донести научную информацию до любознательных читателей. Таким образом, именно журнальные издания середины – второй половины XVIII в. стали «рупором» исторической науки, где историки-профессионалы и любители излагали насущные потребности зарождающейся науки.

Важную информацию по данной проблеме дает нам анализ академического издания «Ежемесячные сочинения» (1755–1765 гг.) (далее – ЕС), на страницах которого часто публиковались статьи по истории. Автором большинства материалов, излагавших важнейшие задачи исторической науки, был Г.Ф. Миллер, являвшийся редактором журнала в это время. Ряд статей, опубликованных на страницах «Ежемесячных сочинений», посвящался изучению древнерусских летописей. Г.Ф. Миллер (без сомнения являвшийся их автором) указывал на то, что в сочинениях по русской истории западноевропейских историков содержится множество «погрешностей», ошибок и неточностей. Их причиной, по мнению ученого, было плохое знание русских источников, главным из которых являлась летопись. Именно на изучении последней должно основываться исследование по российской истории. Плохое знание русского языка не дает иностранцам возможности доподлинно изучить летописные своды, поэтому этим должен заняться ученый, состоящий на службе Российской Академии наук, хорошо знающий язык [Миллер Г.Ф. Предложение как исправить погрешности находящиеся в иностранных писателях писавших о Российском государстве // ЕС. 1757. Апр. С. 224-231]. Эта тема была продолжена в ряде других работ, в том числе в статье «Рассуждение о двух браках введенных чужестранными писателями в род Великих князей Всероссийских» [Он же. Рассуждение о двух браках введенных чужестранными писателями в род Великих князей Всероссийских // ЕС. 1755. Февр. С. 87-102]. Автор замечает, что исследование и анализ летописей должно стать первостепенной задачей для историка. Изучению «Повести временных лет» Г.Ф. Миллер посвящает отдельную статью «О первом летописателе российском преподобном Несторе, о его летописи и о продолжателях оные» [Он же. О первом летописателе российском преподобном Несторе, о его летописи и о продолжателях оные // ЕС. 1755. Апр. С. 299-324]. Здесь ученый не только указывает на необходимость публикации древних источников для того, чтобы сделать их более доступными широкому кругу читателей и привлечь таким образом внимание к их анализу, но и дает весьма высокую оценку работе

В.Н. Татищева, поднимает проблему авторства летописных сводов. В следующей публикации «Сумнительства, касающиеся до российской истории» [ЕС. 1755. С. 433-437] Г.Ф. Миллер обращается к проблеме встречающихся несоответствий при сопоставлении русских летописей и византийских источников. Обращаясь ко всем любителям российской истории, издатель предлагает внимательно изучить и разрешить эту проблему.

Целый раздел «Санкт-Петербургских ведомостей» посвящался обзору новых книг. В нем от лица журнального редактора часто давалась оценка книжным новинкам, публиковались отрывки. «Известие о сочинении И. Богдановича Историческое изображение России» [Санкт-Петербургские ведомости. 1778. Июль. С. 55-56] сопровождалось публикацией принципов исторического исследования, с которым издатель был в целом согласен: 1) преодоление хронологического подхода, освещение важных и значимых событий; 2) установление причинно-следственных связей между историческими фактами; 3) характеристика правителей, их внутренней политики; 4) освещение внешнеполитической деятельности царей; 5) характеристика важнейших законов русского государства, а также эволюции государственной системы; 6) описание нравов и обычаев россиян. Несмотря на продолжающееся господство «прагматического» подхода к истории и провозглашенную автором воспитательную задачу – показать «добрые примеры» и «полезные и нужные правила», – заметка показывает утверждение нового понимания истории. Историк не просто отражает факты, но исследует их. Раздел известий о новых книгах имел и журнал «Санкт-Петербургские ученые ведомости» (издатель – Н.И. Новиков). В одном из номеров он поместил требования к публикации древних рукописей: 1) составление алфавитного каталога к каждой части издания; 2) помимо летоисчисления от сотворения мира, приводить датировку от рождества Христова; 3) не изменять древнее правописание, печатать документ строго по подлиннику; 4) обязательно указывать название и местонахождение подлинника [Там же. С. 28], что явно свидетельствовало о новом отношении к документу.

О том, что происходило теоретическое переосмысление исторической области знания, говорят попытки охарактеризовать новую науку, выявить ее «сильные» и «слабые» стороны. Такая работа была проделана Н.И. Новиковым, часть ее опубликована на страницах журнала. Мыслитель выделил два этапа в развитии исторической науки: 1) этап создания монументальных исторических сочинений, определение главных тем и проблем исторической науки, 2) издательская деятельность, сохранение и

популяризация источников, выработка методов работы с ними [Санкт-Петербургские ведомости. 1778. Июль. С. 53-54].

Таким образом, уже на начальном этапе существования исторической науки можно говорить о существовании довольно широкого круга научных проблем: публикация источников, популяризация исторических знаний, изучение летописей, отделение древнего текста от более позднего, определение авторства, сравнение отечественных и иностранных источников.

В. В. Тихонов (ИРИ РАН, РГГУ, МГОУ, Москва)

Нормы этики в сообществе российских историков конца XIX – начала XX в. (к постановке проблемы)

К началу XX в. сложилось сообщество профессиональных российских историков. Наличие нескольких научно-образовательных центров (Московский, Санкт-Петербургский, Киевский, Харьковский и др. университеты, Академия наук), система специализированной периодики, научные общества – все это говорило об успешном развитии исторической науки. Но формальными показателями дело не ограничивалось. Наряду с этим в среде историков распространялись собственные негласные традиции общения, повседневного времяпрепровождения, субординации, профессиональных этических норм. Эта неформальная сторона жизни корпорации до сих пор слабо изучена, многие проблемы тяжело поддаются исследованию из-за фрагментарной источниковой базы, большую часть которой составляют письма, дневники и мемуары. Тем не менее, интерес к данной проблематике заметно вырос, сформировав пока небольшое, но уже устойчивое направление в историографических исследованиях.

В данном случае этические нормы – это свод негласных правил поведения, следование которым становилось необходимым атрибутом принадлежности к определенной группе. Очевидно, что этические нормы историков во многом были схожи с правилами, выработанными российским ученым сословием в целом. В то же время круг профессиональных интересов неизбежно накладывал свой отпечаток. Условно этические нормы можно разделить на несколько больших групп: 1) общецивилизационные; 2) общенаучные и 3) профессиональные. Последние и определяли специфику историков.

Контроль над научной работой в дореволюционной России осуществлялся в значительной степени силами самих ученых. Именно университетские советы решали: достоин ли соискатель степени. Защита диссертации становилась событием в научном мире, а текст придирчиво оценивался специалистами, требования к качеству было чрезвычайно высокими. Тем суровее оказывалась реакция на попытки защиты низкопробной продукции. Еще одним важным условием было «честное» написание исследования. Показателен случай с киевским историком Е.Д. Сташевским, который попался на том, что крал из московского архива документы. Неформальное расследование велось силами московских историков и архивистов несколько лет. Когда подозрения были подкреплены доказательствами, научно-историческое сообщество среагировало незамедлительно. Немаловажно и то, что в среде историков сложился буквально культ исторического источника, поэтому такое отношение к ценнейшим архивным документам воспринималось как кощунство. Нечистоплотный исследователь был подвергнут остракизму московскими и петербургскими коллегами, всякие отношения с ним разорвали многие маститые ученые. Тем не менее, в 1914 г. Сташевский защитил диссертацию в Киевском университете. Ее низкое качество стало причиной скандала.

Большое значение придавалось тому, чтобы избежать в оценке диссертаций излишнего субъективизма. Нормы этики требовали беспристрастной экспертизы. Так, в 1902 г. Е.Н. Щепкин готовился защищать диссертацию. Рукопись попала к известному историку Р.Ю. Випперу, который в устной форме дал ей низкую оценку. Поскольку даже неформальный, незафиксированный отзыв играл важную роль в судьбе работы, то защита могла вообще оказаться под угрозой срыва. Вскоре выяснилось, что Виппер прочитал только самое начало исследования, а его негативное отношение объяснялось тем, что историки расходились методологически. Узнав это, В.И. Герье использовал весь свой авторитет для того, чтобы помочь Щепкину защититься.

Но нередко на передний план выходила не общенаучная, а корпоративная этика. Причем каждый зачастую понимал ее по-своему. В крупнейших университетах сложился тесный круг сотрудников, продолжателей местных научных традиций. Так сложились московская, петербургская и киевская школы. Доступ в эти корпорации был весьма затруднен для посторонних. Особенно это заметно было в Московском университете. Например, после того, как в 1911 г. многие преподаватели покинули университет в

знак протеста против политики министра народного просвещения Л.А. Кассо, М.М. Богословский, оставшийся работать и возглавивший кафедру, мотивировал это тем, что он стремится сохранить традиции школы В.О. Ключевского, не оставить кафедру русской истории «какому-нибудь Довнар-Запольскому». Тот же Богословский выступил резко против присуждения С.Б. Веселовскому докторской степени за фундаментальную монографию «Сошное письмо», минуя магистерской. Свою позицию он объяснил, помимо всего прочего, и тем, что Веселовский чужак, юрист, а не историк. Решение в пользу Веселовского ущемило бы интересы местных историков. «Я считаю книгу Веселовского полную недостатков и не вижу решительно причин проводить ее с отступлением от обычного порядка, т. е. без диспутов. Кроме того, такое отношение было бы несправедливым по отношению к нашим. Почему же мы Д.Н. Егорова и [А.И.] Яковлева, представивших по две книги, подвергали и будем подвергать диспутационным мытарствам» [Богословский М.М. Дневники 1913-1919. М., 2010. С. 240], – задавался он вопросом. Заметим, что такое понимание Богословским корпоративной этики вызвало протест и осуждение у многих его коллег.

Серьезной проблемой для сообщества историков стала выработка единого отношения к политическим проблемам. Размежевание по партийному принципу было весьма серьезным, многие историков активно участвовали в политической жизни. Тем не менее, существовала группа историков, которые считали, что политике не место в университете. К ним относились представители разных школ: А.С. Лаппо-Данилевский, М.К. Любавский, М.М. Богословский и др. Они стремились всячески разграничить науку и политику. Этической дилеммой было и сотрудничество с действующими властями. Она также решалась индивидуально, на основе личного выбора.

Описанные выше случаи показывают, что негласные устои часто нарушались. Но они же свидетельствуют и о том, насколько был силен неформальный контроль за их соблюдением. Именно сплоченность корпорации в сохранении устоев, традиций, этических норм, контроль над качеством исследований позволяли поддерживать общественный авторитет российских историков на высочайшем уровне.

Ш.С. Хамматов (Казанский национальный исследовательский технологический университет)

Меморизация истории: памятник Александру II в Казани

Одним из перспективных и актуальных направлений современных исторических исследований является изучение «локальной (местной) истории». Под «локальной историей», «историей места» можно понимать как историю отдельной страны, народа, составляющую часть всеобщей истории, так и историю отдельно взятого региона, города, района. Локальная история позволяет составить коллективную биографию локальной общности любого уровня от семьи до страны. При этом «история снизу» подходит к изучению локального сообщества через историю отдельных личностей его составляющих.

Современная ситуация развития исторической науки характеризуется возросшим интересом к проблемам повседневной истории. История повседневного, или повседневности – направление в историографии, которое имеет дело не с великими событиями и выдающимися личностями, а с теми сюжетами, которые традиционные историки пропускали как несущественные. К их числу относится одно из событий в истории Казани, которое в силу идеологических установок впоследствии было вычеркнуто из числа важных – сооружение и открытие памятника императору Александру II.

После гибели Александра II во многих крупных городах Российской империи было решено увековечить память императора. Казань не осталась в стороне. Постановление Казанской городской думы о сооружении памятника Царю-Освободителю было принято в апреле 1881 г. Предполагалось, что это будет сделано на добровольные пожертвования жителей города, причем также приглашались к подписке городские и сельские жители всей Казанской губернии [НАРТ. Ф. 98. Оп. 2. Д. 228. Л. 1]. Помимо этого на гробницу Александра II был возложен серебряный венок от всех общественных и сословных учреждений Казанской губернии и была поднесена икона Казанской Божьей Матери в церковь, которую предполагалось поставить на месте покушения (Собор Воскресения Христова на Крови).

Сбор средств шел медленно. К 1884 г. было собрано 5906 рублей, но через 4 года сумма почти не увеличилась. Благодаря деятельности нового городского головы С.В. Дьяченко были приняты меры, позволившие ускорить сбор средств. Городская дума обратилась к губернским и уездным земским собраниям Казанской губернии, а управа разослала подписные листы лицам, которые могли способствовать подписке, и вскоре сумма возросла

до 34 тысяч рублей. Создается комитет по сооружению памятника Александру II в составе С.В. Дьяченко, Н.Е. Баратынского, А.Ф. Докучаева, В.Н. Заусайлова, Н.А. Осокина, П.М. Останкова, В.М. Соломина. Тогда же был объявлен конкурс проектов памятника. Условия следующие: ценность – от 25 до 30 тысяч рублей; размещение на площади средних размеров; вид – на полное усмотрение автора. Кроме того, были назначены премии: за 1-е место – 500 рублей, за 2-е – 150 [НАРТ. Ф. 98. Оп. 2. Д. 2412. Л. 72].

К 1 января 1890 г., дате окончания конкурса, поступило 13 проектов памятника, из которых голоса получили 8: за проект, обозначенный девизом «Великому», на выставке-конкурсе проголосовало 227 человек, за проект «Слава» – 166, «Царю-Благодетелю» – 13, «Орион» – 6, «Русь» – 6, «Ум хорошо, а 2 лучше» – 5, «Где рука, тут и голова» – 2, проект Шредера – 2. В каждом предложенном проекте авторы стремились отразить положительные стороны правления Александра II, но везде доминировала идея «Царя-освободителя», отменившего крепостное право. По-своему интересен один из первых присланных проектов военного врача Михаила Залуговского из Твери. Сам памятник достаточно скромен, значительная часть отведена кресту с портретом Александра II в овале. От него ниспадали «...как лучи от светильника...» хартии, заключавшие в себе манифесты, указы (освобождение крестьян, гласный суд, университетский устав, отмена телесных наказаний и др.). А вместе с памятником должна была открыться хирургическая больница (устав учреждения прилагался) [НАРТ. Ф. 98. Оп. 2. Д. 2412. Л. 4]. Проекты, получившие больше всех голосов, были составлены академиком Владимиром Иосифовичем Шервудом. Особенно полно история царствования императора была представлена в проекте «Слава». Пьедестал, увенчанный колоссальным бюстом Александра II, был украшен четырьмя фигурами, характеризующими основные черты его деяний. «Царь-освободитель» представлен фигурой молящегося крестьянина с грамотой с надписью «19 февраля 1861 г.» в руке, «Царь-просветитель» – мудрецом, указывающим на раскрытую книгу, «Царь-законодатель» – фигурой России, благоговейщей перед «уложением Александра II», «Царь-преобразователь» – фигурами крестьянина и интеллигента, держащих одно знамя и обнаживших меч в его защиту. Они символизировали уравнение сословий в правах и обязанностях, что считалось существенной чертой преобразований Александра II. Проект «Великому» предусматривал более скромный пьедестал, украшенный

досками с надписями великих деяний императора, но с фигурой в полный рост. Совместить статую и роскошный постамент было невозможно из-за ограниченности средств [НАРТ. Ф. 98. Оп. 2. Д. 2412. Л. 23].

Прием аллегии, пожалуй, был главным для выражения замысла – представить деяния царя-освободителя. Так, в проектах провизора Л.О. Ольшевского, гатчинского художника Х.К. Васильева представлены скульптуры, символизирующие, например, русско-турецкую войну 1877-1878 гг. (фигура Славянина), отмену крепостного права (фигура крестьянина, с шеи которой Александр II снимает ярмо), отмену телесных наказаний (сломанные клеймо и плеть). В проекте «Русь» избранные атрибуты правления, опять же символизирующие отмену крепостного права, гласное судопроизводство, народное образование, всеобщую воинскую повинность и защиту славян: группа, изображающая народное образование, колонна с державой и скипетром, обозначающая судебную реформу 1864 г., фигура Геня, держащего свиток Манифеста 19 февраля 1861 г., и Воина с царским знаменем, олицетворяющего защиту славян [Там же. Л. 12-16].

Комитет по сооружению памятника Александру II признал наиболее удачными проекты «Великому» и «Слава», окончательно остановив выбор на первом. В качестве экспертов были привлечены видные казанские архитекторы Л.К. Хрцонович, И.Г. Невинский, М.Н. Литвинов, П.Т. Жуковский, П.Е. Аникин, выбравшие место для постановки памятника на Ивановской площади. Вторую премию получил проект «ЧВ» авторами, которого были академик М.А. Чижов и член Петербургского общества архитекторов Х.К. Васильев [Там же. Л. 65].

Памятник был готов в 1894 г., и торжественное открытие предполагалось провести 22 октября, но в связи со смертью 20 октября императора Александра III было отложено. Открытие памятника состоялось 30 августа 1895 года. Общая стоимость памятника вылилась в сумму 43 856 рублей [См.: Загоскин Н.П. Спутник по Казани. Казань, 1895. С. 591].

А.В. Хряков (Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского)

**«Потерянное поколение»? Немецкие историки 20-40-х гг. XX в.
о теории и практике исторической науки**

Устойчивое словосочетание «потерянное поколение» с легкой руки писателей 20-30-х гг. XX в. и прежде всего Хемингуэя и Ремарка прочно закрепилось за теми, кто на себе испытал все тяготы Первой мировой войны, но не смог найти собственного призвания в мирное послевоенное время. Как представляется, данная характеристика не соответствует положению и самосознанию немецких историков 20-40-х гг. XX в. Первая мировая война стала своего рода границей между тремя поколениями немецких историков, определявших развитие историографии Германии на протяжении почти всего XX в. Родившихся задолго до августа 1914 г. можно отнести к «имперскому поколению», чье формирование как историков пришлось на первые годы существования Германской империи, созданной Бисмарком в ходе победоносных войн 60-70-х гг. XIX в. (О. Хинце, Ф. Мейнеке, Э. Трельч, Г. Онкен). По своему возрасту они не подлежали мобилизации, но, пережив в своей молодости рождение государства из «духа войны», они сделали его главным предметом своего изучения. Первую мировую они в большинстве своем восприняли как очередной этап на пути к объединению Германии (как когда-то войны с Францией 1813 и 1870 гг.), в ходе которого немецкая «культура», противостоя западной, прежде всего английской и французской «цивилизации», приобретет статус мировой державы. Но так как эта война была для них скорее историей, чем памятью, то поражение в ней, в большинстве своем они приняли стоически, признав и его, и все то, что за этим последовало, и прежде всего Веймарскую республику.

В отличие от имперского, «поколение 1914 года» в полной мере почувствовало на себе все тяготы войны (К.А. фон Мюллер, Э. Канторович, Г. Ритгер, Г. Аубин, Г. Ротфельс). Большая его часть добровольно ушла на фронт уже в первые месяцы войны, подталкиваемая патриотической эйфорией и ожиданием скорой победы и потому для них поражение в войне стало поистине катастрофическим. В отличие от старшего поколения они так и не смогли расстаться с памятью о фронтовом братстве и сделать свои переживания историей.

Поколение историков, родившихся в начале века (Г. Геймпель, Г. Франц, Т. Шидер, В. Конце) и заставших войну лишь в юношеском возрасте целиком и полностью находилось во власти старших, занимаая в организационной структуре науки к началу 1930-х гг. маргинальное положение. Благодаря этому, они выработали собственное отношение к «миру отцов» – в основе своей радикальное и непримиримое. Их менталитет был

сформирован не столько фронтовыми переживаниями, сколько осознанием поражения в войне. От старших поколений они отличались отсутствием даже малейшего намека на шпенглеровский пессимизм и благородным стремлением к действию. Но наряду с этими лучшими качествами в них присутствовали максимализм, скоропалительность мнений, нетерпимость к оппонентам, и именно эти качества стали наиболее востребованы в послевоенной Германии.

Но, несмотря на столь существенные от представителей старших поколений, более молодые историки (как воевавшие, так и нет) воспринимали себя как единую группу с общим мировоззрением, определенным комплексом идей и убеждений, сформировавшихся не столько под влиянием общности полученного образования и высокого социального статуса, сколько благодаря осознанию собственной исключительности и высшего призвания стоять на страже немецкой культуры, государства и общества. Первая мировая война, а также последовавший за ней крах Германской империи лишь укрепили их уверенность в осознании собственной значимости. И в данном случае историки выступают не просто как «современники» происходящих общественно-политических изменений. Науку вообще и историю в частности можно рассматривать как открытую, динамично развивающуюся систему, которая не только реагирует на внешние по отношению к ней раздражители, но и сама способна становиться активным участником событий. Не случайно, что, несмотря на определенную «теоретико-методологическую летаргию», свойственную немецкой историографии данного периода самым обсуждаемым был вопрос о задачах исторической науки и ее роли для общества.

Немецкие историки не просто призывали, они требовали политизации исторической науки, стремясь всеми силами связать научные претензии с политическим стремлением. И роль обыкновенных статистов их никак не устраивала. Историки Германии не могли представить себя вне тех перемен, что произошли в их стране, стремясь не только зафиксировать, но и принять в них активное участие, сделав свои, во многом иррациональные и аффективные устремления, общезначимыми. «Мы ученые, заявил немецкий медиевист Герман Геймпель после прихода Гитлера к власти, не являемся декораторами, которые вслед за строителями с помощью отделки делают дом немного красивее... Скорее всего мы возводим его заново. Мы строим в наших сердцах из надежных камней беспощадного правдолюбия прошлую, настоящую, будущую Германию». Тогда же известный

специалист по этнической истории немцев Эрих Кейзер так определил вектор развития исторической науки: «Вероятно, в будущем останутся лишь политические историки, но не в устаревшем смысле, что каждый историк исключительно или по преимуществу будет заниматься государственной историей, но в том смысле, что он везде и всегда будет ориентировать свое исследование и свое преподавание на политические потребности своего народа». Наука должна соответствующим образом служить национально-политическим интересам, причем это является ее обязанностью и родовой сущностью.

Сказанное выше абсолютно не означает, что наука является служанкой политики и обязана исполнять все ее требования. Слишком сильное внешнее вмешательство в научные исследования являлось для историков, приверженных классическому ранкеанскому идеалу науки, «политически вредным». Но подобного рода заявления ни в коем случае нельзя воспринимать как оппозицию по отношению к политической власти, как выражение политического несогласия или сопротивления. Это лишь следствие различного понимания роли науки вообще и истории в частности в достижении общих национально-политических целей. Так, по мнению остфоршера Германа Аубина, наука должна иметь возможность «серьезно заниматься определенными вещами». Только тогда она сможет внести свой вклад в достижение национальных интересов. Чтобы противостоять претензиям западно- и восточноевропейских государств, прежде всего в территориальных спорах, аргументы немецкой стороны обязаны быть объективными и исторически обоснованными, ибо лишь научные доказательства будут восприняты международным сообществом как убедительные.

Историки Германии не понимали, что подобное понимание взаимоотношений науки и политики, когда с одной стороны, историк стремится исполнять поставленные народом и государством задачи, а с другой, надеется на сохранение автономии и заявляет о служении интересам науки, является наивным и утопичным, но это дилемма всей немецкой историографии первой половины прошлого века, ставшей инструментом политической борьбы. Стремясь быть «духовным оружием», наука теряет свою автономию перед актуальными политическими запросами современности – этого немецкие историки не осознавали.

З.А. Чеканцева (ИВИ РАН, Москва)

«Политика памяти» и моделирование истории

П. Нора, выступая в ИВИ РАН в январе 2010 г., сказал: «С 1970-х по 1990-е гг. мы стали свидетелями удивительного расширения и даже революции в историческом сознании и познании ... Память придала истории новый импульс, обновила подходы к прошлому и проникла во все периоды и отрасли исследования». Из этой революции историческая наука вышла радикально обновленной. Она говорит на другом языке и служит теперь не столько государству-нации, сколько обществу и культуре. Более того, сегодня она все активнее пересекает национальные границы, пытается создать новую «всеобщую» историю Европы и мира, свободную от европоцентризма и способную выдержать испытание на «истинность» на «формирующемся рынке мировой памяти» (П. Гарсия). Есть основания полагать, что это более зрелая наука, соответствующая сложности современного мира и постоянно возрастающей трудности совместного проживания людей.

Историки довольно поздно обратили внимание на феномен памяти, но именно они показали, что за последние несколько веков во взаимоотношениях истории и памяти произошли значительные перемены. Схематично вехи этих перемен можно представить следующим образом:

В Средние века – история подчинена памяти: занятия историей в то время были включены в мнемонические практики.

В XIX веке – история стала научной дисциплиной и институтом, находящемся на службе государства-нации. Такая история считалась носителем единственной исторической «правды» и в таком качестве она подмяла под себя память. В этой модели истории «чистое» знание о прошлом и всегда «нечистая» память считались несовместимыми.

В XX в., в ходе которого память постепенно стала втягиваться в историописание, родилась другая модель истории. Историков, работающих в русле этой модели, интересует не столько ушедшее гомогенное прошлое, сколько прошлое, изломанное памятью, которая оттеняется в прерывностях истории; «не столько генезис, сколько дешифровка того, кем мы больше не являемся». В современных способах написания истории, учитывающих субъективность историка, на первом плане оказывается историография как практика, позволяющая удовлетворить потребность в историческом познании и вместе с тем избежать ловушек наивного реализма по отношению к тому, что познается.

В этой модели истории главной единицей анализа

«прошлого» является «факт коммуникации», оформленный как «высказывание» и помещенный в поле общения. Наряду с содержательным и формальным анализом исторического «высказывания», историки исследуют восприятие и воздействие такого высказывания (в эпистемологии это явление получило название прагматического поворота). Например, одно дело рассказать историю строительства Храма Христа Спасителя в Москве (построен при Александре I, разрушен в 1931 г., восстановлен при Ельцине) и совсем другое – показать его как символическое место национальной памяти, выявляя, как воспринимали связанные с храмом события его строители/разрушители/восстановители, и то, как их воспринимают сегодня разные социальные группы. В ходе такого изучения, помимо прочего, выясняется, что исторический материал в реальной жизни является одновременно и научным и эмоциональным аргументом. И именно это обстоятельство объясняет политическую эффективность/неэффективность использования «прошлого».

Интеллектуальные историки убедительно показали, что политика присутствует во всех моделях истории. Разница заключается в том, что в новой модели историки, осознавшие конструктивистскую природу социального познания, более изобретательно изучают связи исторического/мемориального и политического в междисциплинарном режиме. Они перестали считать себя носителями единственно верной интерпретации: плюралистическое видение истории в этой модели – норма. Более того, произошло радикальное «уравнивание в правах» собственно научного, «высокого» знания и «знания», находящегося за пределами науки, причем не только в относительно престижных сферах философии, теологии, искусства, но и в царстве обыденного «общего смысла», с которым в традиционной исторической модели не очень считались.

В гуманитарном дискурсе нашей страны тема памяти присутствует. Идет большая теоретическая работа, связанная с осмыслением взаимоотношений в триаде история/память/политика. Но в современной России все еще доминирует традиционная модель истории, утвердившаяся в XIX в. Также как и в советское время, память об исторических событиях скорее служит легитимации политического режима, нежели имеет непосредственное отношение к истории. Контроль над прошлым остается необходимым условием контроля над настоящим.

Во Франции уже в период глубокого мировоззренческого кризиса между двумя мировыми войнами историки постепенно

стали отходить от представлений об истории как способе легитимации государства-нации и обратили внимание на общество. Изучая ментальности, т.е. присутствующей в жизни любого социума «эфир», который формируется в повседневной практике людей и одновременно формирует эту практику, они осознали необходимость пересмотреть взаимоотношения памяти и истории. Особенно важную роль здесь сыграло изучение коммеморативных практик, праздников, ритуалов, церемоний, образов, представлений и пр. Вскоре они поняли, что память вездесуща, она повсюду, и ее изучение может быть полезно в процессе выявления и артикулирования связей между культурным, социальным, политическим, между представлениями и социальным опытом.

Начиная со второй половины 70-х гг. память становится важнейшим объектом исторического исследования. Все больше внимания историки стали уделять проблемам риторики. Их интересовала, в частности, способность языка формулировать идеи, а также то, каким образом риторические формы могут использоваться в политике. Изучая историю коммемораций, они стремились показать, как использовали коммеморативные ритуалы и памятники те, кто этим занимался. Другими словами, историки интересовались памятью как средством мобилизации политической власти и пытались понять риторику и природу пропаганды. Постепенно стало ясно, что работа с памятью, ее историзация обогащает усилия историков по осмыслению прошлого. Возникли представления об альтернативных возможностях толкования истории. Под сомнение был поставлен европоцентризм (историки открыли другие миры), усложнилось понимание наследия.

Осмысливая память как важный инструмент социальной связи, историки стали пристально вглядываться в традиции изучения истории. Историческая профессия осознала необходимость исследования того, что Хальбвах назвал исторической памятью. Родилась история историков, т.е. историография, понимаемая не как «идеологическое оружие» (так было в Советском Союзе), но как историческая эпистемология, занимающаяся исследованием природы и процедур «историографической операции». Важным объектом интеллектуальной истории стала «политика памяти», понятая как власть стереотипов мышления, воздействующих на настоящее. Другими словами историки убедительно показали властную природу историографических концептуализаций.

Такое понимание «политики памяти» чаще всего игнорируется перед лицом другой политики, подразумевающей стратегию использования образов прошлого в настоящем и их включение в планы будущего. Разумеется, «политика памяти», связанная с политической стратегией, тоже существует, и ее надо учитывать. Ее воплощением, в частности, является так называемая «официальная история», существующая в большинстве стран.

К.И. Шнейдер (Пермский ГУ)

Борьба за историю в середине XIX в.: полемика вокруг исторических взглядов ранних русских либералов

Несомненной релевантностью для объяснения феномена раннего русского либерализма середины XIX в. обладают дискуссии его представителей с радикальными и консервативными критиками. Накануне Великих реформ в поле производства идей несложно заметить открытую конкуренцию между различными направлениями отечественной общественной мысли в процессе социального конструирования модели ближайшего национального будущего. Основной площадкой развернувшейся полемики стала периодическая печать, а главным призом – участие в подготовительном этапе предстоящих преобразований в качестве экспертов и разработчиков.

Демократическая критика начального русского либерализма представлена двумя журналами – «Современник» и «Отечественные записки». В них авторы многочисленных полемических материалов сосредоточили внимание на обсуждении таких тем, как либеральная историософия с ее ярко выраженным этатизмом, снобизм адептов «чистого искусства» по отношению к окружающей действительности и преимущества крестьянского общинного управления перед перспективой его разрушения. Следует отметить устремленность критической волны «слева» на Б.Н. Чичерина, что, вероятно, связано с ростом конкурентной напряженности в поле производства идей в период либерализации второй половины 1850-х гг. накануне Великих реформ.

Дискуссия о судьбе крестьянской общины в России расколола отечественную либеральную среду на сторонников сохранения ее в обозримом будущем и противников старых форм хозяйствования на земле. В данном вопросе «левые» вполне солидаризировались с позицией К.Д. Кавелина и части

либералов, озабоченных социально-экономическими последствиями исчезновения общинных порядков, как для землевладельцев, так и для земледельцев. Журнал «Современник» в 1858 г. даже опубликовал извлечение из знаменитой «Записки об освобождении крестьян» Кавелина. Возникший своеобразный либерально-демократический консенсус опирался, в том числе, на идею сосуществования общины и ростков нового частного владения фермерского типа, что, гипотетически, не только могло обеспечить плавный переход к чему-то новому в деревне, но и обезопасить от массового разорения дворян, а самое главное, от пролетаризации крестьянства.

Еще одной областью критики «слева» раннего русского либерализма являлась эстетика, а точнее, приверженность многих либералов концепции «чистого искусства». Демократическая критика предлагала дидактический подход к интерпретации эстетических проблем в противовес либеральным установкам «чистого искусства». Позиции «левых» опирались на идеи Н.Г. Чернышевского, пытавшегося создать своего рода «позитивную эстетику». Poleмика столкнула антропологический подход к эстетике, являвшийся частью идеалистической картины мира ранних русских либералов с философским реализмом демократов, характерным для их восприятия прекрасного.

Не менее жесткой была критика российских либералов «справа», где, в первую очередь, располагались славянофильствующие и традиционалистские оппоненты, выступавшие на страницах журналов «Москвитянин» и «Русская беседа». Авторы обращались к теме народности в науке и неприемлемости западного опыта изучения прошлого, особенностям русской общины и «слабым» местам либеральной исторической концепции. Традиционно главным персонажем критических заявлений являлся Чичерин, по разным причинам раздражавший не только «левых», но и «правых» рецензентов.

«Правые» отказывались верить в либеральную версию организации современного общинного миропорядка «сверху» правительственными мерами начиная с рубежа XVI и XVII в. и доказывали его изначальную историческую укорененность в народной жизни. Эмоциональный накал дискуссии, скорее всего, связан с фактом несанкционированного вторжения либералов в консервативный сегмент поля производства идей, исторически ответственный за генерацию канонических образов сельского мира. Это само по себе воспринималось как покушение на общепризнанную традицию, грозившее самыми

непредсказуемыми последствиями. Кроме того во второй половине 1850-х гг. именно крестьянская тема стремительно актуализировалась и «правые» не желали отдавать ее на откуп интеллектуалам из демократической и либеральной среды.

В тесной связке с общинной обсуждались проблемы народности и так называемого «русского воззрения» в науке. Теоретический спор об этом между либералами и их оппонентами «справа» в 1856–1858 гг. вылился в серию статей в «Русском вестнике», «Атенее», «Московских ведомостях», с одной стороны, и «Русской беседе», «Москвитянине» – с другой. Национальная составляющая в ее вульгарно антропологическом варианте привлекала консервативных экспертов в области истории знания.

Консервативных критиков всерьез раздражал европоцентризм ранних русских либералов, и они настойчиво поднимали тему народности в науке для обсуждения проблемы подражания Западу. В то время как Чичерин в ходе полемики артикулировал идеи непредвзятости ученого, его максимальной дистанцированности от массива собранных фактов и общей судьбы научного знания для всех народов, «правые» предлагали проверять любые теоретические умозаключения силой их соответствия народному восприятию. При этом наиболее профессиональные консервативные эксперты не забывали ссылаться на необходимость преодолеть не только пагубные пристрастия ко всему иностранному, но и узость местнической исключительности.

В полемике с либералами по вопросу о так называемом «русском воззрении» и народности в науке «правые» исходили из тезиса о позитивном, подлинно самостоятельном развитии России в допетровскую эпоху, которая разрушила и переопределила национальную судьбу, поставив ее в зависимость от подражания западным образцам. Вектор их критических выступлений был направлен на защиту привилегий самобытности, признававшей единственным источником формирования общечеловеческого гуманитарного арсенала. Ранний русский либерализм, напротив, ориентировался на периферийную адаптацию очевидных достижений канонической европейской традиции, являвшейся для либеральных мыслителей своего рода квинтэссенцией социальной мудрости. Таким образом, если одни предлагали двигаться от многообразия частных проявлений к абстрактному идеалу, то другие предпочитали сосредоточиться на перспективах изучения доминирующего в истории социокультурного опыта.

Критику «справа» раннего русского либерализма во второй половине 1850-х гг. можно считать продолжением известной

полемики между западниками и славянофилами. Однако проходила она уже в начальный период подготовки Великих реформ, когда либеральные и консервативные оппоненты неизбежно стремились привлечь к себе внимание верховной власти, предложив ей свой концептуальный проект будущего развития общества. В конечном счете, новая редакция старой дискуссии стала важной частью борьбы соперничающих сторон за символический капитал аутентичной трактовки национальных интересов и, возможно, способствовала корректировке содержания раннелиберального дискурса в консервативном направлении.

Часть 4. ЗНАНИЕ О ПРОШЛОМ В КОНТЕКСТЕ «НАУЧНЫХ РЕВОЛЮЦИЙ»

О.В. Воробьева (ИВИ РАН, Москва)

Пространственный поворот и перспективы современных цивилизационных исследований

Кризис цивилизационных исследований, начавшийся в последние десятилетия XX века, сменяется их очередной реактуализацией. В значительной мере это обусловлено процессами глобализации, охватившими мир на рубеже XX и XXI вв. и породившими новый всплеск интереса к макроисторическим исследованиям, а с ними и попытки вернуться к масштабному и интегрирующему взгляду на развитие человечества и человеческих сообществ. Цивилизационные исследования вполне вписываются в эту тенденцию, однако требуют существенного пересмотра своих теоретико-методологических оснований. Потребность в новых теоретических основаниях обусловлена прежде всего спецификой самого процесса глобализации, протекающего параллельно с процессом глокализации и по-новому выстраивающего взаимодействие между глобальным и локальным/региональным. В этой связи особенно актуальным становится поиск ответа на вопрос о соотношении между глобальной и региональной историей, с одной стороны, и цивилизационного анализа – с другой, между цивилизационной и трансцивилизационной проблематикой.

Экспансия цивилизационной проблематики в ранее неосвоенные области, равно как и новой проблематики в проблемное поле цивилизационных исследований высвечивают и позволяют наметить перспективные поля исследований в этой области социогуманитарного знания. Одним из таких полей может стать проблематика цивилизационных вызовов – вызовов миграции, модернизации, урбанизации, вестернизации, глобализации, глокализации и др., в том числе вызовов самому человеку со стороны современной цивилизации. Изучение этих вызовов и ответов на них в разные эпохи и в разных цивилизационных контекстах позволит не только выявлять цивилизационную специфику, но и – в процессе исследования – выходить на изучение вопросов, помогающих развить и усложнить сложившиеся на данный момент образы цивилизаций, в том числе за счет изучения следующих проблем.

Во-первых, это проблема цивилизационного (и шире – исторического) сознания и способов его формирования и конструирования (в том числе роли истории и историографии в этом процессе). С ней связана и вторая проблема – проблема цивилизационной идентичности, в том числе – наряду с глобальной цивилизационной самоидентификацией населения – гибридность и гетерогенность идентичностей внутри каждой цивилизации (наличие периферийного самосознания, попытки преодолеть периферийную самоидентификацию, трудности промежуточной самоидентификации и т.п.), а также постоянная трансформация идентичностей [см. об этом: Ионов И.Н. Цивилизационные представления на рубеже XXI века: перезагрузка // Историческая наука сегодня, теории, методы, перспективы. М., 2011. С. 236-237]. Изучая разнообразные и разноуровневые идентичности внутри цивилизаций, иерархию идентичностей, исследователь должен понимать сложность и многообразие цивилизации как системы. Естественно, что каждая из этих идентичностей по-своему рассматривает свое место в глобализирующемся мире, равно как и по-своему реагирует на все цивилизационные вызовы. В свою очередь это выводит на третью проблему – проблему способов конструирования коллективного цивилизационного опыта (коллективная память, места памяти или наоборот забвения, коллективные травмы, потребность в мифологизация и т.п.). В-четвертых, это проблема преодоления европоцентризма в цивилизационных представлениях, актуализация идеи гетерогенности Запада и Востока, а следовательно, каналов, способов и рецептов так называемых западных влияний (именно во множественном числе!) и наоборот; поиск баланса между западными и незападными цивилизациями, способов конструирования культурной когерентности мирового исторического процесса, предполагающей не всегда явную преемственность с глобальными циркуляциями и др. В-пятых, в связи с процессами глобализации/глокализации актуальной становится проблема диалога культур и цивилизаций в его историческом измерении, осмысления разноуровневности цивилизационных контактов, изучения динамики межкультурных интеракций, культурных циркуляций и трансферов, пограничья как особой зоны этих контактов, диффузий и влияний. При этом речь идет не только о меж-, но и о внутрицивилизационном диалоге. В-шестых, проблемы сочетания цивилизационной истории и имперской истории, переосмысление этого сочетания в условиях изменения представлений о цивилизациях и

империях. В-седьмых, проблема взаимоотношений цивилизации и варварств том числе внутреннего варварства, переосмысление традиционных представлений о превосходстве и победах варварства над цивилизациями.

Разработка обозначенных выше проблем требует дальнейшего развития теории и методологии цивилизационных исследований, интенсификации сравнительно-исторических исследований. Прежде всего, речь идет о разработке такого компаративного подхода, который помог бы вместо традиционного выявления сходств и различий разных цивилизаций, сходящихся и расходящихся траекторий их развития, научиться встраивать их в общий глобальный контекст, раскрывать структурную логику сходных явлений, процессов и конфликтов, отдаленных во времени и пространстве [см. об этом: Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв. М., 2011. С. 205-206]. Очевидно, что в рамках дихотомной логики это сделать невозможно. Нужен такой уровень концептуализации мира, который позволил бы снять оппозиции и увидеть взаимоисключающее, как взаимодействующее и взаимодополняющее. Другими насущными проблемами теории и методологии цивилизационных исследований являются: понимание вариативности цивилизационной теории и методологии, признание факта существования разных цивилизационных подходов, каждый из которых акцентирует внимание на своем аспекте/ракурсе/способе осмысления цивилизационной проблематики и далек от онтологизации результатов собственных исследований; поиск (в условиях критики европоцентризма) культурно-нейтральной цивилизационной терминологии; осмысление уровней, критериев и пределов сравнительного анализа, особенностей синхронного и диахронного подходов, интра- и интерцивилизационных сравнений, тотальных и частичных, асимметрических и симметричных, конвергентных и дивергентных сравнений; переход от каузального объяснения к контекстуальному (множественные взаимосвязи, взаимообмены, взаимовлияния); наконец, поиске таких многомерных методологических конструктов, которые базируются на синтезе разных подходов к изучению цивилизационной проблематики.

Поиск адекватной компаративной перспективы, способной связать в единой когерентной логике разноуровневые, разномасштабные, разрозненные во времени и пространстве цивилизационные сообщества, актуализирует проблему «эквilibра» между конкретными и теоретическими

цивилизационными исследованиями. Осознавая всю сложность коллизии конкретного и абстрактного в цивилизационных исследованиях, а также наличие определенной неконвертируемости между ними, тем не менее, установление режима «челночных» отношений между цивилизационной историей и теорией (в противовес разрыву или крену в одну из сторон) видится более продуктивным.

И.Л. Зубова (Ульяновский ГУ)

«Научные революции» в свете динамичности исторического знания

Рассмотрим научные революции в свете специфики исторического знания, характеризуемого его повышенной динамичностью. Такой подход претендует на преодоление недоверия к историческому знанию в качестве научного и строится на признании его научной революционности, являющейся одним из факторов и содержательным моментом общенаучных революций.

Научная неординарность исторического познания находит выражение в изменчивости интерпретаций его результатов, в постоянной реорганизуемости знания, а также в невозможности сконструировать строгие теории, необходимые для построения надежных объяснительно-проективных схем деятельности и долгосрочных социальных прогнозов. Наряду с отсутствием жестких теоретических схематик в историческом познании наблюдается тяготение теорий к индивидуализации и они получают статус *ad hoc*, что артикулирует единичность как форму существования социальности, которая реализуется через идиографический способ описания истории.

Организация исторического знания осуществляется вокруг со-бытия и здесь особенно замечено такое «свойство» знания как релевантность, то есть заимствование и миграция знания из различных областей познания и научных дисциплин, которая в конечном итоге приобретает форму междисциплинарности. Релевантность выступает условием и фактом динамичности знания.

Концептуализация исторического знания не знает императивности понятийных конструкторов. В позитивистски ориентированном историческом познании неоднократно высказывались предложения выработать специальный язык истории с четким определением используемых ею понятий. Наличие своего языка признавалось одним из условий

позволяющим получить истории полновесный научный статус. Однако «история сопротивлялась любой попытке формализации дискурса» и «нет единого языкового протокола, продержавшегося хотя бы день среди историков» (Х. Уайт). Историки тяготеют к «понимающей истории», стремятся к ее человеческому измерению и неизбежно пользуются неформальным герменевтическим языком метафор, образов, символов.

Нетехнологичность и неметодологичность активности историка в научном поиске создает условия для креативных ситуаций, в которых возможна Мысль. Порождаемая Мысль максимально выражает и кодифицирует в знании синкретическое содержание актуального социального опыта и уникальности ситуации. Она заряжена новизной – специфическим признаком научности, выражающим динамизм знания.

Обладая целым набором динамических особенностей, историческое познание развивалось через воспроизведение своего кризисного состояния. Для исторической науки кризис не аномальное, а нормальное и позитивное состояние. Отсутствие кризисного состояния свидетельствует о неблагополучии, стагнации в состоянии научного познания и знания. Кризисные состояния познания заканчиваются «революциями» – качественным преобразованием знания и исторической науки. В результате революции конституируется новая парадигма научного познания и исследовательской деятельности. Однако новая парадигма не упраздняет существовавшие до нее, а устойчиво и равноправно соприсутствует с ними, увеличивая потенциальные возможности новых трансформаций знания, иначе перманентное обновление научной мысли оказалось бы крайне затрудненным.

Перманентность кризисов и революций при обязательном наличии множества теоретико-методологических подходов, познавательных и исследовательских парадигм показывает, что парадигмальный режим не является доминирующим для исторического познания. Парадигмальная определенность познавательной ситуации дополняется неопределенностью её состояний, с возможностью актуализации и конституирования иных парадигм. Они обеспечиваются нелокальными связями, в чем проявляется принципиальная открытость исторического познания. Оно скорее является пред-, сверх-, над- или полипарадигмальным, чем парадигмальным в традиционном смысле. В крайнем случае, парадигмой исторического познания можно признать динамичную структуру, одновременно вбирающую и презентующую все множество и разнообразие онтологических схем динамики

социальной реальности и познания, имеющих место в исторической науке.

В перманентных кризисах и революциях исторического познания заключена «сотворяющая себя история», что ставит под сомнение «идею истории», на которой базировалась классическая наука и ее рациональность. Переосмысление «идеи истории» классического историзма началось и в значительной степени осуществлялось «внутри» исторического познания на основе установления факта поразительной способности исторического знания к обновлению. В динамике знания и разрабатываемых схемах динамики социальной реальности имеющих место в историческом познании содержалась не только классическая идея истории, но и другое понимание историчности. Поэтому «критика исторического разума» подготовила, а ее результаты вошли в содержание научной революции, установившей неклассическую научную рациональность.

Специфика определенной области научного познания и знания состоит в наиболее явном и открытом проявлении того, что, по большому счету, присуще всему научному познанию в целом и его отдельным отраслям и дисциплинам. Исследование динамичности исторического знания и историчности всего знания в состояниях его преобразования позволяет понять «механизм» обновления научной мысли, инициирующей динамику жизнедеятельности человека и социума.

Демонстрация текстуально-контекстуального характера человеческой активности при обновлении исторического знания имеет принципиальное значение для понимания факторов динамики научного познания. Точнее, речь идет о синтезе методологических концепций историко-научных исследований – интерналистской и экстерналистской, в рамках которых отдается приоритет в развитии либо внешним социокультурным факторам, либо внутренним гносеологическим. Пристальное внимание к работе историка помогает понять и протрактовать текстуально-контекстуальные связи как презентативные континуальные связи. В таком качестве они выражают состояние одновременной и совместной представленности различных реалий «внутренних» или «внешних» друг в друге на правах факторов динамики научного познания. В неравновесных динамических состояниях факторы работают преимущественно в режиме резонанса, чем в режиме детерминаций, а их перечень включает всевозможные потенциальные и актуальные, скрытые и явные проявления жизнедеятельности человека и общества.

Научная революция – это всегда трансформация теоретико-методологического знания, в которую включено историческое знание. В историческом познании релевантное знание сопрягается с устойчивыми структурами социальной реальности, со способами человеческой жизнедеятельности. Схемы деятельности в науке снимаются с инвариантных структур человеческой жизнедеятельности и наоборот схемы человеческой деятельности доминирующие в науке способствуют выявлению и формированию новых структур в человеческой жизнедеятельности и делают существующие структуры динамичными. Онтологические схемы описания и представления состояний социума, вырабатываемые в историческом познании в конечном итоге становятся базовыми схемами научно-исследовательской деятельности с соответствующими им теоретико-методологическими нормами и принципами.

И.Н. Ионов (ИВИ РАН, Москва)

Перекрестная история как форма неклассического знания и проблемы истории цивилизаций

Говоря о традиции В.И. Герье в изучении всеобщей истории, полезно осмыслить, что сегодня влияет на восприятие истории как связанного целого. Л.П. Репина в книге «Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.» [2011] обращает внимание на становление нового исторического сознания. Оно меняет соотношение всеобщей и мировой истории. Последняя существует не столько в образе целостности, сколько в форме «многоуровневой сетевой модели», отражающей «полицентрическое множество различных взаимодействующих локальных и частных процессов». В свою очередь и понятие «цивилизация» стало означать «множество групп (с разными социокультурными характеристиками), сосуществующих в границах установленных договоренностей относительно легитимности правителей и условий обмена». Особое внимание историков при этом привлекает не статика, а динамика, изучение новых социокультурных элементов цивилизаций, реконфигурация их границ и отношений с «другими» [С. 250-251]. Эта глубокая характеристика нуждается в дальнейшей конкретизации.

Наиболее ярким проявлением современной историографической революции Л.П. Репина называет появление *перекрестной* истории (или, если следовать переводу журнала «Ab Imperio», 2007, № 2, на который далее даются ссылки,

пересекающейся истории) – эпистемологического проекта, созданного французскими историками немецкого происхождения М. Вернером и Б. Циммерман. По признанию авторов, он принадлежит к комплексу «соотносящих» подходов [С. 61], в который входит также транснациональная история. Ключевым понятием последней, введенным антропологом Э. Вульфом, является «пучок отношений» (*bundle of relationships*). Ее предмет – не неразрывное целое, как у всеобщей истории, а многообразные взаимосвязанные процессы, объединяющие общества, культуры, цивилизации. Надо отметить, что цивилизации интересовали Вульфа прежде всего как зоны культурных взаимодействий.

Во всеобщей истории обязательно существует некая *внешняя точка референции* (Бог, государство, эволюция), которая позволяет историку или философу рассматривать объект строго определенным образом [С. 70]. Эта метафора легализует возможность выделения в хаосе исторических событий целостных нормативных образов (гешталтов). Для подкрепления этой стратегии служат бинарные оппозиции, иерархические схемы и представления о незыблемых исторических законах, составляющие предмет философии истории. В транснациональной и перекрестной истории явления прошлого объединяет сам *факт взаимодействия*, причем существуют как минимум две перспективы, из которых его можно изучать. Их определяет присутствие по крайней мере двух сторон взаимодействия. Тем самым нормативная перспективизация исключается. Первый подход в теории науки называется классическим, второй – неклассическим (релятивистским).

Традиционные методы сравнения цивилизаций и культурных трансферов, возникшие в рамках всеобщей истории, от которых отталкиваются М. Вернер и Б. Циммерман, опираются на классические модели. Целостное восприятие цивилизации в пространстве или процесса трансфера во времени объявляются условием их познаваемости. Соответственно, важны представления о *сущности* той или иной цивилизации, образ ее *центра*, а часто и образ *центральной* цивилизации как источника информации в процессе трансфера. Для того, чтобы лучше понять реальность прошлого, историку нужно либо занять стабильное положение между симметрично расположенными объектами, либо рассматривать ситуацию с точки зрения доминирующей стороны трансфера [С. 64, 68]. В неклассической картине перекрестной истории при сравнении на первый план выходит не ядро, а *периферия*, граница, на которой происходит взаимодействие; не

сущность цивилизации, а ее *изменение* в процессе взаимодействия. В картине трансфера внимание к *вектору* передачи информации сменяется вниманием к *интерактивности* процесса передачи информации.

Масштаб исследуемого объекта, который ранее диктовался мировоззрением или по крайней мере эпистемологией, теряет нормативный характер. Поэтому, характеризуя историю цивилизаций, М. Вернер и Б. Циммерман обвиняют ее в произвольности выбора масштаба сравнения [С. 64-65]. То же касается микроистории. Они считают, что масштаб сравнения принципиально невозможно определить заранее. Отношения историка и его объекта радикально *историзируются* и становятся высоко рефлексивными. Не перцептивные образы (цивилизация, община) определяют ход когнитивных процессов, а наоборот — когнитивные процессы определяют масштаб образов. Это похоже по типу картинке не на микроскоп или телескоп (микро- и макроистория), а на *калейдоскоп*. Происходит не смена парадигмы, как считает Г. Иггерс, а возникновение постпарадигмального познавательного пространства, где возможна не только смена образа кролика на образ утки (классический пример Т. Куна), а разнообразные игры с меняющимися образами. Образ прошлого включает сразу несколько картинок этого «калейдоскопа», то есть познавательных перспектив (мультиперспективизация). Их минимум определяется произведением количества взаимодействующих субъектов исторического процесса и существующих исторических школ. Это инклюзивная модель, в рамках которой исследователь не может выделить единственную «правую» сторону. Но это и не бесконечное множество гипотез, как думали постмодернисты, и главное — это не отдельные островки знания. Они соединены между собой профессиональными процедурами и задачей поиска исторической истины.

В этих условиях делается невозможной развернутая нормативная модель цивилизации типа той, которую предложили в 1981 г. Г. Мишо и Э. Марк и которая опиралась на представление о цивилизации как целостном социальном факте. Авторы учитывали кризис проекта исторического синтеза, но считали невозможным соединять модели, которые реализуют подходы, более или менее чуждые друг другу. Их познавательная модель была дедуктивной, концептоцентрической. Пересечение смысловых полей понятий «общество», «культура» и «цивилизация» рассматривалось только

как источник взаимонепонимания исследователей, а не как предпосылка мультиперспективизации исследования.

Напротив, перекрестная история опирается на индуктивный подход и для нее интерпретация термина является вторичной по отношению к конкретной исследовательской задаче. Перекрестность рубрикации открывает для нее новые познавательные пространства, в которых одни и те же «элементы» цивилизации могут рассматриваться совершенно по-разному. Важно понять, что при этом одни смыслы не отбрасываются во имя других. Происходит лишь движение *между* смыслами, о котором писал А.С. Ахиезер – в познавательных стратегиях (метафора – модель), в познавательных ориентирах (динамика – традиция), в коммуникативных практиках (убедительность – доказательность), в источниковой базе (сериальность – каузальность). Не случайно поэтому, как Л.П. Репина, так и немецкий историк М. Миддель, говоря о глобальной истории, не отбрасывают и проект всеобщей истории и лишь конкретизируют его место в современном историческом знании.

О.Б. Леонтьева (Самарский ГУ)

**Историческая память и смена парадигм научного знания
в российской культуре
второй половины XIX – начала XX в.**

В отечественной историографии, начиная с 1970-х гг., особый интерес вызывают периоды теоретико-методологических поисков в российской исторической науке: тех ситуаций, когда наука оказывалась на методологическом распутье, когда в сознании ученого сообщества соперничали различные подходы к историописанию, противоположные представления о задачах исторической науки. В советской историографии обычно характеризовали такие периоды исканий как «кризисные», противопоставляя методологический «разброд и шатания», характерные для «буржуазной» науки, монолитной целостности науки советской. Однако в 1990–2000-е гг., – когда постсоветская историческая наука оказалась открытой для теоретико-методологических новаций и в сжатые сроки пережила все те «познавательные повороты», на которые в зарубежной науке

ушла большая часть двадцатого столетия, – отечественные методологи пересмотрели сложившиеся стереотипы. В наши дни в историографии господствует убеждение, что так называемые «кризисы» в действительности являлись наиболее интересным и продуктивным временем в развитии исторической науки; что их можно охарактеризовать как периоды смены парадигм исторического мышления, каждый из которых предполагал радикальное обновление научного инструментария.

На наш взгляд, для более полного понимания внутренней логики методологических поворотов в истории следует учитывать, что историческая наука является не только отраслью научных знаний, но и частью исторической памяти общества. Можно выдвинуть гипотезу, что смена парадигм исторического знания свидетельствует о пересмотре картины «общего прошлого» в общественном сознании.

Этот подход можно применить к изучению исторической культуры российского общества в течение второй половины XIX – начала XX в. Именно тогда параллельно с формированием профессиональной исторической науки и исторического образования в России складывалась мощная художественная традиция исторических жанров в искусстве. Неизменно острым был интерес образованной публики к сюжетам, связанным с исторической памятью, несмотря на неоднократную смену «большого стиля»: от классицизма к романтизму, затем к реализму, и, наконец, к искусству модерна. Историософский компонент несли в себе все противоборствовавшие идеологии и политические течения того времени – западничество и славянофильство, либерализм и консерватизм, народничество и марксизм. Этот «историоцентризм» русской мысли был связан с сильной общественной потребностью в исторической самоидентификации.

Эволюция образов исторического прошлого в культуре России подчинялась определенному ритму, который соответствовал смене моделей исторического мышления. Так, в атмосфере Великих реформ 1860-х гг. сформировалась, по определению Н.И. Кареева, парадигма «суда над историей»: с одной стороны, для нее была характерна «благородная мечта» об объективном познании прошлого; с другой стороны, одной из важнейших функций исторического знания считался нравственный суд над явлениями прошлого. Как и общеевропейская историческая культура того периода, культура исторической памяти в пореформенной России была основана на научных и художественных принципах реализма и объективизма.

Специфика российского реализма заключалась в особом понимании Правды как цели познания: ее трактовали как категорию скорее социальную, чем гносеологическую. Научное историческое знание было активно востребовано в качестве способа формирования «общего прошлого», подготовки существенных материалов для «суда над историей», где приговор будет вынесен с позиций общественных представлений об истине и справедливости. Объективизм взгляда художника или исследователя превращался в инструмент верификации мифологизированных представлений о прошлом, существующих в социальной памяти.

Ситуация изменилась, когда в последней четверти XIX в. в российских общественных науках утвердилась позитивистская парадигма, основанная на поиске исторических закономерностей, на выявлении социальной подоплеки тех или иных исторических явлений. Для российского позитивизма, представленного в исторической науке «московской» и «петербургской» школами, было типично критическое, даже скептическое отношение к сформировавшимся прежде историческим мифам, стремление не судить прошлое, не «выносить приговор истории», а последовательно выявлять, сплетение каких социальных факторов порождало те или иные последствия. Этот социологический детерминизм – вместе со склонностью к деконструкции исторических мифов и дегероизации их персонажей – был унаследован российским марксизмом. Поэтому к концу XIX в. пути науки и искусства в деле воссоздания исторического прошлого кардинально разошлись: искусство продолжало создавать исторические мифы, наука взяла на себя функцию их критики.

В начале XX в. наметился принципиально новый подход к восприятию истории. Для профессиональной науки это был период «критики исторического разума», зарождения антропологической парадигмы исторического знания. В то же время для художественной культуры русского модерна был характерен интуитивизм, трактовка исторического познания как платоновского припоминания, поэтизация возрождающей силы памяти. Целью «исторического прозрения» зачастую считался поиск уже не народной Правды, а религиозной истины, «смысла истории»; в предреволюционной культуре вновь оказалось востребованным историческое мифотворчество, метаисторические построения. Методологическое оформление парадигмы «исторического прозрения» в отечественной мысли, тем не менее, осуществилось лишь после революции 1917 года (в

работах Н.А. Бердяева, Л.П. Карсавина, С.Л. Франка): именно в этих исторических условиях оказалось актуальным понимание исторической памяти как экзистенциального усилия, с помощью которого можно восстановить распавшуюся связь времен.

Отличительной чертой исторической культуры начала XX в. было то, что в ней соседствовали, переплетаясь друг с другом, и парадигма «суда над историей», и позитивистская парадигма, предполагающая социологизацию исторического знания, и формирующаяся модель «исторического прозрения», основанная на христианском неоплатонизме. «Объясняющий» подход к истории сосуществовал с «понимающим», взгляд судьи – со взглядом художника. Сочетанием этих принципиально разных подходов к целям и социальным функциям истории во многом определялся интеллектуальный климат эпохи.

Таким образом, правомерно рассматривать познавательные повороты в исторической науке в контексте сложного, многоуровневого процесса эволюции исторической культуры общества. Изменения исторической мысли, типа историописания и образных представлений о прошлом взаимно обуславливают и детерминируют друг друга: в их взаимодействии формируются новые модели познания прошлого, новое понимание возможностей и пределов исторической памяти.

Г. А. Мухина (Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского)

Методологическая революция Монтеस्कё в книге «О духе законов» (1748)

Монтеस्कё сознавал новаторское значение своей книги, отраженное в самом названии. «Закон» – ее центральное понятие, философский ключ, где представлен свод принципов, составивших его эпистемологическую арматуру. С первых страниц автор заявлял о своем детерминизме: законы – это «необходимые отношения, вытекающие из природы вещей». Концепция закона имеет ньютоновский смысл. Это не заповедь или неизбежность, как божественный или естественный закон, а имманентная связь в феноменах, которую можно обнаружить через исследование или сравнение без предвзятости.

Французские монтеस्कёведы считают: он совершил подлинную методологическую революцию. Луи Альтюссер

выделяет у Монтескьё категорию «целого» (totalité). Эта новая теоретическая категория дает ключ к бесконечным загадкам. Просветитель выдвинул гипотезу, что государство есть реальная совокупность, и все детали его законодательства, его учреждений и его обычаев есть только действие и выражение, необходимые для его внутреннего единства. До Монтескьё эта идея содержалась лишь в конструкции идеального государства (у Платона, Гоббса), но дело не доходило до познания конкретной истории. Монтескьё был первым, кто предложил позитивный принцип объяснения истории. Принцип не только статичности – «целое» дает понять различие законов и учреждений данного правления, но и динамики – позволяет думать о становлении институций и их трансформации в реальной истории. Поэтому Э. Кассирер славит Монтескьё как основателя теории, осмысливающей историю через категорию «целого», где все элементы находятся в единстве, где каждый влияет на другие и может быть мотором истории.

По Альтюссеру, Монтескьё по-новому определил объект науки: размышлять «обо всех обычаях и законах всех народов мира». До Монтескьё политические писатели нового времени размышляли об обществе вообще, чтобы дать идеальную и абстрактную модель. Между ними была такая же дистанция, что «разделяет спекулятивную физику Декарта от экспериментальной физики Ньютона». У него другой объект – делать науку не об обществе вообще, а обо всех конкретных обществах.

Симона Гойяр-Фабр рассуждает о трех методологических революциях, совершенных Монтескьё. Эпистемологическая и философская революция изменила взгляд на отношения: человек – мир, человек – человек, чтобы по-новому взглянуть на проблему человеческого, исходить из того, что закон-отношение есть всеобщее правило структуры и познания. Через философию всеобщей закономерности Монтескьё шел к новой форме познания. Он отказывался от абстракций и антитез, от дедукций, исходил не из метафизики, а стремился познать природу человеческих установлений. Отталкиваясь от наблюдения и опыта, он противопоставлял конкретное – схоластическому, догматическому, картезианскому. Как Ньютон в физике, Локк в психологии, Монтескьё отказался построить систему аксиом, как строили свои юридические системы теоретики (от Ж. Бодена до Х. Вольфа), он шел от множества фактов.

Вторая методологическая революция заключена в словах Монтескьё: «Сначала я изучаю людей». Гойяр-Фабр называет его

«Ньютоном человеческого мира»: он открыл новую область – социальный мир, создал «физику нравов», расширил поле научного поиска, социальные факты стали объектом особого изучения. Монтескьё хотел знать, почему различались правовые принципы разных народов: происхождение позитивных законов стало для него фундаментальной исторической проблемой.

Монтескьё, не свободный от универсализма Просвещения, открывал новое в гуманитарных науках. Изучение античной истории, происхождения французской монархии, эволюции французского права не позволяло принять идею прогресса как магистрального хода истории. Он признавал автономность истории каждого народа и хотел открыть законы конкретных обществ (А. Собоуль). До него разнообразие установлений вызывало скептическое отношения к истории: она представлялась настоящим хаосом. Отбрасывая теорию естественного права и общественного договора как идеализм и абстракцию, мыслитель хотел знать только факты и извлекать закон из их различий и вариаций (Альтюссер).

Третья революция связана с предвосхищением социологии, поскольку Монтескьё предлагал «позитивное изучение ансамбля фундаментальных законов, присущих социальным явлениям». Экспериментальную философию Монтескьё переводил из физической вселенной в человеческую, она не была ни прагматической, ни наукой о перспективах. Но объясняющей и оригинальной. Его вклад, предвещающий энциклопедистов, в том, что, изменяя эпистемологическое поле, он углублял разработку ментальных структур (Альтюссер).

Мысль о «духе», «разуме» законов как совокупности отношений выводила на проблему синтеза. Так он пришёл к понятию «общий дух» (*l'esprit général*): «климат, религия, законы, принципы правления, примеры прошлого, нравы, обычаи» управляют людьми и «как результат всего этого образуется общий дух нации». Понятие использовалось для обозначения структурных отношений социально-политического ансамбля как главного организатора системы. С его помощью он «группирует различные факторы в тонкую амальгаму», которая составляет «живую субстанцию нации». Этот «общий дух» был для него одним из способов познать становление политических обществ, он позволял схватить причины, которые детерминировали «главный ход событий». «Общий дух» – это равнодействующая социологических причин, комбинация которых варьируется в разных обществах (А. Жарден). Синонимом этого понятия Р. Арон считал «культуру нации». Для

Ш.Ж. Бейе «общий дух» народа подвижен – способен адаптироваться к новым обстоятельствам истории, к модификациям нравов и обычаев.

«Общий дух» нации – несомненное преддверие национализма. Монтескьё завещал проблему XIX века. Она была подхвачена романтиками, разочарованными в универсалиях Просвещения. Монтескьё исследовал не только рационально постижимое автономное существование народа, он доводил дело до иррационального предела национального характера и его интуиции. Монтескьё предпочитал термин *отношение* – термину *причина*. Для него, в отличие от современников, которые подкрепляли свои интерпретации обзором причин, чтобы определить это как прогресс или упадок разума, перечень причин менее важен, чем закон их композиции (Ж. Дажан).

«Общий дух» – не только ключевое понятие концептуальных построений. Его конкретное наполнение историческим содержанием есть важный компонент, с которым обязан считаться законодатель. Книгу Монтескьё не зря считают основополагающей для юридической социологии (Карбонье).

«О духе законов» – один из больших синтезов, что создали фундамент либеральной доктрины во Франции (А. Жарден). Эта «книга века» по-прежнему – объект научного изучения, в немалой мере потому, что человечество бьется над задачей создания правового общества и не может ее решить. Монтескьё же открывал эти пути. Он ставил проблему понимания истории, признавал ее постепенность, значение и результативность ее фаз – для поиска факторов, определяющих судьбы народов и человека.

В. Г. Рыженко (Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского)

Корпоративная культура профессионального сообщества российских историков в условиях смены «вызовов времени» и трансформаций коммуникативного поля науки

К рубежу XX–XXI вв. сообщество российских историков столкнулось с комплексом серьезных «вызовов времени» и внутренних противоречий, свидетельствующих о трансформации образа исторической науки – от сложившегося советского варианта к прорисовке постсоветской/российской ипостаси, что актуализирует анализ изменений характеристик профессионального научного сообщества историков.

Первоначально предполагалось изложить результаты анализа научного сообщества российских историков в современном коммуникативном поле как показателя трансформации образа исторической науки (исследования проводились под руководством В.П. Корзун). С появлением книги «Научное сообщество историков России: 20 лет перемен» [од ред. Г. Бордюгова. М., 2011] возникло желание выяснить, как соотносятся наши действия с движением мысли столичных исследователей.

В исходной гипотезе [Бордюгов Г. С. 7] констатируется отсутствие единого профессионального сообщества российских историков и наличие «лишь разрозненных его фрагментов в разных местах и с разными функциями». Замечу, что такая ситуация вполне реальна по отношению и к другим научным сообществам. Хотя, по мнению Б. Соколова (С. 324), степень раздробленности современного сообщества историков на отдельные микросообщества гораздо больше, «чем не только сообщества естественных наук, но и даже, например, сообщество социологов».

Определяющим признаком научного сообщества для соавторов стала его конечная миссия – производство нового знания. Далее модель описания сообщества историков построена в виде нескольких проблемных узлов. «Пролог», в котором показано формирование ядра корпоративной культуры – представлений историков о критериях и принципах научности. «Транзит: социологический портрет сообщества» характеризует своего рода «скелет» современной профессиональной корпорации российских историков. Третий узел – новые формы объединения ученых, включая журналы как проекты разного рода научных сообществ, а также характеристику междисциплинарности как основы для появления особого исследовательского сообщества. В четвертом узле на социологический «скелет» наращивается плоть из наслоений новых черт профессионального этоса и поведенческих нравов.

В проекте омских исследователей (Ю. Денисов, А. Кикимбаева, Н. Кефнер, В. Корзун, В. Рыженко, О. Петренко) изначально было заложено восприятие современной профессиональной корпорации как фрагментированной. В этом случае образ условного «научного сообщества историков» многомерен. Кроме того, «сообщество» и «корпорация» разделены по смыслам. Весьма популярные термины «корпорация», «корпоративная культура» характеризуют жестко структурированные объединения закрытого типа.

Исследования в области психологии бизнеса выделяют два параметра в корпоративной культуре научного сообщества в качестве наиболее существенных как для его жизни, так и для отдельной научной организации: этические нормы и ценности и коммуникационные проблемы. Именно коммуникация для корпоративной культуры XXI в. становится важнейшим показателем трансформаций современной науки. Она определяет соотношение фрагментов внутри условного «научного сообщества историков».

Предложенная в нашем проекте модель «презентации» современного сообщества российских историков через эволюцию коммуникативного поля исторической науки включила три измерения: 1) описание структуры коммуникативного поля исторической науки и трансформаций основных институтов коммуникации в конце XX – начале XXI в. с учетом координат «центр» и «провинция»; 2) характеристика изменений конфигурации научного сообщества историков в современном интеллектуальном пространстве «без границ» с акцентом на появление виртуальных сообществ; 3) анализ саморефлексии представителей научной корпорации по поводу коммуникативных практик, в том числе отношение «собратьев по цеху» к «живой» коммуникации. С использованием «случайной выборки» (анкетирование среди участников конференций с широкой географией) и данных 211 анкет удалось выявить рефлексию наиболее активных (мобильных) представителей современного научного сообщества гуманитариев и черты меняющейся корпоративной культуры.

Исходная гипотеза омского проекта допускала уже на начальной/советской стадии соединение официальной трактовки «научного знания» («язык официоза») с отклоняющимися версиями («язык профессии»). «Прологом» в этом случае выступал образ советской исторической науки второй половины 1940-х – середины 1950-х гг. [Трансформация образа советской исторической науки в первое послевоенное десятилетие: вторая половина 1940-х – середина 1950-х гг. М., 2011].

Большинство официальных институтов, инициирующих производство нового знания и способствующих созданию новых «сетей общения», в конце XX – начале XXI в. оказались по преимуществу замкнутыми «внутри себя». Существующие правила пополнения сообщества молодыми исследователями не допускают изменений в приоритетах корпоративных ценностей в пользу коммуникативной активности. Эта тенденция отражает явное противоречие между ситуацией «историографической

революции» и внутренним состоянием российского сообщества историков. В то же время начали появляться признаки корпоративной культуры диалогового типа, соответствующей информационному обществу.

Возникновение исторических «социальных сетей» как Интернет-ресурсов внесло еще одно принципиальное изменение в набор ценностей корпоративной культуры современного сообщества историков. В ходе работы над проектом участники дифференцировали «исторические социальные сети» по характеру специализации на многопрофильные научные сети, объединяющие ученых из различных отраслей знания, где пространство историков является лишь сегментом; специализированные научные сети, коммуникативное пространство которых объединяет историков; узкоспециализированные, ориентированные на историков, интересующихся определенным кругом вопросов.

В современных условиях формируется новый тип сообществ в коммуникативном наднациональном пространстве – неформализованное интеллектуальное сообщество, открытое для представителей разных областей знания, научных школ и начинающих исследователей. Наряду с жесткими научно-исследовательскими и учебными структурами, имеющими статус государственных учреждений, в российской науке заявляют о себе «свободные ассоциации», что имеет сходство с дореволюционной практикой и советскими организациями 1920-х гг. Условное научное сообщество современных историков, помимо неоднородности и фрагментированности своей прежней внутренней структуры, дополняется параллельным коммуникативным полем со своими правилами.

Итак, исследовательская мысль в столице и вне ее характеризуется близостью стратегической линии, но различается используемым историографическим и социокультурным контекстом. Предложенные практики оценки состояния современного сообщества российских историков и корпоративной культуры отражают разнообразие поисков производства нового знания.

Рольф Тоштендаль (Rolf Torstendahl)
(Упсальский университет, Швеция)

«Новые результаты» и «научные революции» в истории

Существует две проблемы, которые необходимо рассмотреть и решить для того, чтобы определиться с вопросом «научных революций» в истории.

Первая проблема состоит в том, чтобы определить взаимосвязь между *научными революциями* и *новыми результатами*, достигаемыми в ходе и посредством исторического исследования. Эта проблема не тождественна противопоставлению макро- и микроисторического способов получения нового, ибо в реальности получение новых результатов предполагает очень широкий спектр возможностей:

- от открытия ранее неизвестных писем какого-нибудь выдающегося человека, принимавшего участие во многих политических событиях;
- до открытия ошибочности даты, касающейся некоего политического (или другого) события;
- и далее – до появления новых ракурсов рассмотрения значительного события (например, революции в России) посредством использования новых теоретических посылок для его интерпретации.

Эти три примера – а разнообразие способов открытия нового намного шире того, что охватывается ими – показывают, что **новые результаты** – это широко и неоднозначно трактуемое явление. Когда говорится о том, что целью исторического исследования является получение новых результатов, под этим подразумеваются самые разные допущения и предположения.

Понятие **научная революция** – не простое понятие. Вызывает сомнение, может ли оно вообще применяться к научно-гуманитарной деятельности, по крайней мере, в том виде, в каком оно было предложено применительно к естественнонаучному знанию Томасом С. Куном в его знаменитой книге 1962 года, вызвавшей продолжительные дебаты [Lakatos, Imre & Musgrave, Alan (eds.). *Criticism and the Growth of Knowledge*. Cambridge C.U.P, 1970.] Я отказался тогда применить это понятие к истории [Torstendahl, Rolf. *Historiska skolor och paradigm // Scandia*. 1979. Vol. 45. P. 151-170] и до сих пор придерживаюсь этой точки зрения. Исходная куновская идея «научных революций», включающая в себя «парадигмальные сдвигами», сменяющие периоды «нормальной науки», едва ли применима даже к естественным наукам. Однако если вкладывать в это понятие совсем другое содержание, его вполне можно использовать для описания другого типа масштабных перемен, которые были нередки для истории на протяжении последних двух столетий. Я полагаю, что понятие «научные революции» может применяться к истории при условии,

что они связаны с тем, что находится за пределами исторического исследования как такового и, скорее, имеет отношение к существующей в исторической науке системе норм, чем к научным результатам. Аналогично этому, парадигмы историописания не должны рассматриваться как нечто существующее в единственном числе и довлеющее над исследователем – скорее, возможно предположить сосуществование среди историков двух или более «парадигм». Разнообразные «директивы» историописания формируются именно такими конкурирующими «парадигмами». Далее мы будем использовать термины «научная революция», «парадигма» и «директивы» именно в обозначенных выше смыслах.

Вторая проблема, имеющая отношение к новым результатам и проблеме научных революций, касается того, что понимается под историей и каким образом она должна презентовать свои исследования. Сегодня широко оспаривается тот факт, что она не может быть представлена ни к какой другой форме, кроме нарратива. Импульс к пониманию истории как нарратива был дан книгами двух представителей аналитической философии – Артура К. Данто [Danto, Arthur C. *Analytical Philosophy of History*, Cambridge: C.U.P., 1965] и Мортона Уайта [White, Morton. *Foundations of Historical Knowledge*, New York etc.: Harper & Row, 1965]; оба они поддержали идею, согласно которой исторические объяснения неизбежно облачены в нарративную форму. Многие исследователи – самым известным из них является Поль Рикер – рассуждают так же, хотя и аргументируют свои мысли иначе, чем Данто или Уайт. В своем докладе я подробнее рассмотрю аргументы, выдвинутые Йорном Рюзенем – одним из самых влиятельных и четко сформулировавших свою позицию современных сторонников тезиса о том, что историческое повествование неотделимо от повествования [например, Rösen, 2005].

Главный аргумент моих тезисов будет состоять в том, что: 1) нарративы не приводят к новым результатам, выводимым из прежних и известных структур исторического письма, что принуждает исследователя, стремящегося акцентировать новые результаты, к нарушению нарративной логики и детальному изложению аналитических аргументов в пользу нового; 2) очень немногие новые результаты могут быть инкорпорированы в нарратив; 3) основная задача историков состоит в том, чтобы довести новые результаты до академического сообщества, которое не должно стремиться к их всеобщему признанию только благодаря увлекательной манере их изложения. Новые результаты необязательно напрямую касаются структуры повествования, что означает, что несмотря на новые результаты нарратив может

остаться неизменным. Например, новый результат, полученный благодаря открытию нового видения характера Российской революции (например, ее отношения к насилию и демократии), предусматривает приведение аналитических аргументов в такой форме, которая требует выхода из нарративной структуры. В этом случае историк должен решить, что для него важнее: отказаться на нарративной логике для обоснования новых результатов или сохранить нарративную структуру в ущерб новым результатам. Подобные трудности будут четче проанализированы и изложены в моем докладе.

Нет необходимости доказывать то, что в ситуации «научных революций» эти трудности принимают совсем иные масштабы. Когда подвергается сомнению сама система предыдущего историописания (то, что я называю здесь «научной революцией в историописании»), практически невозможно себе представить чтобы повествование, построенное по прежним нормам, осталось неизменным после «научной революции». И еще важнее: если некий нарратив подвергается сомнению в своих основных характеристиках, из этого вовсе не следует, что ему на смену должен прийти другой нарратив. Позвольте мне напомнить о Броделе и изучении им средиземноморского «мира». Его история ведь не является каким-то обновленным типом нарратива, а представляет собой некое начало, где присутствует несколько нарративных элементов. Эти элементы нарратива, однако, отсутствовали в более ранних работах по средиземноморским державам и их отношениям друг с другом, где правление Филиппа II рассматривалось именно в этом ключе. Труд Броделя “*La Méditerranée et le monde méditerranéen à l'époque de Philippe II*” (1949) так часто хвалят именно потому, что его фундаментальная структура основывается не на нарративных элементах, а на его теории взаимоотношений между географической средой и социальной жизнью, а также между долговременными и меняющимися условиями человеческой жизни. Таким образом, Бродель создал новую систему норм для историописания, и эта система никак не сочеталась с ранее существующими нормами. В этом смысле работа Броделя была научной революцией.

Посвященная средиземноморскому миру книга Броделя не была воспринята как некая генеральная парадигма для написания истории. Некоторые из стоящих близко к нему коллег по Школе «Анналов» написали книги, используя тот же подход, но такие книги были редки. Однако это не означает, что влияние Броделя было ограниченным. Очень многие историки объявили свою

приверженность принципам Броделя, имея при этом в виду именно его концепцию рассмотрения и написания истории. Однако многие другие продолжали писать историю так, как они делали это прежде, независимо от достижений Школы «Анналов».

Бродель не был ни первым, ни последним историком, изменившим систему профессиональных норм для историков. Как я уже писал об этом в другой своей работе [Torstendahl, Rolf. Historical Professionalism. A Changing Product of Communities within the Discipline // *Storia della Storiografia*. 2009. Vol. 56. P. 3-13], профессионализм заключается в системе норм, принятых сообществом историков или неким доминирующим сообществом историков. Ранее подобные «научные революции» или профессиональные изменения были вызваны Леопольдом Ранке в 1830-е годы и растущей строгостью исторического метода и его методологического основания [Bernheim, Ernst. *Lehrbuch der historischen Methode*. Leipzig: Duncker & Humblot, 1889; Langlois, Charles-Victor & Seignobos, Charles. *Introduction aux études historiques*. Paris, 1898], проявившимися в последнее десятилетие XIX века. Позже благодаря работам Юргена Кокка [Kocka, Jürgen. *Unternehmensverwaltung und Angestelltenschaft am Beispiel Siemens 1847-1914*. Stuttgart, 1969] историческая наука усвоила веберовскую теорию, а еще позже во весь голос заявили о себе «идеи» и «культуры». [Репина Л.П. *Историческая наука на рубеже XX-XXI вв.* М.: Круг, 2011]. Таким образом, возникли новые «директивы», были созданы новые «парадигмы», хотя лишь немногие из них привели к «революциям» в исторической науке.

Когда в 1960-1970-е гг. благодаря Эрику Хобсбауму и Перри Андерсону (и многим другим) на Западе узнали о материалистической версии истории, марксистское влияние, тем не менее, не вылилось в «научную революцию». Марксизм был известен со времен Маркса и являлся официальной идеологией для написания истории в Советском Союзе и находившихся под его влиянием странах. Повторное открытие марксизма на Западе привело к появлению новой «направленности мышления» в этой части мира, но не стало «научной революцией», оставшись всего лишь частью общего поворота истории к социальным наукам.

Существует ли в таком случае четкая граница между получившими широкое признание «новыми результатами» и «научной революцией» в области истории? О чем важно писать историку? Действительно ли важнее получить новые результаты, чем создать хороший нарратив? Являются ли нарратив и новые результаты (и новые «парадигмы») в историописании несовместимыми феноменами? Или рассказ – всего лишь способ

репрезентации исторических результатов, в то время как изложение новых результатов должно принимать другие формы? Следует ли тогда отводить нарративу приоритетное значение, мотивируя тем самым историков скорее к участию в социальной жизни, чем к получению нового исторического знания [ср.: Kalela, Jorma. Making History. The Historian and Uses of the Past. Basingstoke: Palgrave Macmillan, 2012]. Эти вопросы требуют дальнейшего рассмотрения, что я и сделаю в заключительной части своего доклада.

В. Б. Шепелева (Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского)

«Новое направление» в контексте становления постнеклассической познавательной парадигмы

Изыскания представителей «нового направления» отчасти после его «закрытия», но особенно с «перестроечно-постперестроечных» времен, активно востребовали «поворот к человеку в истории», к ментальному измерению исторического процесса (исследования П.В. Волобуева, крестьяноведческий проект при решающей роли В.П. Данилова, непрекращавшаяся линия «интеллектуальной истории» от А.Л. Сидорова до М.Я. Гефтера, К.Н. Тарновского, В.П. Данилова и др.). Но комплексное социально-экономическое и политическое (шире – социальное, в толковании А.К. Соколова) препарирование в нелинейно-цивилизационном контексте истории с учетом общецивилизационной исторической динамики – это, как представляется, ответ на важнейшие требования постнеклассической познавательной парадигмы к историческому исследованию. Смысл последних: общество есть сложноорганизованная нелинейная открытая динамическая система с внутренними тенденциями развития и соотносительностью с требованиями метасистемного уровня.

Уже становление и развитие «школы А.Л. Сидорова», приведшее к самоопределению «нового направления» в изучении социально-экономической (а по необходимости и политической) истории России рубежа XIX–XX вв. обнаруживали, на наш взгляд, интенции «постнеклассического» толка. Особую роль в осмыслении совершаемой «сидоровцами» общей исследовательской работы выпало сыграть уже в 60-х – начале 70-х гг. признанному историографу «нового направления» К.Н. Тарновскому. Помимо соответствующих опубликованных статей (Тарновский К.Н. О некоторых вопросах методологии

историографического анализа и синтеза // Советская историческая наука. Проблемы изучения и преподавания. Калинин, 1986) и введения в известной «докторской» монографии, речь идет о сохранившихся в архиве К.Н. Тарновского разработках приблизительно 1967–1986 гг. [ЦММЛС. Ф. 157. Оп. 1], в частности, статье «Историографический анализ и синтез – ключевые вопросы для уяснения особенностей историографической методики и характера воздействия историографии, как структурной части комплекса исторических наук, на развитие самой исторической науки» [Д. 3].

Впрочем, текст статьи позволяет предположить, что появилась она, возможно, в связи с инициативой редакции журнала «История СССР» (в частности, И.Д. Ковальченко) крупно обсудить «за круглым столом» методологические проблемы историографии. Тарновскому было предложено осветить актуальную (по его мнению) проблему историографического анализа и синтеза и «высказать свои соображения по вопросам: 1) Что... входит в понятие “методологические проблемы историографического исследования”? 2) Как... оцениваете современное состояние историографии и представляете пути решения назревших проблем?» [Д. 89]. К.Н. Тарновский, помимо отмеченной статьи, подготовил 4-страничные «Специфика историографического исследования (материалы к докладу)» и «Методология историографического синтеза». Однако статья опубликована не была. Только благодаря инициативе Калининского госуниверситета статья в варианте 1973 г. как «Методология историографического синтеза» была использована для публикации 1986 г. [Д. 140, 151].

Наиболее существенные моменты теоретико-историографических разработок К.Н. Тарновского сводятся, на наш взгляд, в применении к историографии по существу современной «матрицы», используемой сегодня в отечественной философии науки. Кроме того, к этим существенным моментам относятся: выраженная системологичность в восприятии научных исторических знаний в целом и «историографических» – конкретно; выявление «внутренних тенденций развития» их и внешних «вызовов», эволюционных и революционных процессов в истории науки – в целом «разновременного, прерывистого, но связанного и взаимообусловленного... противоречивого характера» ее развития, при том что «внутреннее единство науки... достигается посредством выявления и преодоления противоречий» между системой прежних теоретических и

фактических знаний и знаниями новыми, и здесь возможны несколько вариантов.

Выделяя аналитический, синтетический и теоретический этапы в исследовательской деятельности, К.Н. Тарновский, сопоставляя конкретно-исторические и историографические исследования, определял общую структуру авторской концепции (а/формулировка исследовательского задания; б/авторская интерпретация фактического материала; в/введение положений и допущений [!] априорного характера; г/логические операции, научный аппарат; д/теоретический итог – формула, с проверкой ее через мерило «эйнштейновского критерия внутреннего совершенства» и «внешнего оправдания»). Определял цель, содержание, структуру историографического анализа с его сосредоточенностью на авторской концепции с выявлением «соотношения в ней прежних и новых, главным образом творческих знаний» (что далеко не одно и то же и что «требует широкой исторической образованности исследователя» – иначе широкой контекстности для препарирования концептуальных представлений).

Задачи историографического синтеза сводятся автором к выявлению складывающихся в науке направлений («собственно историографическая задача») и к «формулировке системы представлений по комплексной /конкретно-исторической/ проблеме». При этом «принцип избирательности и исключения» относительно наличествующих концепций должен быть признан ненаучным. В то же время «исходный принцип теоретического синтеза» заключается «в признании как оформившейся системы представлений, так и вновь полученных результатов НИР относительно верными». Речь идет об открытой системе научных представлений, предрасположенной к саморазвитию. В итоге происходит «или ассимиляция системой новых выводов (сама система видоизменяется, новые выводы корректируются), или фиксируются противоречия... неписываемость новой концепции в прежнюю систему». В любом случае на данном этапе «историография перестает быть историей науки и превращается в саму науку, цель которой – выявление и формулировка исторических закономерностей» [!] – обнаруживается, иначе, высшее онтологическое призвание историографии (как и гносеологии в целом, что удивительно созвучно русским религиозно-философским, но впрочем, и просто отечественным познавательным установкам). Таким образом, по заключению историка, историография, «учитывая опыт исторической науки, формирует традицию», обеспечивает «экономии усилий, более или

менее строго учитывая сделанное». И одновременно она - «средство генерализации исторической мысли» по самому «большому счёту». Другим словами – на теоретическом этапе историография решает две задачи: собственно историографическую – воссоздания и анализа процесса развития исторических знаний: выявления противоречий предшествующего этапа развития науки, особенностей становления новых научных направлений и определения перспектив науки. То есть – выявляет закономерности развития науки.

Вместе с тем вторая ее задача: синтез содержащихся в исследованиях выводов, итогов по конкретным срезам исторической реальности «в интересах выявления и формулировки комплексной системы представлений по тому или иному разделу исторической науки». Иначе – речь здесь о «выявлении закономерностей» самого исторического процесса. В «единстве конкретно-исторического и историографического исследования... реализуется», по словам историка, исходящего в том числе из собственного исследовательского опыта, «главнейший принцип... марксистск/ой/... методологии научного исследования, согласно которой логика изучения объекта раскрывается и на основании изучения его объективных / свойств/... и как итог развития... теоретических представлений о нем».

И если сегодня есть признание за историографическими работами самого К.Н. Тарновского нового познавательного уровня, то оценка им общей историографической ситуации на начало 70-х гг. как «преобладание библиографически-аннотационных, информационных работ», при том что «мало еще» исследований «историко-методологического и историко-теоретического характера», поскольку «еще не выработались... критерии и требования к историографическим работам», выглядит едва ли не как вполне адекватная современному положению дел в отечественной исторической науке.

Часть 5. ИСТОРИЧЕСКОЕ ОБРАЗОВАНИЕ, НАУЧНЫЕ ШКОЛЫ И УНИВЕРСИТЕТСКАЯ КУЛЬТУРА

Н.Н. Алеврас, Н.В. Гришина (Челябинский ГУ)

Российский корпус магистрантов-историков: проблемы конструирования корпоративной институции и образа магистранта (вторая половина XIX – начало XX в.)

Полагая, что нормативная сторона истории дореволюционной магистратуры (см. исследования второй половины XX – начала XXI в. А.Е. Иванова, Г.Г. Кричевского, Е.В. Соболевой, Л.И. Лебедевой) имеет основательное освещение в историографии, обратимся в данном выступлении к попытке создания очертаний коллективного портрета российских магистрантов. Предлагаемый взгляд и подход к изучению одного из важнейших институциональных элементов диссертационной системы университетов России позволяет актуализировать заданную тему контекстом современного историографического интереса к совокупности интеллектуальных феноменов российской истории. Среди них: университетская культура, научная школа, диссертационная система, персональная история/судьба историка, корпоративная/академическая память и др.

В предметном пространстве подобных явлений оказываются опыт и практики «взращивания» ученого – человека университетской корпорации со всеми присущими ему социокультурными свойствами и характеристиками, определяющими содержание и атмосферу университетской жизни, творческий облик ученого. В этой связи целесообразно обратиться к опыту проживания магистрантом того отрезка биографии, результатом которого становилось создание особого научного продукта – диссертации, что являлось основанием признания его в научной среде. Изучение стратегий самих представителей корпуса магистрантов в сфере самоорганизации деятельности по продвижению к научному статусу, актуальности для них проблем вхождения в научное сообщество – еще один принципиальный аспект, характеризующий мотивационные побуждения к профессионализации. Другими словами, нас интересуют восприятие историками-магистрантами своего временного статуса и способы их научной самореализации с учетом осознаваемых ими горизонтов приобретаемого научного

капитала и перспектив научной карьеры в институциональном пространстве науки.

На фигуру магистранта предлагается взглянуть как на активное начало в системе университетской, а внутри нее – диссертационной – культуры. Мотивационной основой активности магистрантов при таком подходе можно рассматривать жизненно важный для них факт – выбор профессии ученого. В данном случае – ученого-историка. Избранная область научного поприща тем более побуждает начинающего ученого к выработке своих научных программ и практикам их самореализации, чем более данная сфера знания признается актуальной в корпорации ученых и приобретает значимость в глазах общественности и власти.

Обратимся к вопросу о количественной характеристике корпуса магистрантов и возможностях репрезентативного изучения их научного потенциала. По нашим подсчетам, осуществленным на базе справочной информации Г.Г. Кричевского, из 275-ти диссертаций, защищенных историками российских университетов в 1804–1919 гг., 180 пришлось на магистерские диссертации. С небольшой поправкой в сторону увеличения – примерно до 185 – вследствие возведения некоторых магистрантов по достоинствам их защит сразу в степень доктора, приведенную цифру можно рассматривать как выражение количества историков-магистрантов в указанное время, успешно защитивших свои первые диссертации и вошедших в научную среду. К сожалению, мы пока не располагаем необходимой информацией, которая бы позволила установить долю магистрантов, не защитивших диссертаций, что увеличило бы искомую численность их корпуса.

Из общего количества за весь указанный срок 78,5% диссертаций было защищено в период 1860–1919 гг. Поэтому этот хронологический диапазон можно рассматривать как наиболее актуальный для изучения истории и специфики изучаемого феномена университетской культуры. Отметим при этом, что значительная доля защищенных диссертаций пришлась на Московский и Петербургский университеты. В частности, из общего числа защит диссертаций магистрантами около 60% этих научных событий произошли в стенах историко-филологических факультетов двух указанных университетов.

Магистрантский корпус университетов формировался из наиболее одаренных студентов, преодолевших барьер экспертных оценок их достижений в виде конкурсных работ, кандидатских сочинений и показателей их текущей учебной работы. В целях изучения различных параметров корпуса

магистрантов-историков возникает проблема определения критериев для обоснования репрезентативной выборки их представителей.

Сюжетные линии эго-произведений историков, освещающие период пребывания в статусе магистрантов, вполне определенно фиксируют самооценки их собственного научного потенциала, впечатления о своем ближайшем окружении в лице, как своих сверстников, так и представителей поколений, игравших роль учителей, а также наиболее значимые для них события той поры. Как правило, особо отмечается такая веха биографии как оставление при кафедре, что означало обретение статуса магистранта и задавало стартовое состояние претендента на ученую степень в виде ориентации на научную проблему и методологию. Подготовке к магистерскому экзамену, как еще одному факту научных биографий, придавалось особое значение. Описания этого напряженного и затратного по времени процесса выразительно характеризуют выработанные традиции и принципы российских университетов в области формирования научной эрудиции начинающих ученых и свидетельствуют, что пройдя через горнило магистерских экзаменов, магистранты воспринимали полученный опыт как основательную подготовку к профессиональной деятельности. История разработки и прочтение пробных лекций – нередкий сюжет эго-источников, раскрывающий их отношение к этому этапу своего становления. Значимость ему в их глазах придавали возможность получения должности приват-доцента, как первой ступени в университетской карьере, и приобретения первых навыков научно-исследовательской работы над темами диссертаций.

Процесс создания диссертации и описания магистерского диспута в биографических историях представлены как сюжеты кульминационного характера. Они не только окрашены эмоционально-психологическими интонациями, создавая зарисовки этих фрагментов как значимых персональных историй, но, фиксируя факт получения ученой степени магистра, маркируют важные для научного самолюбия авторов проявления их признания в научно-университетской среде и высвечивают перспективы дальнейшего научного и карьерного движения.

Особо следует подчеркнуть, что за канвой обозначенных этапов достижения статуса ученого стоят персональные усилия представителей корпуса магистрантов, двигательной энергией которых управляло сочетание как возвышенных идей служения науке, так и прагматических прогнозов собственной научно-преподавательской карьеры. Эта жизненная позиция

запечатлевалась сохранившимися текстами размышлений и расчетов, определявших мотивационную основу выбора магистрантами профессии ученого.

Совокупность источников позволяет также сформировать представления о системе коммуникативной активности магистранта в различных контекстных «кругах», в которые он включался в период своего магистрантского восхождения: от семейного круга – к университетскому сообществу, от институциональной консолидации и интеллектуальных взаимоотношений в профессиональной среде – к общению в широком пространстве культуры. Контекстное окружение задавало параметры личности формирующегося ученого.

В.Ю. Волошина (Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского)

А.А. Кизеветтер о «профессорской культуре»

Феномен «профессорской культуры» по своей сути является интеллектуальным конструктом, продуктом коллективного воображения, существующим в массовом сознании. Он включает в себя совокупность представлений общества о воспитании, образовании, профессиональных качествах, быте, коммуникативных практиках, ценностных и мотивационных ориентирах членов научного социума. Важнейшим источником таких представлений служат мемориальные лекции и воспоминания, посвященные известным профессорам и высшим учебным заведениям. Большое значение в выявлении наиболее типичных черт «профессорской культуры» имеют воспоминания ученых, поскольку они, как справедливо заметила И.М. Савельева, являются собой не только источник, но и «осознанный акт творчества, ориентированный прежде всего на формирование *групповых* [курсив автора – В.В.] представлений и изготовленный со знанием дела». В них мы находим также характерные для академической культуры особые способы фиксации корпоративной памяти: «системы аргументации, цитирования, опоры на интеллектуальные авторитеты, механизмы классификации, требование соотнесения исследователя с определенной научной традицией» [Савельева И.М. Культура академического воспоминания как способ самоидентификации научного сообщества // Мир историка: историографический сборник. Вып. 7. Омск, 2011. С.70, 71].

В данном выступлении предлагается рассмотреть представления одного из самых ярких историков русского

зарубежья, бывшего профессора Московского университета, ученика В.О. Ключевского, А.А. Кизеветтера о предназначении ученого. О роли Московского университета и его профессоров в жизни общества наш герой говорил не раз [Кизеветтер А.А. На рубеже двух столетий. Воспоминания. 1881–1914. М., 1997; Московский университет. 1755–1930. Юбилейный сборник. Париж. 1930]. В качестве источника мною взят доклад А.А. Кизеветтера «Московский университет и его традиции. Роль Московского университета в культурной жизни России». Этот доклад был прочитан в Праге в 1927 году в связи с празднованием «Дня русской культуры». Впоследствии его издали небольшим тиражом отдельной брошюрой.

Большинство представителей научного сообщества зарубежья идентифицировало себя с дореволюционной отечественной наукой и высшей школой. Это проявлялось в приверженности к дореволюционным учебным программам и делопроизводительной документации в создаваемых ими вузах, в продолжении исследовательских программ, но главное, в сохранении основных аксиологических признаков и традиций дореволюционной «профессорской культуры».

Одну из лучших традиций Московского университета А.А. Кизеветтер видел в беззаветном служении научной истине и общественному благу. «Заветная традиция Московского университета, – писал он, – гласила, что профессор не должен сидеть у себя в углу, что профессор с его знаниями есть общественное достояние, а университет – не монастырь кабинетных отшельников, а живой орган культурного процесса. Охватывающего духовную жизнь общества во всех ее проявлениях» [Кизеветтер А.А. Московский университет и его традиции. Роль Московского университета в культурной жизни России. Прага, 1927. С. 18]. Эта мысль была особенно актуальной для эмигрантского научного сообщества, которое в зарубежье развернуло широкую культурно-просветительную работу, направленную на сохранение национальной идентичности и воспитание исторической памяти диаспоры. Со второй половины 1920-х гг. оно становится, своего рода, «мозговым центром» и организатором этой работы. Неудивительно, что А.А. Кизеветтер обращает внимание именно на просветительскую роль университета.

В качестве достойных выразителей этой традиции во второй половине XIX века А.А. Кизеветтер назвал профессоров Н.С. Тихонравова (1832–1893), В.О. Ключевского (1841–1911) и А.И. Чупрова (1842–1908). Вспоминая их заслуги, он не только

отдавал дань уважения научным предшественникам, которых знал лично, но и фиксировал в их деятельности черты, присущие университетской профессуре. Будучи сам отличным лектором и опытным преподавателем, он анализирует творческий стиль своих маститых коллег, у каждого из которых был особый тип красноречия. Н.С. Тихонравов, в его изображении, «стоял на кафедре с суровым торжественным лицом, которое оставалось неподвижным, как бы застывшим, в то время, как из его уст лилась плавно и размеренно ковванная речь, и каждое слово этой спокойной речи, произносимой красивым низким баритоном, словно отпечатывалось неизгладимо в мозгу слушателя, словно врезалось в его память своей весомостью, своей образностью, меткостью и красотой» [Там же. С. 16]. Слушая его, аудитория «то замирала в восхищении, то сотрясалась взрывами бурного смеха». В.О. Ключевского он называет «великим виртуозом красноречия», который «ни на одну минуту не оставлял слушателя в покое, ошеломляя его беспрерывными сюрпризами своей мыслительной и стилистической изобретательности; это был какой-то ослепительно яркий каскад остроумия, наблюдательности и глубокомыслия». А.А. Кизеветтер отмечает артистичность В.О. Ключевского, который «в течение речи, словно Протей менял весь свой облик; менялись выражения нервноподвижного лица, которое мимировало в такт речи; менялась жестикация; менялись интонации гибкого тихого голоса, чрезвычайно богатого модуляциями» [Там же. С. 17].

Лекции этих «волшебников слова» были необычайно популярны и «неудержимо привлекали москвичей в университет каждый раз, когда они выступали от лица университетской коллегии на открытых университетских торжествах», послушать их было для каждого москвича «величайшим праздником». Безусловно, ораторское искусство этих корифеев способствовало росту притягательности университета в обществе и выполнению его просветительской миссии. Однако не меньшее значение, по мнению А.А. Кизеветтера, имела убежденность каждого из них, что профессор осуществляет общественное служение [Там же. С. 17].

В отличие от Н.С. Тихонравова и В.О. Ключевского, не выходящих за рамки академической жизни, А.И. Чупров представлял другой тип ученого. Тоже прекрасный оратор и любитель просвещенной Москвы, он вел активную общественную работу вне университета, «шел в общественную массу, вмещивался в гущу общественной жизни», был членом Московского комитета грамотности, редактором «Библиотеки

для самообразования». Без него не обходилось ни одно значимое просветительское мероприятие. «Всем было дело до Чупрова, и ему было дело до всех». Кстати, высокую оценку его просветительской и общественной роли дал еще один коллега по университету профессор статистики А.Ф. Фортунатов, утверждавший, что А.И. Чупров был «воспитателем и умственным цементом для людей. Слово «Чупров» вызывало у всех, прикасавшихся к московской интеллигенции, представление о чем-то светлом, добром, мягком, неустанно мыслящем» [Цит. по: Никс Н.Н. Московская профессура во второй половине XIX – начале XX века. Социокультурный аспект. М., 2008. С. 160].

На примере своих старших коллег известный историк доказывает, что наиболее авторитетные профессора Московского университета конца XIX века огромное внимание уделяли не только научной и педагогической, но и просветительской деятельности, что делало их активными участниками интеллектуальной и культурной жизни общества. Эту черту «профессорской культуры» в эмиграции сохранили и преумножили многие российские ученые и, прежде всего, сам А.А. Кизеветтер.

А.В. Дьяков (Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского)

Церковно-историческая школа Московской духовной академии в отечественной историографии

Рубеж XX–XXI столетий в отечественной историографии характеризуется интересом к феномену научных исторических школ. Историографы фиксируют движение исторической мысли от позитивистской модели научной школы к социокультурной модели [См.: Мягков Г.П. Схоларные исследования российских ученых: в поисках новой модели научности // История и историки в пространстве национальной и мировой культуры XVIII – начала XX века. М.: ИВИ РАН, 2011. С. 149]. Вполне инструментальным в этом обозначенном ракурсе является определение школы, предложенное А.В. Свешниковым: «школа – это неформальная социальная группа профессиональных ученых, существующая в рамках каких-либо формальных структур, официальных институций» [Свешников А.В. Петербургская школа медиевистов начала XX века. Попытка антропологического анализа научного сообщества: монография. Омск: Изд-во Ом. гос. ун-та, 2010. С. 33]. В историографии

развивается и другая тенденция, связанная со школами церковной историографии. Исследователи выделяют несколько школ церковной историографии говоря о московской, петербургской, казанской, киевской. Московская церковно-историческая школа связывается с деятельностью Московской духовной академии.

Профессор А.П. Лебедев в публикациях «Русская церковно-историческая наука», «Два пионера церковно-исторической науки у нас и немногие сведения о жребиях их приемников» и др. предпринял первые попытки по освещению церковно-исторической школы МДА. Он связывает начало появления исторической школы МДА с деятельностью митрополита Платона (Левшина), который предпринял попытку ввести историю в преподавание. Успеха она не получила, однако в последствии, как отмечает автора появились продолжатели дела митрополита Платона – архиепископ Мефодий и епископ Иннокентий. Серьезный вклад в становлении школы внес ее ректор А.В. Горский, который написал не только много работ по церковной истории, но и первым из церковных историков в России создал концепцию философии церковной истории. А.П. Лебедев считает А.В. Горского центральной фигурой в развитии исторической школы МДА. Также им было отмечено значение академических уставов 1814, 1869, 1884 гг., которые создали благоприятные условия для развития церковной истории в МДА [Лебедев А.П. Церковная историография в главных ее представителях с IV по XX века. М., 1898. С. 557].

Профессор А.А. Спасский, ученик А.П. Лебедева в «Первой лекции по кафедре общей церковной истории» отнес зарождение церковно-исторической науки к МДА. Он считал, что залогом успешного развития исторической школы МДА стала деятельность Филарета (Гумилевского), А.В. Горского, А.П. Лебедева. Филарета (Гумилевского), он называет пионером церковно-исторической науки в академии, А.В. Горский характеризуется «как первый церковный историк в строгом и истинном смысле слова» [Богословский вестник, 1903. № 1. С. 285], а период деятельности А.П. Лебедева ознаменовался «подъемом занятий в области церковной истории» [Там же. С. 295].

А.П. Лебедев и А.А. Спасский не употребляли термин «школа» применительно к сообществу церковных историков МДА, но отмечали персоналии, которые стояли у истоков церковно-исторической школы МДА и повлияли на общую направленность школы и ее представителей в дальнейшем.

Последующие работы по данной теме появились уже в эмиграции, поскольку условия в самой России не благоприятствовали церковно-историческим исследованиям.

Н.Н. Глубоковский в книге «Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии» обзорно затронул и историческую школу МДА. Особо им была отмечен А.В. Горский, потому, что он «воспитал целую историческую школу» [Глубоковский Н.Н. Русская богословская наука в ее историческом развитии и новейшем состоянии. М., 2002. С. 53]. Здесь впервые употреблен термин «школа» применительно к сообществу церковных историков МДА. Также им была отмечена преемственность школы между А.В. Горским и А.П. Лебедевым, последний «осуществил научные церковно-исторические заветы о. А.В. Горского», которого он считает прямым наследником его традиций [Там же. С. 56]. И было выделено два направления в исторической школе МДА: церковная история общая и русская.

Г. Флоровский в книге «Пути русского богословия» отмечает появление исторического метода и развитие церковной истории, которое берет исток в МДА, и связывает это с именем Филарета (Гумилевского). Как пишет Г. Флоровский: «создается русская школа церковных историков» [Флоровский Г.В. Пути русского богословия. Киев, 1991. С. 367]. Для него, как и для других авторов, фигура А.В. Горского является ключевой в развитии исторической школы МДА. Фиксируя влияние А.В. Горского на Е.Е. Голубинского в определении научных интересов, так же намечая некоторые черты исторической школы МДА: влияние западной литературы, использование в работах первоисточников, публицистичность работ.

В 90-х гг. XX в. в отечественной историографии происходит возрождение интереса к церковной истории. Возобновляется процесс изучения исторических школ в духовных академических центрах. Так в статье игумена Иоанна (Экономцева) «Историческая школа Московской Духовной Академии». Автор родоначальниками исторической школы МДА называет Филарета (Гумилевского) и А.В. Горского. Называет приемников А.В. Горского по церковно-исторической науке – С.К. Смирнова, Е.Е. Голубинского, Н.Ф. Каптерева. Они и составили «школу А.В. Горского». Их характерными чертами было обращение к источникам и историческая критика. Был также отмечен вклад в формирование исторической школы МДА профессоров В.О. Ключевского и А.П. Лебедева, последний выделяется как основоположник направления общей церковной истории в исторической школе МДА. Иоанн (Экономцев) выделил

характерные черты, которые были характерны для всей церковно-исторической школы в целом: объектом научного изучения стали не простые деятели, а канонизированные святые; произошло повышение интереса к церковной истории; стремление к объективному знанию привело к попытке стать выше конфессиональных различий; рост интереса к неоплатонизму.

Г.П. Мягков в статье «У истоков исследовательских школ в отечественной церковно-исторической науке» предпринимает попытку проследить складывание церковно-исторических школ. Автор отмечает персоналии, которые оказали наибольшее влияние на формирование церковно-исторической школы МДА – Филарет (Гумилевский), А.В. Горский, А.М. Иванцов-Платонов, А.П. Лебедев, А.А. Спасский. Среди этих персоналий личности А.В. Горского уделяется наибольшее внимание, потому что при нем «фактически была создана церковно-историческая наука» [Исторический ежегодник 2002–2003. Омск, 2003. С. 71]. Историк фиксирует преемственность в исторической школе МДА, выделяя «школу А.В. Горского» и «школу А.П. Лебедева», также им отмечена черта московских церковных историков – «концептуалистическая» направленность, которая роднила со светскими московскими историками. В связи, с чем встает вопрос: идет ли речь о двух лидерских школах или это развитие основной школы МДА?

Н.Н. Воробьева в статье «К характеристике отечественных церковно-исторических школ второй половины XIX – начала XX в.», выделила ведущую роль в формировании церковно-исторической школы при МДА А.П. Лебедева. Она выделила теоретико-методологические особенности исторической школы МДА: публицистический стиль, широкая постановка историко-генетических проблем, создание масштабных исторических работ.

Р.Б. Казаков (НИУ ВШЭ, Москва)

О лекциях А.С. Лаппо-Данилевского по истории науки (1906 г.)

В архиве ученого сохранился текст лекций, озаглавленный самим А.С. Лаппо-Данилевским так: «Размышления об истории науки, ее задачах, методах построения и педагогическом значении (Лекция, читанная преподавателям средних учебных заведений, съехавшихся в С. Петербург 10-17 июня 1906 г.)». Исписанные рукой А.С. 210 листов в четвертую долю вложены им в бумажную обложку, им же и подписанную. Как было принято у А.С., он

писал на левой половине листа, оставляя правую для помет, вставок и пр. Под одной обложкой А.С. сложил не только сам текст лекций, но и библиографические выписки, заметки, занявшие почти половину объема [АРАН. Ф. 113. Оп. 1. Д. 180]. Исправлений и зачеркиваний в тексте немного; они свидетельствуют о том, что писавший текст был глубоко продуман, но в процессе сочинения лекций изменялся автором «на ходу». О серьезной подготовке к созданию текста говорят и обширные подготовительные материалы. Это вообще было свойством работы А.С.: выписки, заметки, подготовительные материалы, библиографические списки и даже вырезки из газет при подготовке того или иного труда составляли сотни и тысячи листов и листков.

Первое впечатление о лекциях таково: текст четко структурирован, выделены пронумерованные разделы, главы с пунктами разных уровней. Это сложное и разветвленное повествование, выполненное на очень высоком уровне теоретического осмысления феномена истории науки. Кроме того, лекции были обращены к публике, от которой требовался соответствующий уровень подготовки. Адресат – «преподаватели средних учебных заведений» – вероятно, располагал таким уровнем.

После Введения А.С. изложил «мотивы, побудившие меня прочесть лекции по истории науки», выделив теоретические (философский и теоретико-исторический интерес) и практические мотивы. Если в первом случае «теоретико-исторический интерес» свидетельствует о том, что «основные проблемы теории исторического знания затрагиваются, а некоторые из них особенно ясно обнаруживаются при изучении истории науки», то практические мотивы исходят из «подъема интереса» к истории науки и «некоторого пренебрежения» историей науки в сфере преподавания.

В изучении истории науки он выделил два уровня: философский (логический), возникший под влиянием позитивизма и изучающий «логическое развитие известного рода идей, последовательно раскрывающихся в действительности и не теряющих своей научной ценности и по настоящее время», и исторический, дающий картину «реального развития науки». «Для выяснения исторического развития науки (а не логического) надо стремиться к познанию исторической действительности во всей ее многообразности и выяснить самые корни данной системы и даже иной раз самые мелкие обрывки научной мысли в их генезисе в зависимости от конкретных условий данного периода (социального

быта, обычаев, традиций, техники, практической жизни и т.п.)». И специально подчеркнул, что в изучении истории исторической науки «очевидно, собственно историческая точка зрения должна получить перевес».

Благодаря четкой структуре лекций и высокоорганизованному тексту метод А.С. эксплицирован, но сами лекции, кроме того, еще и представляют слушателям структуру историографического исследования в сфере истории науки и в сфере истории исторической науки. Более того, изучение истории науки с логической и «собственно исторической точки зрения» выстраивается А.С. источниковедчески: через изучение обстоятельств возникновения и эволюции, анализ идей во всей сложности их происхождения, но делается это посредством изучения процесса развития науки «во всей конкретности его обстановки». Эта же черта свойственна не только данным лекциям: источниковедчески выстроены историографические курсы А.С., которые он читал в Петербургском историко-филологическом институте. Я бы сказал, что источниковедение историографии – это в первую очередь то, что делал в своих лекциях А.С. Лаппо-Данилевский.

Лекции дают понятие историографии и трактуют его, причем А.С. не удовлетворился первоначально данным определением, зачеркнул его и дал ниже куда более сложное: зачеркнуты слова «Словом “история” мы обозначаем и ряд совершившихся фактов и наше построение такого ряда; ясно, что в первом смысле не может быть истории истории; но во втором последнее возможно...», вписано далее «Итак, история научных построений (науки) действительно может служить предметом изучения; она изучает последовательную смену научных построений, приведших к современному научному мировоззрению или способных привести к новому научному мировоззрению».

Жанр лекции требовал публицистической заостренности, поставленной еще в «мотивах» проблемы: «мертвенность всякого бюрократического строя в значительной мере объясняется пренебрежением его защитников к свободной научной мысли, а, в частности, к выводам ее в области политических наук...».

Очевидно, что А.С. рассчитывал, что преподаватели средних учебных заведений (выпускники университетов) воспримут и осмыслят весьма непростые лекции. А.С. уходил и в сферу классификации наук, упоминал О. Конта, У. Ювелля, Дж.Т. Мерца, Г. Риккерта и др., говоря о потенциале историко-

научных штудий, особенно исторической: «Изучение истории наук, гл. об. историографии привело некоторых философов (особенно Риккерта) к новой группировке наук; он исходит не из того, чем должна быть историческая наука, а в сущности чем она была и есть». В этой связи специально замечу, что повторять неизменно многие десятилетия в разных формах мысль о «теоретическом» и «практическом» источниковедениях, которые А.С. якобы разделял и адресовал аудиториям разного уровня, или говорить о разном стиле изложения и понятийном словаре «в рассчитанном на практиков архивной работы и ищущих фактологический материал в исторических источниках в лекционном курсе по дипломатике частных актов и в предназначенной для склонных к теоретизированию “Методологии истории”» [Шмидт С.О. Ольга Михайловна Медушевская как профессор Историко-архивного института // Когнитивная история: концепция – методы – исследовательские практики / Отв. ред.: М.Ф. Румянцева, Р.Б. Казаков. М., 2011. С. 44] чрезвычайно непродуктивно и неверно по существу. Объяснить причины воспроизведения этого неверного утверждения, вероятно, можно слабым знакомством с наследием А.С. и узостью источниковой базы для такого утверждения. Как только творчество А.С. Лаппо-Данилевского начинает изучаться во всем его многообразии – как автора лекционных курсов очень широкой проблематики, руководителя семинара, где его ученики отрабатывали в практике исследования разнородных комплексов источников, автора «Методологии истории», – целостность его идей, заключающаяся в том, что теоретические построения его лекционных курсов при очень высоком уровне абстракции реализовывались в исследовательских практиках самого А.С. и его учеников, место источниковедения и «методов исторического построения» в его оригинальной методологии истории и истории науки становятся очевидными.

Р.Б. Казаков (НИУ ВШЭ, Москва),
М.Ф. Румянцева (РГГУ, Москва)

**Научно-педагогическая школа источниковедения
как интеллектуальное сообщество:
история, современное состояние, перспективы развития**

В ноябре 2009 г. авторам уже приходилось выступать в Институте всеобщей истории РАН на круглом столе «Трансформации профессиональных сообществ историков

России 1985–2009 гг.» с аналогичной темой [История: электрон. науч.-образ. журн. Электрон. дан. М., 2010. 1: Историческая наука в современной России. – URL: http://www.mes.igh.ru/magazine/content/pedagogicheskaya_shkola_istochnikovedeniya.html, ограниченный (дата обращения: 30.03.2012)], но произошедшие с тех пор институциональные изменения заставляют нас к ней вернуться и позволяют поставить проблему Научно-педагогической школы источниковедения именно как интеллектуального сообщества.

Научно-педагогическая школа источниковедения (Научно-педагогическая школа источниковедения Историко-архивного института – далее НПСИ) восходит в своих эпистемологических основаниях к теоретико-познавательной концепции А.С. Лаппо-Данилевского (1863-1919), в период с 1939 по 2011 г. она институционально оформилась на основе кафедры вспомогательных исторических дисциплин Историко-архивного института (с 1991 г. – в составе РГГУ; с 1994 г. – кафедра источниковедения и вспомогательных исторических дисциплин) и со временем приобрела разветвленную институциональную структуру [Казаков Р.Б., Румянцев М.Ф. Научно-педагогическая школа источниковедения Историко-архивного института: аспекты институционализации // Сообщество историков высшей школы России: науч. практика и образоват. миссия. М., 2009].

В концептуальном становлении Школы можно выделить несколько этапов. В основе концепции – специальное внимание к объекту исторического познания – историческому источнику, понимаемому как объективация творческой активности человека. В НПСИ под объектом исторического познания понимался уже не отдельный исторический источник, а система видов исторических источников, системно-структурно презентующих определенную культуру. Этот этап завершился на рубеже XX–XXI вв. изданием двух учебных пособий [Источниковедение: История. Теория. Метод. Источники российской истории. М., 1998; Переизд.: 2000, 2004; Румянцев М.Ф. Теория истории. М., 2002]. В первое десятилетие XXI в. О.М. Медушевская (1922–2007) – признанный лидер НПСИ, сформулировала концепцию когнитивной истории, в основе которой понятие *эмпирической реальности исторического мира* [Медушевская О.М. Теория и методология когнитивной истории. М., 2008].

Таким образом, к концу первого десятилетия XX в. Научно-педагогическая школа источниковедения завершила

определенный этап своего концептуального становления и институционального развития.

Но в 2011 г. кафедра была ликвидирована, что, естественно, создало новые условия для существования Научно-педагогической школы, поставило перед нами новые проблемы, но и одновременно открыло новые перспективы.

Следует признать, что к концу обозначенного выше периода мы имели амбивалентный процесс. С одной стороны, усилиями, в первую очередь, О.М. Медушевской, теоретико-познавательная концепция НПШ – концепция когнитивной истории приобрела завершённый вид (конечно же, речь идет о завершённости определенного этапа), но с другой стороны, началось размывание концептуальной определенности, о чем свидетельствует сборник материалов Чтений, посвященных памяти О.М. Медушевской [Когнитивная история: концепция – методы – исследовательские практики: Чтения памяти профессора Ольги Михайловны Медушевской: (ст. и материалы). М., 2011].

В настоящее время идет институализация НПШ в Internet-пространстве, начатая, мы бы сказали, стихийно-интуитивно, еще в период существования соответствующей кафедры. НПШ в настоящее время позиционирует себя как Научно-педагогическая школа источниковедения – сайт Источниковедение.ru [URL: <http://ivid.ucoz.ru>]. На наш взгляд, такое позиционирование позволяет (быть может, только на первых порах), с одной стороны, расширить интеллектуальное пространство НПШ, а с другой строго выделить ее концептуальное ядро.

Перспективы своего развития мы во многом также связываем с Internet-технологиями, в частности с возможностью проведения Internet-конференций, которые не требуют строгой привязки к официальным институциям. Опыт участия в таких конференциях накоплен нами в сотрудничестве с сайтом Межвузовского научно-образовательного центра «Новая локальная история» [URL: <http://www.newlocalhistory.com>].

Видимо, НПШ источниковедения как интеллектуальное интернет-сообщество обладает характеристиками любого интернет-сообщества. С одной стороны, оно может быть предельно открыто в своих проявлениях всему интернет-пространству, практически любому обратившемуся на интернет-сайт НПШ. Более того, универсальной нормой функционирования мирового научного сообщества становится условие предельной открытости деятельности и доступности результатов. В некоторых случаях, как, например, в Высшей школе экономики, такое условие становится обязательным

элементом корпоративной культуры: каждый преподаватель и сотрудник на своей персональной странице постоянно обновляет информацию о своей научной, учебной деятельности и может делать доступными тексты своих публикаций [URL: <http://www.hse.ru/org/persons/36555103>]. В этом смысле новые формы институализации Школы отвечают актуальным характеристикам научных сообществ.

С другой же стороны интернет-институализация дает возможность предельно четко очертить круг тех, кто является членом Школы, разделяя ее концептуальные основания, и исключить из этого сообщества тех, кто по научным (и обязательно – этическим!) основаниям не может принадлежать Школе.

Очевидно, что деятельность Школы как интернет-сообщества позволит накопить необходимый материал для осмысления процесса развития теоретико-познавательной концепции НПШ – концепции когнитивной истории. Если в основу концепции положено понятие *эмпирической реальности исторического мира*, то, уже исходя из этого, Школа как сообщество должна быть изначально и предельно открыта и восприимчива к опытам эпистемологической рефлексии в других областях научного знания, особенно – в близких, социогуманитарных. Можно ли в неисчерпаемости исследуемой *эмпирической реальности исторического мира* находить основания устойчивого, длительного и эффективного функционирования самого сообщества – Школы?

В заключение подчеркнем, что мы, т.е. те, кто позиционировал свою принадлежность к НПШ источниковедения на сайте Источниковедение.ru, не претендуем на исключительное наследование бренда Научно-педагогическая школа источниковедения Историко-архивного института, но полагаем, что определенность НПШ источниковедения в силу ее имманентной устойчивой методологической ориентированности может сохраняться только при повышенной эпистемологической рефлексии, в том числе и научной критике своих теоретических оснований, а не путем декларирования своей формальной принадлежности к «сонму учеников».

И.В. Крючков (Ставропольский ГУ)

Австрийская экономическая школа в интеллектуальном пространстве Австрии на рубеже XIX–XX вв.

Рубеж XIX–XX вв. ознаменовался бурным развитием науки и культуры в австрийской столице. Венские интеллектуалы могли полностью сосредоточиться на выработке новаторской эстетики и идей. Уникальное интеллектуальное пространство Вены подарило миру блистательную плеяду ученых.

До второй половины XIX в. Австрия не влияла на интеллектуальную жизнь Европы. Однако положение дел меняется с приходом к власти либералов и проведением реформ в 60–70-е гг. XIX в., включая отмену цензуры в высшем образовании и либерализацию университетской системы. Университетские преподаватели, имевшие высокий уровень доходов и в силу этого не думавшие о «хлебе насущном», полностью сосредоточились на научных изысканиях. Университеты были проникнуты духом иосифианства – беспристрастного отношения элиты к окружающей действительности, созерцательности и эстетизма.

В конце XIX в. австрийская интеллектуальная элита переживает смену поколений. На смену старой профессуре приходят новые люди с нестандартным мышлением, креативными идеями. Венские интеллектуалы являлись мощной корпорацией, активно обменивающейся инновациями внутри своего сообщества, и, передавая их обществу, они оказывали сильное воздействие на деловую и политическую элиту страны.

В данной связи необходимо, прежде всего, выделить австрийскую экономическую школу. В 1871 г. ее создатель Карл Менгер (1840–1921) опубликовал «Основания политической экономии». Издание книги полностью изменило жизнь К. Менгера. Он занял должность доцента Венского университета, став в 1873 г. профессором. Вершиной академической карьеры К. Менгера стала должность заведующего кафедрой экономической теории юридического факультета Венского университета, где он проработал до 1903 г.

Революционность взглядов К. Менгера касалась, прежде всего, теории стоимости. В отличие от классической политэкономии, для К. Менгера ценность товара определяется не его естественными (физическими) свойствами или трудозатратами, а потребностями в нем человека. Поэтому исследовательская стратегия заключается не в определении объективных законов развития самодостаточной экономики, напоминающих подход, сложившийся в естествознании, а в изучении развития потребительской культуры человека, его запросов, предпочтений и даже заблуждений. Все это ставило под сомнение веру марксистов и других сторонников тотального

планирования в возможность контроля интеллектуальной элитой стихийных процессов общественного развития. Эволюция общества и экономики есть проявление действий миллионов индивидов, спрогнозировать поведение которых зачастую не представляется возможным.

Научная концепция К. Менгера наложила отпечаток на его политические воззрения. Он был последовательным либералом. Об авторитете ученого говорит и тот факт, что с 1876 по 1878 гг. К. Менгер являлся наставником кронпринца Рудольфа. Вершиной политической карьеры ученого стало депутатское кресло в Верхней палате австрийского парламента.

Лекции К. Менгера вызывали огромный интерес в студенческой среде. Даже в 20-30-е гг. XX в. в Венском университете студенты учились по конспектам лекций К. Менгера, сделанным их предшественниками. Следует отметить, что К. Менгер с 1880 г. отходит от активной научной деятельности, полностью сосредоточившись на работе со студентами.

Последователи К. Менгера Е. Бем-Баверк (1851–1914) и Ф. Визер (1851–1926) окончили университет в 1872 г., еще до прихода сюда К. Менгера, но знакомство с книгой К. Менгера навсегда изменило вектор их научной деятельности и определило взгляды не одного поколения австрийских интеллектуалов. В 1903 г. К. Менгер передал заведование кафедрой экономической теории Ф. Визеру, являвшемуся с 1889 г. профессором университета. Ф. Визер, в отличие от К. Менгера и Е. Бем-Баверка, являлся прекрасным оратором и талантливым преподавателем, сыгравшим решающую роль в популяризации идей австрийской экономической школы. Придя после войны в ноябре 1918 г. в Венский университет, будущий идеолог классического европейского либерализма и лауреат Нобелевской премии Ф. Хайек сразу записался на семинар Ф. Визера, став последовательным учеником «австрийцев». Правда, в отличие от своего учителя, проповедовавшего доктрину смешенной экономики, Ф. Хайек придерживался идей классического либерализма, отстаиваемых К. Менгером и Е. Бем-Баверком.

Кроме научной деятельности Ф. Визер достиг определенных успехов на политическом поприще. Он являлся депутатом Верхней палаты парламента. В 1917–1918 гг. Ф. Визер был последним министром торговли Австрии.

Постоянно стремился совмещать академическую и политическую деятельность Е. Бем-Баверк. У него не было той глубины научного анализа, что у К. Менгера, но в своих работах

он стремился развивать его идеи, расширяя исследовательское поле и приспособляясь к реалиям конца XIX – начала XX в. Е. Бем-Баверк вступил в жаркую полемику с набирающим силу марксизмом, развенчав экономические постулаты К. Маркса и его сторонников. Среди активных участников семинара Е. Бем-Баверка можно выделить авторитетнейшего идеолога европейского марксизма Р. Гильфердинга. Доводы Е. Бем-Баверка стали мощным аргументом в полемике либералов с марксистами в Австрии и за ее пределами. Один из крупнейших мыслителей XX в. Й. Шумпетер, будучи в докторантуре у Е. Бем-Баверка и Ф. Визера, внимательно отслеживал полемику Е. Бем-Баверка с марксистами, что в будущем существенно повлияло на его восприятие социализма. В этом плане ему были ближе взгляды Ф. Визера, чем К. Менгера и Е. Бем-Баверка. В то же время другой известный участник семинаров «австрийцев» Л. Мизес пошел дальше в развитии либеральной доктрины. Правда «экстенсивное» расширение идей австрийской экономической школы отчасти отражалось на глубине научных рассуждений Е. Бем-Баверка. Отсюда не случайно, что он является один из самых критикуемых участников школы.

Признанием научных заслуг Е. Бем-Баверк стало его избрание Президентом Академии наук Австрии в 1911 г. Еще в 1880 г. ученый получил должность профессора в университете Инсбрука, а в 1884 г. – в Венском университете. В отличие от своих коллег Е. Бем-Баверк достиг больших успехов в политике. В 1895, 1897–1898, 1900–1904 гг. он занимал должность министра финансов Австрии, приняв участие в подготовке денежной реформы в стране на основе введения «золотого стандарта». Е. Бем-Баверк проводил острожную политику, стремясь максимально сократить государственные расходы, противясь чрезмерному увеличению трат на социальные программы, дотирование экономики и на оборону.

Таким образом, австрийская экономическая школа внесла огромный вклад в развитие экономики, социологии, права и истории дуалистической Австрии. Это нашло отражение и в деятельности представителей неоавстрийской школы и других известных учеников «австрийцев», прежде всего Й. Шумпетера, занявших весомое место в интеллектуальном пространстве Европы и Северной Америки в 30-70-е гг. XX в.

Р.Ф. Набиев (Казанский юридический институт МВД РФ)

**Об одном принципиальном недостатке
исторического образования:
историк против национальной ограниченности**

Не секрет, что большинство народов и национальных государств опирается на национальные истории. И это вполне естественно. Но, знакомясь с историей различных регионов бывшего СССР и окружающих стран, отечественный историк нередко испытывает определенный дискомфорт: соседние народы нередко видят прошлое иначе. Даже в условиях партийного руководства историей эти народы смогли сохранить свой взгляд на мир прошлого, в котором центром был каждый из них.

Например, в борьбе против немецких рыцарских орденов латыши и литовцы важными называют вовсе не «наше» «Ледовое побоище», а свое – битву при Карусе (и некоторые иные). Мы привыкли отсчитывать историю христианства в Восточной Европе с даты «крещения Киевской Руси», но истории кавказских народов, тюрков, болгар позволяют углубить историю христианства в Восточной Европе на многие столетия. Ислам на территории средневековой Украины и Залесской Руси вообще остается за рамками «Отечественной истории». Впрочем, как и история большинства коренных народов Восточной Европы.

В этом году отмечается 1150-летие российской государственности. Согласно принятой концепции, русское государство и культура появляются «вдруг и сразу» с приходом «варягов». Также признается культурное влияние Византии, но не великих «степных» империй, которые охватывали предков всех современных народов европейской России, строили города, храмы, внедряли образование и различные религии...

Весьма сомнительная дата отмечается вопреки тому, что отсутствуют какие-либо сведения, подтверждающие скандинавское происхождение русской династии. Русский язык практически не сохранил следов скандинавской терминологии (которая должна была отразиться в военной и социальной сфере). Количество артефактов, которые можно было бы отнести к материальной культуре скандинавов, ничтожно. Данные антропологии почти исключают скандинавское присутствие среди элиты Древней Руси. В то же время, еще в начале XX в. было выявлено, что в древнейших некрополях Киева и Чернигова лежат останки элиты, чьи черепа по своим параметрам соответствуют окружающему степному населению.

В настоящее время подобные выводы многократно усилены генетиками.

Тюркскими словами русского языка можно изъясняться и писать. Примерно то же можно сказать о мощном пласте тунгусо-маньчжурских лексем. Достаточно велико наследие финно-угорских языков... Сведения о кагане – основателе династии русских князей содержатся в русских летописях... Но подобные данные обычно не учитываются, как и то, что этноним «русь» упоминается до «призвания варягов», а также длительное время – на Кавказе...

По существу, легенда о возникновении русского государства и культуры висит в воздухе и не соответствует совокупности объективных данных вспомогательных исторических наук. Таким образом, отстраненность русского историка от всеобщей истории, отмеченная В.И. Герье в XIX в., продолжает оставаться характерной чертой отечественной истории и в веке XXI.

Ранее в значительной мере это было оправдано военными интересами, политическими приоритетами и давлением цензуры, но в XXI в., когда историков не расстреливают и даже не сажают в тюрьмы, нет никакой необходимости повторять необоснованные легенды.

С каждым годом нарастает совокупность фактических данных, несовместимых с традиционной трактовкой «начальной истории». На наш взгляд, это количество переходит критический уровень, который уже невозможно игнорировать.

Осознание этого кризиса заставляет обратиться к опыту иных стран, для которых подобная проблема также актуальна. Выясняется, что европейские теоретики уже в течение века наращивают усилия по синтезу европейской истории, без которой, кстати, они не видят возможности создания прочного Европейского Союза и формирования ментальности европейца.

Еще более интересен подход китайцев, для которых история является самым сложным предметом. «Китайскими» для них являются все династии древнего Китая, независимо от их национальной и культурной принадлежности. Такой подход позволяет им поддерживать центростремительные силы среди народов страны, видеть целостную картину истории восточной равнины и окружающих стран. Это, в свою очередь, позволяет выявлять закономерности и адекватно использовать их в политике и экономике. Подобный подход, на наш взгляд, наиболее близок к историческим реалиям и современным потребностям Российской Федерации.

На протяжении многих столетий в государственные отношения втягивала остальные народы болгаро-булгарская цивилизация. Вполне достаточно данных по гуннам, сабирам, аварам, хазарам... Это они явились передатчиками христианства и ислама, они строили «древнерусские» города, они стали следующими ступенями приобщения к государственности.

Более близкий этап – «Золотая Орда». Какая культура и государство отражает историю в рамках современной РФ и ЕвразЭС? «История Отечества» XIII–XV вв. это – история Московской области или история Империи Джучидов, почти совпадающей по площади с современной РФ? Ответ очевиден.

Что же препятствует построению подлинно научной исторической концепции, которая объединяла бы народы, а не противопоставляла их русским и Москве? Наиболее значимой причиной этого автору видится система подготовки историков. Большинство из них попросту не получают базовых знаний, необходимых для адекватного анализа истории своих древних предков, своей местности. Студенты-историки, как правило, не изучают истории, культуры и языков коренных народов Восточной Европы, но изучают латынь, греческий, английский... Немаловажным представляется и тот факт, что существующая концепция создавалась келейно, без публичного и равноправного обсуждения последователями различных школ и учета объективных данных вспомогательных исторических наук.

В случае создания подобной единой истории граждан нашей Страны будет получать, действительно евразийское мировоззрение и гордиться русью-аварами кагана Бояна, алгоритмом Ал-Хорезми, таблицами ал-Фараби, реформами Елюй Чу-Цая, основателем медицины Ибн-Синоу, зная, что они – великие представители культуры евразийской державы.

В.П. Пушков (МГУ, Москва)

**Первокурсники 1917 года
историко-филологического факультета
Московского университета**

Состоявшийся в 2005 г. 250-летний юбилей Московского государственного университета им. М.В. Ломоносова активизировал разработку ряда новых историко-культурных проблем, одна из которых – изучение источников формирования

национального интеллектуального потенциала (в этом аспекте контингент обучающихся в Московском университете является вполне репрезентативной выборкой) [Пушков В.П., Пушков Л.В., Завьялов С.М. Профессионально-географический состав выпускников Московского университета (1877–1916 гг.) // История Московского университета: м-лы V научн. чтений памяти проф. А.В. Муравьева. М., 2004. С. 222–235]. В ходе этих исследований в Архиве МГУ был обнаружен уникальный «Алфавитный список студентов, принятых в 1917/18 академическом году» [Архив МГУ. Ф. 1. Оп. 14л. Д. 13312. 289 л. Машинопись с рукописной правкой, переплетенная в дело стандартного формата], содержащий, помимо ФИО первокурсников, даты их рождения, сведения о вероисповедании и оконченом среднем учебном заведении. По этим данным нами была составлена база данных «Первокурсники 1917 г.» (электронная таблица MS-Excell, включает 12 полей, передает всю информацию источника) [Пушков В.П., Пушков Л.В., Завьялов С.М. Списки первокурсников Московского университета 1917/1918 академического года как массовый источник // Идеи академика И.Д. Ковальченко в XXI веке. М., 2009. С. 302-311].

В 1917/18 академическом году первокурсниками Московского университета стало около 2500 чел., причем впервые было принято 154 женщины (6%). Несмотря на военное время и революционную обстановку, доля москвичей на первом курсе составила не более 1/3 (820 чел.). В этот тяжелый год Московский университет сохранил свой всероссийский характер и ведущую роль в подготовке кадров отечественной интеллектуальной элиты. Об этом свидетельствует широкая география абитуриентов, съехавшихся из 80 губерний и областей страны (всего их было 89).

О научных приоритетах молодежи 1917 г. можно судить по выбранным факультетам: большинство предпочло физмат (1300 чел., или 48%), более чем вдвое отставал медицинский (540–21%), историко-филологический набрал 420 (17%), а примерно каждый 11-й студент выбрал юридическое поприще (220 – 9%). Эти результаты кардинально отличаются от картины дореволюционных лет. В 1877–1916 гг. наиболее популярным был юрфак – 41,8%, за которым следовали медицинский факультет (31,9%), физмат (18,1%) и истфил (8,2%). В первом приближении катастрофическое (в 4–5 раз) снижение интереса к юриспруденции можно объяснить малым авторитетом права и законов на переломном этапе исторического развития, тогда как

естественнонаучные специальности (доля физмата выросла в 2,7 раза) были остро востребованы военной промышленностью.

О широте и многообразии «корневой системы» отечественного интеллектуального потенциала свидетельствует набор из 212 населенных пунктов, взрастивших достойную Московского университета талантливую молодежь (за 40 предшествующих лет их было 202), причем 147 из них – это уездные и заштатные города, а один первокурсник историко-филологического факультета оказался даже воспитанником Тарутинской сельской гимназии.

На этом фоне 417 первокурсники историко-филологического факультета представляли 51 губернию, 23 из которых смогли подготовить талантливую молодежь не только в своих административных центрах, но еще и в 37 уездных городах. Здесь лидировала Тамбовщина, давшая студентов из Борисоглебска, Касимова, Лебедяни и Раненбурга. Смоленщина была представлена Вязьмой, Дорогобужем и Рославлем, а Владимирская земля – Вязниками, Иваново-Вознесенском и Шуей. Особо отметим высокий интеллектуальный потенциал подмосковной Вифанской духовной семинарии, откуда пришли 16 первокурсников. Абсолютное большинство новобранцев факультета получили предварительное среднее образование в гимназиях – 243 человека из 411, назвавших свою школу (59%). Существенным было представительство и духовных семинарий – 148 человек (36%), тогда как на остальные типы средней школы пришлось не более 5% набора (15 воспитанников реальных училищ, четверо из коммерческих училищ и по одному – из 2-го Кадетского корпуса и Учительского института).

Социальный состав первокурсников отличался большим разнообразием и демократизмом. Безусловным лидером являлось духовное сословие, выходцами из которого был 151 чел. (38%), среди которых – не только сыновья и дочери священников и дьяконов, но также и 25 выходцев из семей псаломщиков. В этой группе присутствовали 12 действующих священников, 4 дьякона и 2 псаломщика. Второе место было за 62 представителями мещанского сословия, а третье – за 47 крестьянского (из них 5 самостоятельных хозяев). В общей сложности духовенство, мещанство и крестьянство обеспечили две трети набора (260 чел.). Почти вся Табель о рангах (от губернского секретаря до действительного тайного советника) была представлена 42 детьми чиновников. Столько же первокурсников вышло и из купеческого сословия (17 детей купцов и 25 – почетных граждан). К дворянству причислили себя 24 студента (в том числе 9 сыновей и

дочерей потомственных дворян). Всего лишь 5% первокурсников (21 человек) вышли из семей интеллигенции (медиков, учителей, инженеров, земских служащих и др.). Из военного сословия вышло всего четыре человека (дочери старших офицеров).

Среди 412 человек, показавших своё вероисповедание, помимо 356 православных (87%), присутствовало 29 иудеев (7%), 16 католиков, 7 евангелистов-лютеран, 5 армяно-григориан, по одному старообрядцу и магометанину («сын крестьянина» Фейзулаев Мамед из Ленкоранской гимназии Бакинской губернии). Судя по фамилиям, кроме русских, украинцев и евреев присутствовали грузины, армяне, поляки и немцы.

Просмотр встречающихся чаще одного раза фамилий первокурсников выявляет две наиболее активные группы: церковно-семинарские и, так сказать, «птичьи» фамилии (соответственно 33 и 27 человек, всего 14% от набора). Из первой категории фамилий можно выделить Виноградовых (6), Покровских (5) и Архангельских (3), а из вторых – Соколовых, Лебедевых и Орловых (11, 5 и 3). По ФИО студентов выявлено три пары братьев – бывших воспитанников Московской духовной семинарии. Это сыновья протоиерея Алексей и Николай Недумовы, из семьи псаломщика Константин и Николай Стоговы, а также священник и «сын священника» Петр и Сергей Холмогоровы.

В смещении частот встречаемости отчеств и имен первокурсников проявилось некая имперская ментальность их родителей, поскольку среди их отцов больше всего было Иванов (38), Александров и Николаев (по 33), тогда как у следующего поколения однозначными лидерами стали имена особ царствующего дома: 40 Николаев, 35 Сергеев и 25 Александров, а «народное» имя Иван опустилось на 4-е место. Обращаем внимание на резкий подъем популярности имени великого князя Сергея Александровича – губернатора Москвы с 1891 года до своей гибели в 1905 г. (среди отчеств это имя занимало 6 место). Из женских имен наиболее популярными были Мария (5), Ольга и Софья (по 4), Анна и Вера (по 3).

Н.В. Ростиславлева (РГГУ, Москва)

**Концепция университета В. фон Гумбольдта
и становление исторического образования в Германии XIX в.**

Начало XIX в. стало в Пруссии временем либеральных реформ. Стремление к либерализации нашло воплощение и в реформе образования. Ее творцом стал Вильгельм фон Гумбольдт (1767–1835) – директор секции культуры и образования в Министерстве внутренних дел Пруссии в 1809-1810 гг. Находясь на этом посту, он проделал всю необходимую работу для открытия в 1810 г. Берлинского университета. Время пребывания Гумбольдта в этой должности длилось всего 13 месяцев, но оно стало важнейшим периодом в истории немецкого образования. Проведенная им реформа образования приобрела, как утверждал де Руджеро, общенемецкое значение [Ruggiero G. de. *The History of European Liberalism*. London; New York, 1927]. Она привела не только к появлению немецкого классического университета, покоящегося на принципах академической свободы и единства преподавания и исследования, но и сказалась на преподавании исторических дисциплин.

Гумбольдтовский университет трактовал академическую свободу как право профессоров выбирать предметы для изучения без ограничения со стороны стандартных программ. Но, признавая индивидуальное стремление к познанию и свободу науки, Гумбольдт сформулировал главную преференцию университетского образования, утверждая, что «умственная деятельность в человечестве развивается только как совместная деятельность» [Гумбольдт В. фон. О внутренней и внешней организации высших научных заведений в Берлине [Электронный ресурс]. 2002. № 2 (22). – URL: <http://magazines.russ.ru/nz/2002/22/gumb.html>]. Поэтому необходим диалог между университетскими исследователями и преподавателями с одной стороны и студентами с другой стороны. Студент в рамках обучения должен не столько овладевать готовым знанием, а развивать самостоятельность мышления, заниматься разысканием и усвоением истины и быть дополнительной инстанцией для проверки тезисов преподавателя-исследователя, поэтому вскоре в реформированном университете возникла новая форма обучения – семинарские занятия, о которых Гумбольдт, правда, не упоминал, но они очень соответствовали духу его концепции.

В историческое университетское образование семинары ввел Л. фон Ранке (1795–1886). Он получил теологическое и филологическое образование, как ученый тяготел к изучению проблем церкви и государства. В 1825 г. Ранке был приглашен в Берлинский университет, где получил должность профессора на

кафедре всеобщей истории. В 1834 г. он основал свой исторический семинар, конечным результатом этих практических занятий стало возникновение исторической школы, к которой принадлежали Г. Зибель, Г. Вайц, Гизебрехт, Ленке, Гирш.

Интерес к изучению источников характерен и для преподавательской деятельности Ф.К. Дальмана. Он получил преимущественно филологическое образование и обрел интерес к критико-филологическому методу познания прошлого. В 1830 г., будучи уже профессором Геттингенского университета, Дальман опубликовал по просьбе слушателей ставшее в дальнейшем очень знаменитым «Источниковедение немецкой истории» [Dahlmann F.C. *Quellenkunde der deutschen Geschichte*. Göttingen, 1830]. К 1838 г. оно выдержало два издания. После смерти Дальмана это пособие было дополнено и несколько переработано Георгом Вайтцем и вновь издано в 1869–1875 гг., 1883 г., 1907 г., 1912 г., и в 30-е гг. XX в. К настоящему времени этот теперь уже двенадцатитомный труд выдержал десять изданий. Данная работа позволила Дальману до настоящего времени присутствовать в образовательных программах исторических специальностей. Но в преподавательской деятельности Дальмана присутствует не только тяга к интерпретации и систематизации источников, но и стремление связать историческое знание с современностью и филологией [Scheel O. *Der junge Dahlmann*. Breslau, 1926. S. 8; Hansen R. *Fridrich Christoph Dahlmann // Deutsche Historiker / hrsg. von H.-U. Wehler*. Göttingen, 1973. S. 515]. Он утверждал, что благодаря более глубокому толкованию современности пробуждается свежее чувство в интерпретации древности. Подобный подход к историческому образованию отразился в судьбе самого историка, который известен и как успешный политик, лидер либерального движения немецкого Севера.

Сумел создать свою историческую школу профессор Гейдельбергского университета Ф.К. Шлоссер. Как и Ранке, он получил теологическое образование. Но как ученый и педагог Шлоссер основное внимание сосредоточил на светской политической, литературной и культурной истории. Сложившийся вокруг него кружок его ученик Г. Гервинус назвал «открытой для всех лабораторией» [Гервинус Г. *Автобиография*. М., 1893. С. 130]. Помимо Гервинуса к нему принадлежали Л. Гейссер, В. Циммерман, Л. Лебель. В историческом образовании в духе Шлоссера большее значение имела лекционная форма, поскольку он сам был блестящим лектором, чего нельзя сказать о Ранке. Однако принцип обратной связи в

историческом образовании Гейдельбергского университета присутствовал, поскольку обсуждение лекций со студентами происходило, но довольно часто в неформальной обстановке. История позиционировалась Шлоссером как наставница жизни, и хотя сам историк никогда политикой не занимался, влияние его учеников на политические процессы Германии прослеживается довольно отчетливо.

Связь образования историка с особенностями исторического образования в Германии XIX в., на наш взгляд, не является безусловной. Гораздо большее значение имеет принцип обратной связи между профессором и студентами, который утвердился в университетском пространстве Германии благодаря В. фон Гумбольдту, а также «пропитанность» политикой репрезентации прошлого из-за отсутствия в середине XIX в. единого немецкого государства.

М.Ф. Румянцева (РГГУ, Москва)

**Лекционные курсы А.С. Лаппо-Данилевского и В.М. Хвостова
по методологии истории:
опыт сопоставительного исследования**

Формирование предметного поля источниковедения историографии – знаковое явление современного исторического знания. П. Нора обратил внимание на то, что еще в конце XIX в. история «вступила в свой историографический возраст» [Нора П. Между памятью и историей: Проблематика мест памяти // Франция-память. СПб., 1999. С. 23].

Но складывается впечатление, что, реализуя принципы источниковедения в историографическом исследовании, историки идут преимущественно по пути расширения источниковой базы с тем, чтобы выявить социокультурные факторы историописания. Не отрицая значимость этого подхода, хочу все-таки акцентировать внимание на базовом принципе современного источниковедения – важности выявления видовой специфики исторического источника. В полной мере это относится и к историческим трудам: исследуя «взгляды» историка на современном уровне, необходимо учитывать, где, в произведении какого жанра они высказаны – в специальной монографии, посвященной детальному и глубокому анализу интересующей историка проблемы; в статье, при исследовании которой необходимо обращать внимание на специфику издания, для которого она предназначена, в докладе на конференции и в

опубликованных тезисах или в учебнике, учебном пособии, курсе лекций.

Тем не менее, историки, все чаще обращаясь к труду А.С. Лаппо-Данилевского (1863–1919) по методологии истории или – гораздо реже, но все же упоминая труд В.М. Хвостова (1868–1920) по теории истории, иногда даже не подозревают, что работа Лаппо-Данилевского – пособие к лекциям [Лаппо-Данилевский А.С. Методология истории: [в 2 т.]. М., 2010. (Первое изд. 1910–1913. Оно имело подзаголовки: Вып. I: Пособие к лекциям, читанным студентам С.-Петербургского университета в 1909/10 уч. году; Вып. II: Пособие к лекциям, читанным студентам С.-Петербургского университета в 1910/11 году. Третья часть курса, включенная в изд. 2010 года, существовала в виде литографий, литографированный курс 1909 г. включен в современную публикацию)], а работа Хвостова – курс лекций [Хвостов В.М. Теория исторического процесса: Очерки по философии и методологии истории: курс лекций. М., 2006 (первое изд. 1914)].

Излишне говорить, что если источниковедение источников личного происхождения, к которым все чаще обращаются историки исторической науки, относительно разработано, то учебная литература в качестве вида исторических источников мало изучена (несмотря на существующую литературу).

Попытаемся хотя бы наметить некоторые линии изучения учебников / учебных пособий как исторических / историографических источников. Возьмусь утверждать, что учебное пособие – это (1) высшая форма концептуализации исторического знания, (2) обладает (в идеале) репрезентативной структурой, т.е. системно презентует соответствующую область знания. Здесь мы оставили за рамками рассмотрения различия пособия к курсу лекций (Лаппо-Данилевский) и курса лекций (Хвостов), что, на самом деле, также может оказаться существенным.

Последнее обстоятельство имеет и оборотную сторону: очевидно, не все аспекты, фиксируемые в учебном пособии, могут быть равномерно разработаны автором и не все они представляют оригинальную авторскую версию. В рамках данного доклада возможно зафиксировать лишь некоторые, на мой взгляд, принципиально важные, аспекты структуры и содержания учебных пособий А.С. Лаппо-Данилевского и В.М. Хвостова.

Сопоставление предполагает выявление как сходств, так и различий. Первое, принципиально важное, сходство мы зафиксировали: и тот, и другой труд – учебные пособия. Авторы

объединяет также принадлежность к одному философскому направлению – русской версии неокантианства, но научный background у них различен: Лаппо-Данилевский – профессиональный историк, Хвостов, по преимуществу, – социолог и правовед.

Если судить по названиям работ, то предмет их различен, однако большая часть работы Хвостова, по сути, посвящена эпистемологии исторического познания, что и зафиксировано в ее подзаголовке. И сам автор указывает на то, что изучению теории исторического процесса необходимо предпослать определение истории как науки и ее места в системе научного знания.

Оба автора исходят из идиографического характера исторического знания, но Хвостов, как социолог, ставит задачу выявить принципы построения теории исторического процесса, которую он выводит за пределы исторической науки. Лаппо-Данилевский, как историк, остается в своем исследовании в строгих дисциплинарных границах исторической науки.

Часть I труда Лаппо-Данилевского, по сути, посвящена «историографии вопроса», свою оригинальную теорию исторического познания методолог предлагает в Части II «Методы исторического изучения», две трети которой составляет Отдел первый, посвященный методологии источниковедения [Лаппо-Данилевский А.С. Указ. соч. Т. 2. С. 19-394]. Хочу еще раз подчеркнуть, что сложившееся в литературе мнение о Лаппо-Данилевском как об авторе концепции источниковедения, на мой взгляд, в корне неверно: Лаппо-Данилевский разработал целостную непротиворечивую концепцию исторического познания, и сама логика этой концепции заставила автора поставить в центр внимания исторический источник и методологию его изучения. Лаппо-Данилевский последовательно рассматривает проблему природы исторического источника и дает его определение как «реализованного продукта человеческой психики, пригодного для изучения фактов с историческим значением» [Там же. С. 38], выделяет основные виды исторических источников, подробно рассматривает проблемы интерпретации и источниковедческой критики и выявляет значение исторических источников в историческом познании. Системообразующим принципом при рассмотрении природы исторического источника для Лаппо-Данилевского является принцип «признания чужой одушевленности», имеющий существенное значение в теории познания русской версии неокантианства [Румянцева М.Ф. Концепт «признание

чужой одушевленности» в русской версии неокантианства // Cogito: альм. истории идей. Ростов н/Д, 2007. Вып. 2. С. 35-54]. Отдел второй Части II посвящен методологии исторического построения. Здесь, на мой взгляд, Лаппо-Данилевский целиком остается в границах идиографической логики историописания, рассматривая исторический факт как не повторяющийся во времени и исторический процесс как сингулярный (здесь мы оставляем за рамками рассмотрения феноменологическую составляющую рассуждений Лаппо-Данилевского, что, вообще-то, сильно упрощает концепцию).

Курс лекций Хвостова также историографически фундирован. При этом наиболее оригинальную часть работы составляет Отдел второй, в котором исследуются факторы исторического процесса, что вполне объяснимо с учетом интереса Хвостова к социологии. В Отделе первом «Место истории в системе научного знания» автор рассматривает природу исторического знания в широком философском контексте. Исследуя философские основания научного знания как такового, он, вполне в духе неокантианства, видит специфику исторического знания в его предмете, который составляют «отдельные неповторяющиеся события и состояния во всей и конкретности со всеми особенностями» [Хвостов В.М. Указ. соч. С. 13] и, как и Лаппо-Данилевский, выявляет принципиально важное значение проблемы «чужой психики» и психологической причинности в истории.

Е.Е. Савицкий (РГГУ, Москва)

Обучение анахронизму в преподавании истории: опыт XIX и конца XX в.

Значительную часть книги «Св. Франциск: апостол нищеты и любви» В.И. Герье посвятил критике анахроничных образов прошлого. В то же время «Очерк развития исторической науки» содержит известные размышления Герье о том, что немецкие историки последнее время с недоверием относятся к философии истории и потому теряются в мелочах. Между тем, по мнению Герье, именно современная философия позволила нам лучше понять историческое развитие языка, государства, религии. Герье оговаривается при этом, что в философии важны не столько выдвигаемые ею априорные идеи, по которым можно было бы конструировать факты, сколько «возвышение» и «укрепление» нашей мысли, ее способность «бросить свет» на те области

духовной жизни, на которые мы ранее не обращали внимания [С. 85].

Такие высказывания Герье можно истолковать как стандартное различие «метафизической» и «критической» функций философии. Но в том, что Герье говорит дальше о языке, государстве и религии больше как раз метафизики. Но меня тут интересует не столько это, сколько примечательное темпоральное удвоение в рассуждениях Герье. С одной стороны, мы должны избегать приспособления исторических персонажей к своему времени, но с другой – история непостижима для нас без асинхронности, возникающей тогда, когда текст источника встречается с нашими способами рассуждений. Речь идет не о том, что мы просто принадлежим нашей культуре и потому волей-неволей воспринимаем все иначе, чем человек прошлого. От такого «культурологического релятивизма», как это назвали бы позднее, Герье абсолютно далек. Для него речь идет именно о сознательной асинхронности, я бы даже сказал – о стратегическом использовании анахронизма. Как же соотносится это с однозначными высказываниями Герье в книге о св. Франциске?

То, что борьба с анахронизмами была важной составляющей профессионализации исторической науки в XIX в., является общим местом, и настолько несомненным, что в XX в. в Европе классики «новой культурной истории» противопоставляли себя более старшим коллегам, бравируя именно использованием анахронизмом. Так, одной из заслуг Ж. Ле Гоффа считается то, что он преодолел кажущееся противоречие между интересом к личности прошлого и сознательной модернизацией этого прошлого. На значимость этого преодоления указывал Ж.-К. Шмитт [Schmitt J.-C. Le séminaire // L'ogre historien: Autour de Jaques Le Goff. P., 1998. P. 18-19]: чтение «документов» в семинаре было связано с их «избыточной интерпретацией», заключающейся во «всегда умышленном анахронизме», который, однако, «как раз и позволяет выявить то, что есть особого в некоей культуре или эпохе». На теме «игры со временем» особо останавливается и Ж. Ревель. Говоря о книге Ле Гоффа «Интеллектуалы в Средние века», Ревель обращает внимание на то, что именно «сознательное использование диссонирующего, или во всяком случае необычного» для медиевистики понятия «интеллектуаль» позволило Ле Гоффу увидеть новизну и специфичность роли клириков в обществе XII-XIII вв. [Revel J. L'homme des "Annales"? // L'ogre historien. P. 46-47]. Особое значение книге об

интеллектуалах придает и К. Помьян: если первая книга Ле Гоффа была вполне стандартной для интеллектуальной ситуации 1950-х гг., то первым поистине оригинальным произведением следует считать работу об интеллектуалах, благодаря тому «удачному анахронизму», который содержится уже в ее заглавии [Pomian K. Temps, espace, objets // L'Ogre historique. P. 73]. Таким образом, французские историки явно дистанцируются от школьных поучений в духе Ланглуа и Сеньобоса, что историку следует избегать анахронизмов.

Можно ли сказать, что в конце XX в. возвращается та же идея анахронизма, что высказывалась и критиками ранкианства в XIX в.? Ле Гофф никогда не скрывал своего восхищения романтиком Мишле. Герье, однако, хотя и ссылается на Гумбольдта и Гегеля, мыслит совсем не как романтик, в его словах о «возвышении» нашей мысли нет ничего экстатического. Герье иронизирует по поводу «увлекающейся природы» Ф. Шлегеля [С. 73]. Таким образом, мы имеем тут дело с иным, чем романтический, анахронизмом, причём с таким, который, по-видимому, был уже непонятен историкам в XX в. Возможно, это слишком сильно сказано, но мне представляется, что в работах Герье с их сопротивлением тогдашним тенденциям к профессионализации исторического знания по ранкианской или позитивистской модели есть мысли, который позднее оказались вытеснены историографией. Об этом в 1990–2000-е гг. много писалось применительно к западной историографии – мы потому так легко разделились в XX в. с теоретическим наследием «позитивистской» или «традиционной» историографии, что ее содержание до этого было предельно стерилизовано, историки XIX в. превратились в безопасных и благопристойных классиков-основателей академических дисциплин. Не знаю, насколько правомерно с таких позиций подходить к текстам Герье, но вопрос об анахронизмах – опасный для исторической профессии, показался мне в этом смысле крайне примечательным, и я бы особенно выделил две мысли.

Во-первых, критикуя анахронизмы, Герье выступает против анахронизмов особого рода – анахронизмов, условно говоря, по Ле Гоффу, когда мы сознательно приближаем прошлое к нашему времени, заявляем о праве на особое прочтение истории исходя из современного культурного опыта. Потому что, на самом деле, в таких размышлениях и заключена синхронность, в них нет временного разрыва с его критическим (в кантианском смысле) потенциалом. Прошлое является нам понятным, «субъективно» интерпретированным, приемлемым.

И тут важна вторая, на мой взгляд, очень своеобразная мысль Герье. Это именно то, к чему он приходит в заключении «Очерка развития»: «в свои мечтания о прошедшем и о будущем люди всегда вносили современные нужды и потребности», и «только постепенно вырабатывалось сознание, что прошедшее имеет свои права», и «что целью историка должно быть отыскание объективной истины» [С. 112]. Тут важно уметь услышать эти слова в их необычности. Прошлое для Герье «имеет свои права» – не историческая наука, но само прошлое, которое выступает тут как будто активное действующее лицо, способное возражать нам и защищаться от нас, а не приспособливаться под наши вопросы. И в этом смысле «отыскание объективной истины», о котором пишет Герье, можно понимать как отыскание такой истины, целью которой не является соотноситься с нашей субъективностью, быть приемлемой и понятной, синхронной нам; истина должна представлять перед нами в своей «объективности», не позволяющей подстроить ее под «наши мечтания», препятствующей им, остающейся неприятно неассимилируемой.

Таким образом, требование «объективности» у Герье непосредственно смыкается с идеей асинхронности прошлого, но не как его отделенности от настоящего, а в анахроничной «философской» соотнесенности с ним. История для Герье, таким образом, существует в двойном времени, и потому его претензии к писавшим о св. Франциске не следует трактовать как лишь историцистские.

И.Г. Серёгина (Тверской ГУ)

**Н.В. Ефременков и развитие историографии
и источниковедения в Калининском (Тверском)
государственном университете в 1970-х – начале 1990-х гг.**

1970-е – начало 1990-х гг. ознаменовались развитием высшего образования и научных исследований всех направлений в провинциальных вузах СССР. Это было связано как с развитием науки в СССР в целом, так и преобразованием ряда провинциальных институтов, в первую очередь педагогических, в университеты. Не являлась исключением и историческая наука. Хотя условия ее деятельности сильно отличались от условий деятельности естественных и математических наук. В первую очередь тем, что историческая наука находилась в условиях жесткого идеологического контроля со стороны партийно-

государственных органов и идейного ограничения существующими условиями монометодологического диктата. Тем не менее, определенные достижения были налицо.

Калининский государственный педагогический институт им. М.И. Калинина был преобразован в Калининский государственный университет в 1971 г. Ректор университета – известный историк В.В. Комин предпринял ряд решительных мер по обеспечению соответствия кадрового потенциала вуза его статусу. В начале 1970-х гг. в университете стал работать ряд докторов наук, профессоров в области физики, математики, истории. Среди них был доктор исторических наук, профессор Н.В. Ефременков, который до этого работал в Уральском государственном университете.

Н.В. Ефременков начал работать в Калининском государственном университете с 1971 г. деканом исторического факультета. С 1976 г. он заведовал кафедрой историографии и источниковедения, которая была создана по его инициативе, и которую он возглавлял более одиннадцати лет, а затем работал профессором этой кафедры.

Н.В. Ефременков внес большой вклад в становление и развитие университетского исторического образования в Калинин (Твери). Он начал систематическое чтение курсов по историографии и источниковедению, разработал систему их методического обеспечения.

Одним из важнейших направлений работы Н.В. Ефременкова в области историографии и источниковедения была издательская деятельность. В 1977–1992 гг. под руководством Н.В. Ефременкова кафедрой историографии и источниковедения было издано 17 межвузовских сборников научных трудов. Все сборники были посвящены проблемам историографии и источниковедения революционного и последующих периодов отечественной истории вплоть до конца 1930-х гг., а также проблемам изучения и преподавания истории отечественной исторической науки и источниковедения.

Новаторской идеей и ее реализацией явилось издание под руководством Н.В. Ефременкова трех сборников, посвященных историографической, источниковедческой и методологической подготовке студентов-историков в университетах [Историографическая культура студента-историка: этапы формирования, содержание, значение. Калинин, 1989; Источниковедческая культура студента-историка. Тверь, 1990; Методологическая подготовка студента-историка. Тверь, 1991]. Н.В. Ефременков акцентировал внимание не только на том, что студентам

необходимо изучать историографию, источниковедение и методологию истории, но следует формировать у них соответствующую культуру, которая является основой фундаментальной подготовки профессиональных историков. Благодаря научно-педагогическому авторитету Н.В. Ефременкова удалось объединить усилия преподавателей 11 вузов страны, которые в своих статьях уделили большое внимание подготовке студентов в области историографии, источниковедения и методологии истории: Волгоградского, Днепропетровского, Ленинградского (Санкт-Петербургского), Горьковского (Нижегородского), Калининского (Тверского) Саратовского, Уральского, Челябинского, Ярославского университетов; Николаевского и Смоленского пединститутов.

В сборниках выдерживается единый принцип построения: определяется место курсов в системе исторических дисциплин, изучаемых на исторических факультетах, место методологических, историографических и источниковедческих вопросов в других общих исторических курсах (отечественной и всеобщей истории), а также в специальных дисциплинах, в курсовых и дипломных работах студентов, в работе учителя истории. Материалы сборников позволяют провести сравнительный анализ и определить общую картину состояния методологической, историографической и источниковедческой подготовки историков в ряде ведущих вузов страны и выявить то особенное, что присуще каждому вузу в отдельности.

Много внимания Н.В. Ефременков уделял изучению источниковедения. Одной из черт источниковедческих взглядов Н.В. Ефременкова являлся комплексный подход к формированию и исследованию источниковедческой основы той или иной проблемы как одного из условий многогранного, разнопланового, более емкого ее изучения. Основное внимание в статьях ученых, приглашаемых участвовать в сборниках, уделялось изучению комплексов источников различных проблем либо обстоятельному анализу одного или нескольких видов источников в источниковедческом комплексе проблемы.

Таким образом, Н.В. Ефременкову удалось сконцентрировать усилия руководимой им кафедры на изучении актуальных историографических и источниковедческих аспектов общего и специального характера, привлечь к изучению этих проблем, как ведущих, так и молодых ученых ряда университетов, пединститутов, академических институтов СССР, которые приняли и поддержали его инициативу. Коллег привлекало внимательное и уважительное отношение

Н.В. Ефременкова к людям и результатам их труда, его умение генерировать научные идеи и создавать творческие коллективы для их реализации.

Т.В. Чумакова (Санкт-Петербургский ГУ)

Преподавание философских дисциплин в Санкт-Петербургском университете в XIX в.

В Санкт-Петербургском университете, созданном в 1819 г. на базе Главного педагогического института, сохранилось деление на факультеты, существовавшее в Педагогическом институте. По образцу Французского национального института в нем было три отделения: наук философских и юридических; наук физических и математических; наук исторических и словесных. Однако 1819 г. не был счастливым годом для русской университетской философии. С 1817 г. в России происходит усиление идеологического давления на учебные заведения. В манифесте, подписанном императором Александром I 24 октября 1817 г., были заявлены цели реформы народного просвещения в России. Оно отныне нераздельно связывалось с религиозным благочестием: «желая, дабы христианское благочестие было всегда основанием истинного просвещения». С 1819 г. в университетах учреждаются кафедры богословия и вводится преподавание Закона Божьего в гимназиях. Целью образования объявлялось достижение «согласия между верою, ведением и властью, или, другими выражениями, между христианским благочестием, просвещением умов и существованием гражданским». А.С. Стурдза, член Ученого комитета при Министерстве духовных дел и народного просвещения, считал, что все ветви просвещения должны соотноситься с тремя началами: Богом, человеком и природой, которым соответствуют теология, антропология и физико-математические науки. Особенная осторожность рекомендовалась по отношению к книгам по философии и естествознанию. Все преобразования сводились к одной цели – изгнанию «опасного духа» философского вольномыслия и установлению согласия между «верою, ведением и властью». Особенно это касалось Санкт-Петербургского университета, который был в первую очередь предназначен для подготовки чиновников, и в отличие от Московского университета, где в некотором отдалении от имперской столицы, было возможно философское

свободомыслие, в Санкт-Петербургском оно всячески пресекалось.

Надо сказать, что в Новое время политические и общественные движения часто ставились в причинную зависимость от различных философских течений, и позиция российского правительства, главной задачей которого было сохранение традиционного государственного устройства, была не оригинальна, страх перед философией испытывало в 20-30-х гг. XIX в. и правительство Франции, которое также ограничило философские курсы, и даже почти запретило чтение лекций по философии в Париже, где в конце 20-х гг. их читал лишь один Maugras.

Понимание роли философии в учебном процессе, метода ее преподавания нашло отражение в инструкции, полученной А.И. Галичем еще при его отправке за границу в 1808 г. Там говорилось о предметах, которые должен изучить будущий философ: этика, право, политика, история философии и педагогика. Метафизику рекомендовалось изучать под руководством надежного преподавателя, поскольку метафизика «служит игрищем различных сект и имеет величайшее влияние на направление мысли».

Первые три года на юридическо-философском факультете университета лекции по философии читали П.Д. Лодий и А.И. Галич. Это были курсы логики, психологии, нравственной и теоретической философии, истории философских систем и естественного права. При чтении лекций пользовались как собственными записками, так и учебниками Баумейстера. Философия на факультете изучалась только на первом курсе. Однако, в этот период в университете преподавались и другие философские дисциплины, в частности, эстетика. Эстетику в XIX в. преподавали профессора словесности. Первым ее читал Н.И. Бутырский. Философски ориентированными были и другие курсы университета, и в первую очередь курс естественного права, с 1819 по 1821 гг. в университете его читал А.П. Куницын.

После «профессорского дела» 1821 г. в Петербургском университете была принята схема изучения философии, введенная Магницким в Казанском университете. После реформы высшего образования 1835 г. философия (логика и антропология) стала обязательным предметом с 1835 г. для студентов всех факультетов. Единственным преподавателем философии в университете стал А.А. Фишер. С 1836 по 1845 г. он читал курсы психологии, логики, нравственной философии, метафизики и истории философских систем, а с 1837 г.

преподавание формальной логики в связи с высоким уровнем подготовки гимназистов он заменил преподаванием реальной логики и теории познания. Читал Фишер как по собственным запискам, так и по учебникам Эрлиха «Метафизика и рациональная онтология», «О назначении человека». Стремясь уберечь философию от запрещения, он доказывал, что главным источником ее является Бог, а предмет философии составляет познание первых оснований, первоначально узаконенных отношений и последних целей сущего. Изучение ее, согласно публикациям и выступлениям Фишера, основывается на религиозности, верности монарху и повиновении законам. Вряд ли это было личным мнением Фишера. Скорее всего, этот порядочный и переживающий за университетское образование человек, с помощью подобных заявлений старался уберечь философию от полного запрещения.

В эти же годы в Петербургском университете преподавал А.В. Никитенко. В своей диссертации, лекциях и выступлениях Никитенко одним из первых в России уделял значительное внимание эстетике. Так на историко-филологическом отделении философского факультета экстраординарный профессор Никитенко читал в 1836–1837 гг. следующие курсы: «Основания философского языкоучения в приложении к отечественному языку, с критическим изложением развития и усовершенствования сего последнего», «Теорию прозаической словесности», «Философию изящного, и Теорию Поэтической словесности» (все по собственным запискам). По свидетельству современников, лекции профессора Никитенко «об изящном» не только развивали в слушателях эстетический вкус, но и восполняли пробел в философском образовании. В своих лекциях Никитенко, помимо эстетики, уделял значительное внимание проблемам философии языка, а также философскому исследованию литературы, искусства и науки.

В конце 40-х гг. философия оказывается почти под запретом. «Германская» философия признается «вредной» для юношества. Лишь «безвредная» логика сохраняет право на существование, поскольку помогает правильно мыслить, что необходимо для изучения других предметов, и кроме того предполагается сохранение опытной психологии с переосмыслением ее в духе «благодати Божией». По предложению Николая I преподавание психологии было возложено на профессоров богословия. В 1850 г. Высочайшим повелением курс философии был ограничен логикой и опытной психологией с присоединением этих курсов к кафедре

богословия. Программы по этим наукам должны были составляться совместно с духовным ведомством, кафедра философии была упразднена.

В Санкт-Петербургском университете 26 января 1850 г. философский факультет был упразднен, и его отделения были преобразованы в два самостоятельных факультета: историко-филологический и физико-математический.

Часть 6. ИСТОРИЯ ИСТОРИЧЕСКОЙ МЫСЛИ И ИСТОРИЯ ИСТОРИОГРАФИИ КАК АКАДЕМИЧЕСКИЕ ДИСЦИПЛИНЫ

Г.В. Бакус (Тверской ГУ)

Прошлое и ученая традиция в трактате Ульриха Молитора *De Laniis et Phitonicis Mulieribu*

Tantis historijs & auctoritatibus me impellis, vt ne sciam quorsum me vertam (Мне привели столько историй и авторитетов, что не знаю даже к которому обратиться) – эту жалобную реплику Ульрих Молитор вложил в уста эрцгерцога Сигизмунда Габсбурга, который был заявлен в качестве одного из персонажей трактата. Эта реплика весьма показательна; она исходит от светского властителя, оказавшегося в гуще полемики по одному из самых злободневных вопросов конца XV в. – ученой дискуссии о сущности злонамеренного колдовства (*maleficia*). Важно подчеркнуть, что дискуссия эта не являлась отвлеченным обсуждением умозрительных конструкций; напротив она возникает и развивается вокруг острой конфликтной ситуации, поводом к которой послужил скандал вокруг инквизиционной деятельности Генриха Инститориса в г. Инсбрук. Именно в этом проявляется специфика *De Laniis et Phitonicis Mulieribus*, поскольку позиция автора трактата демонстрирует некоторую двусмысленность: Ульрих Молитор настаивает на том, что *maleficia* – это проблема, наибольшая острота которой проявляется именно здесь и сейчас в силу своей злободневности и малоизученности, однако наиболее значимым ориентиром в системе доказательств «доктора права из Констанца» выступает античная и раннехристианская интеллектуальная традиция.

В Послании к эрцгерцогу Сигизмунду автор сочинения пишет, что «напасть неких ланий и жен-заклинательниц» (*pestis quarundam laniarum et incantatricum mulierum*) поразила землю его Превосходительства «в предшествующие годы» (*cum superioribus annis*). Из этого и возникают закономерные сложности в квалификации преступных деяний, а вместе с ними – повод для определенных амбиций Молитора (заявленных фразой «я в этом вопросе разумею» (*ego in ea re sentire*)). Основная задача, которую решает Молитор в своем сочинении, – определение юридического статуса обвиняемых в злонамеренном колдовстве; она решается посредством рассмотрения набора традиционных обвинений, выдвигаемых против ведьм через призму классической литературной традиции. Ощущение двойственности особенно усиливается на фоне тех деталей из современной Молитору действительности, которые автор

счел необходимым включить в текст. Своеобразие *De lanis et phitonicis mulieribus* заключается в том, что *dramatis personae*, представленные в нем, были лицами историческими, знакомыми более чем хорошо современникам. Помимо самого Ульриха Молитора, в текст повествования были введены еще два действующих лица. Это Конрад Шатц, который очевидно занимал пост бургомистра в Констанце, в латинском тексте он представлен (от лица Молитора) как *Conradus Schatz, Prætor meæ ciuitatis*, в немецком переводе начала XVI в. значится *bürgermeister zu costentz*, в переводе Лаутенбаха середины XVI в. – *unser Städtmeister*, и последний представитель Тирольской ветви дома Габсбургов Сигизмунд (1439–1490), который в трактате именуется «светлейшим князем, эрцгерцогом Австрии, Штирии, Каринтии и проч.» (*Illuſtriffimus Princeps, Dominus Sigifmundus Archidux Auftriæ, Stiriaë, Carinthiaë, & c.*). Особый интерес представляет тот факт, что персонажи, имеющие реальные и узнаваемые прототипы, в тексте трактата никогда не ссылаются на собственный опыт, воспроизводя исключительно книжные сентенции.

Общий ход рассуждений лучше всего иллюстрирует структура третьей главы трактата, посвященная вопросу о том, могут ли люди изменять образы и внешность свою в иные формы (*utrum possint hominem ymagines et facies eorum in alias formas immutare*). Дискуссию начинает эрцгерцог Сигизмунд, озвучивающий положения канона *Episcopi*. Ему возражает Конрад Шатц, ссылаясь на авторитет *Historiographos*, под которыми понимаются поэты Лактанций и Вергилий, особое значение имеет 8 эклога «Буколик» последнего, где идет речь о царице Цирцее, превратившей в зверей спутников Одиссея (*in animalia diuersarum specierum conuersi sunt*): «и одного в волка, другого в осла, третьего же во льва» (*vnusque in lupum, alter in asinum, alius vero in leonem*).

В целом, система аргументации Молитора сводится к трем основным компонентам. Это книги Священного Писания и отцов церкви, а также позднейшие схоластические сочинения. Особое место занимает сочинение Августина Блаженного «О граде Божьем», упомянутое по меньшей мере 18 раз. С особым почтением Молитор упоминает Петра Дамиани (*Petrus Damianus*), который наделяется эпитетом «муж ученейший» (*vir eruditissimus*) или же «муж великого авторитета» (*vir magnæ auctoritatis*), и Северина Бозция, значение которого подчеркивается эпитетом *Doctor catholicus*. Среди прочих сочинений средневековых авторов упоминаются «Зерцало природы» (*Vincentius in speculo naturali*) Виценция из Бовэ и *Summa copiosa*, известная также как *Aurea Summa* «господина Гостиенсиса» (*dominus Hofstien. in fumma*), и «История» Уильяма Малмсберийского (*Guillelmus Malmesberienſis monachus, in historia ſua*). В своих рассуждениях автор *De Lanis et Phitonicis Mulieribus* активно использует также и

популярную литературу. В основной своей массе это агиография, которая представлена житиями святых Симона и Иуды (*legenda sanctorum Simonis & Iudæ*), Антония (*legenda sancti Antonij*), Клементя (*historia sancti Clementis*), Якова (*in legenda sancti Iacobi*), Мартина (*legenda sancti Martini*), Бернарда (*historia sancti Bernardi*), Германа (*legenda sancti Germani*) и Блаженного Петра (*historia Beati Petri*). Единственным исключением в этом списке являются «Истории Арктура, короля Британии» (*historia Arcturi Regis Britanniae*). И, наконец, к особой группе источников можно отнести произведения классической словесности.

На фоне обширного корпуса цитируемой литературы наиболее отчетливо проявляется главное отличительное качество сочинения Ульриха Молитора как демонологического трактата, а именно – полное отсутствие *experientia* или *exempla* из актуальной судебной практики. Ни признания подсудимых, ни показания свидетелей автора *De laniis et phitonicis mulieribus* не интересуют. Они не рассматриваются вовсе в силу противоречивости и отсутствия аналогов в известной автору литературе; рассуждая о природе магии и злонамеренного колдовства, Молитор тем самым обозначает свой главный критерий достоверности: истинно то, что уже было описано. Именно прошлое, опосредованное латинской книжной традицией, выступает в качестве основного ориентира при решении насущных проблем современности. Трактат *De laniis et phitonicis mulieribus* свидетельствует о том, какое место занимала история в системе ценностей европейского интеллектуала конца XV в., подвизавшегося на поприще поиска ведьм.

В.П. Богданов (МГУ, Москва)

Памятники литературы как исторические источники и факт историографии (на примере изучения старообрядчества)*

Поиск новых источников и «общественное служение» определяет работу историка. В своих трудах исследователи показывают степень новизны и востребованности темы (со стороны ученого мира и остального общества), глубину проработки её на источниковом материале. Поиск новых источников толкает ученых на работу в архивах и «поле». Как ни парадоксально, увеличение и усложнение источникового материала приводит к усугублению

** Работа выполнена при финансовой поддержке Грант Президента РФ № МК-2285.2011.6.

пропасти между ученым сообществом и остальным социумом: отсылки на труднодоступные документы, раритетные публикации делает работы историков непонятными непрофессионалам. Для большинства потенциальных потребителей исторических знаний поисковая работа оправдана только в случае нахождения сенсации. Помочь исследователям расширить источниковую и историографическую базу, а вместе с тем вести разговор с обществом на понятном языке, может привлечение в качестве исторических источников художественных произведений. Ниже рассмотрим это на примере истории старообрядчества.

«Открытие» старообрядческой темы совершили писатели-романтики, обращавшиеся к сюжетам из русской истории (М.Н. Загоскин, И.И. Лажечников). Их романы были написаны в годы становления общественных лагерей славянофилов и западников и являются важным источником по мировоззрению русского общества того времени. Каких-либо жизненных черт старообрядцы в романах Загоскина и Лажечникова не имеют. Старообрядчество в них выступает как некая «тёмная сила» (например, Андрей Денисов), противостоящая главным героям. Только в произведениях 1850-х – 1890-х гг. тема старообрядчества приобретает более историчные черты. Примечательно, что в это время А.И. Герцен и народники пытались найти в староверах исконный тип русских революционеров. Н.С. Лесков, П.И. Мельников-Печерский обратились к жизни современных им староверов; их произведения имеют важную историко-этнографическую ценность. Исследователь В.В. Боченков показал, что в своих сочинениях П.И. Мельников-Печерский довольно точно отразил и этические представления старообрядцев (например, отношение к труду), а также сведения, которые либо не отражены другими источниками, или искать их довольно трудно (например, сведения о старообрядческих типографиях) [Боченков В.В. П.И. Мельников(Андрей Печерский): мировоззрение, творчество, старообрядчество. Ржев: Маргарит, 2008]. В сочинениях этих авторов нередко показано даже отношение общества к староверам. Показательно, что в повести «Зимний вечер» (1894 г.) Н.С. Лескова есть такие слова: «какая у них есть отличная манера: как старичку стукнет шестьдесят лет, он от сожительницы ... прочь... живет, читает Богословца или Ключ разумения... Я это, право, хвалю».

На рубеже XIX–XX вв. старообрядческие образы в русской литературе опять теряют конкретные очертания. Писатели снова обращаются к отдаленным образам основателей этого движения. К образу и творчеству Аввакума обращались Д.С. Мережковский, М.А. Волошин, А.И. Несмелов, М.М. Пришвин, М.А. Кузьмин, А.М.

Ремизов и В.Т. Шаламов. После указа 1905 г. об укреплении начал веротерпимости» наступил «золотой век» старообрядчества, когда оно доказало русскому образованному обществу свою историческую правду: В.Ф. Эрн прямо писал, что «в общественном отношении все преимущества как будто на стороне церкви старообрядческой» [Эрн В.Ф. Старообрядцы и современные религиозные запросы // Живая жизнь. 1908. № 1. С. 11]. Примечательно: в поэме «Двенадцать» (1918 г.) А.А. Блок пишет имя Христа по-староверски – Исус.

В Советской России 1920-х гг. Аввакум и его последователи были провозглашены одними из первых борцов за освобождение трудового народа. В оде «Ленин» (1918 г.) Н.А. Клюев пишет:

Есть в Ленине керженский дух,
Игуменский окрик в декретах,
Как будто истоки разрух
Он ищет в «Поморских ответах».

М. Горький в романе «Жизнь Клима Самгина» (1928–1930) приводит список русских бунтарей: «От... Аввакума протопопа (выделение наше – В.Б.) до Бакунина Михаила, до Нечаева» [Розанов Ю. Протопоп Аввакум в творческом сознании А.М. Ремизова и В.Т. Шаламова // К столетию со дня рождения Варлама Шаламова: материалы Международной научной конференции (Междунар. конф., посвящ. 100-летию со дня рождения В.Т. Шаламова, Москва, 18–19 июня 2007 г.). – М.: [б. и.], 2007. – С. 301–315]. Видимо, писателей привлекал не сам исторический тип, а обобщенный образ оппозиционеров.

В дальнейшем старообрядчество как религиозное течение было осуждено и не привлекало исследователей. Новое обращение к нему в 1960-70-е гг. стало возможным только с точки зрения антифеодального протеста (как это было и в 1920-е гг.) [См., например: Покровский Н.Н. Антифеодальный протест урало-сибирских крестьян-старообрядцев в XVIII в. Новосибирск, 1974]. В это время «реабилитация» старообрядчества обуславливалась двумя совершенно разными процессами.

Первый – репрессии советского периода и начавшаяся в конце 1950-х «оттепель». Второй – внимание к полевой археографии и начавшиеся в 1960-х гг. археографические экспедиции. И труднодоступные места ссыльнопоселенцев, и маршруты археографов проходили через места компактного проживания старообрядцев. Представители интеллигенции, соприкоснувшиеся с носителями традиций «древлего благочестия» уже по-другому смотрели на историю Раскола. Только после лагерных лет могла быть сформулирована мысль А.И. Солженицына: «... русский характер сохранялся в среде старообрядцев» [Солженицын А.И. Россия в обвале.

М., 1998. С. 167]. Только после многих экспедиций мола быть сформулирована мысль: «старообрядцы сохранили многие архаичные черты традиционной культуры... Старообрядчество, сохранившее книжность и яркие самобытные черты традиционной культуры, всегда привлекало пристальное внимание исследователей – археографов, этнографов, лингвистов, фольклористов, историков» [Черных А.В. Русские старообрядцы. – URL : [http://enc.permkultura.ru/showObject.do?object= 1803972154](http://enc.permkultura.ru/showObject.do?object=1803972154) (дата доступа: 5.02.2012)]. Примечательно, что окончательное возвращение темы старообрядчества (с освобождением от постулата об антифеодальном протесте) в русскую культуру совпало с возвращением наследия русского «духовного ренессанса» (термин Н.А. Бердяева) и эмиграции и пришлось уже на последние годы советской эпохи.

Таким образом, художественные произведения являются важным фактом историографии, поскольку отражают отношение общества к той или иной проблеме. Кроме того, они предоставляют историку конкретно-историческую информацию (нередко уникальную). Важно подчеркнуть, что в случае с художественными образами историк имеет дело с произведениями искусства, которые доступны не только ему и его работа может проверяться не только коллегами, но и всем обществом. Это обстоятельство и может способствовать преодолению разрыва между обществом и историками, о котором шла речь в начале.

Д.А. Добровольский (РГТУ, Москва)

Историописание или историография: к типологической характеристике русских летописей

Так сложилось, что курс истории исторической науки в России включает в себя — пусть и с оговорками — характеристику исторического мышления древнерусских летописцев, которые предстают, таким образом, если не первыми историками нашей страны, то, во всяком случае (воспользуюсь известной шуткой из «Записей и выписок» М.Л. Гаспарова), «убежденнейшими предшественниками» позднейших ученых [См., напр.: Рубинштейн Н.Л. Русская историография. [2-е изд.] СПб., [2008]. С. 17–26; Шапиро А.Л. Историография с древнейших времен до 1917 года. [СПб.], 1993; Сидоренко О.В. Историография отечественной истории (IX – начало XX вв.): учеб. пособие. – URL: http://window.edu.ru/window/library/pdf2txt?p_id=18325, режим доступа свободный; последнее посещение 19.03.2012 г.]. Этот подход не универсален: П.Н. Милуков, например, относил «создание русской национальной исторической теории» к XVI в. [Милуков П.Н. Главные течения русской исторической мысли. Изд.

3-е. СПб., 1913. С. 4], а А.М. Сахаров писал о «донаучном периоде» в эволюции «исторических знаний», простиравшемся «с древнейших времен до второй половины XVII в.»; характеристике этого «донаучного периода», впрочем, уделялось более 20 страниц [Сахаров А.М. Историография истории СССР: досоветский период. М., 1978. С. 17–44]. Логика сторонников сужения хронологических рамок русской историографии понятна: как подчеркивает А.М. Сахаров, «знание становится наукой вместе с формированием теоретического подхода к истории» [Там же. С. 9]. В то же время, современное мировосприятие, в значительной степени пронизанное духом постколониализма, подсказывает легкий путь опровержения сказанного: поскольку определение науки как теоретически нагруженного знания сформировано европейским опытом, который, очевидным образом, не универсален, то и разграничение научного / донаучного, производимое по данному критерию имеет смысл лишь в рамках европоцентристского подхода к осмыслению интеллектуального наследия человечества, очевидным образом не соответствующего современному распределению культурных достижений и экономических ресурсов. Поиски «глобальной перспективы историографического знания» неизбежно приводят нас к вопросу о границах исторической науки, проблематизируя, в том числе, и устоявшееся определение последней [ср.: Воробьева О.В. О глобальной перспективе историографического знания // История и историки в пространстве национальной и мировой культуры XVIII — начала XX века: материалы междунар. науч. конф. М., 2011. С. 110–113]. Время обратиться к анализу источников, поставив вопрос о степени соответствия летописания базовым критериям научности рассказа о прошлом.

Утверждения, что древнерусский книжник «и не пробует понять, что он пишет и переписывает, и, похоже, одержим одной мыслью – записывать все как есть» (В.В. Мильдон), вызывают заслуженное неприятие у специалистов-медиевистов [ср.: Данилевский И.Н. Древняя Русь глазами современников и потомков: курс лекций. М., 1998. С. 11–14]. Летописцы, несомненно, далеко продвинулись в деле осмысления излагаемых событий: значительная часть сообщений сопровождается оценкой происходящего. Более того, летописный рассказ выстроен прежде всего по хронологическому принципу. Как следствие, одна сюжетная линия может с легкостью вклиниться в другую, а последовательное изложение ряда взаимосвязанных событий требует специальных приемов (в частности, введения зачастую не оговоренных ретроспекций). Однако и в таких условиях книжники находили возможность выявлять причину и следствие и делать предположения о движущих силах истории: «се [нападения степняков – Д.Д.] бо есть

багогь его, да негли, встягнувшеса, вспомянемься от злаго пути своего, сего ради в праздники Богъ наводитъ сѣтованье». [Полное собрание русских летописей. М., 1997. Т. 1. Стб. 222]. Наконец, в летописи можно обнаружить и эксплицитную полемику с не устраивающими книжника представлениями [например, с легендой о Кие-перевозчике – Там же. Стб. 9–10; следы опровергаемой точки зрения сохранились в Новгородской I летописи младшего извода – ПСРЛ. М., 2000. Т. 3. С. 103]. Появление подобного рода рассуждений отдаляет древнерусское летописание (во всяком случае – лучшие его образцы) от «стандартов» архаического повествования о прошлом, приближая его, одновременно, к современной историографии.

Вместе с тем, летописцы не были последовательны в задействовании собственных «историографических возможностей». Так, в начале Повести временных лет помещен не разделенный на годовые статьи фрагмент, традиционно именуемый введением [Там же. Стб. 1–17]. Основное содержание этого отрывка — этногеография Восточной Европы с особым акцентом на расселение восточнославянских племен. Однако единого списка этих племен в летописи нет: читателю предлагаются пять вариантов перечисления, которые слабо соотносятся между собой по составу и структуре. Такая непоследовательность может быть связана с общим презрительным отношением книжников к собственному племенному прошлому. Примечательно, вместе с тем, что во введении практически не нашлось места для описания генеалогии и расселения степных народов, хотя «половецкий фактор» был одним из важнейших в излагаемой далее истории Руси. Пробел восполняется в статье 6604 (1096) г., где помещена специальная справка о происхождении кочевников. Но историограф *sensu stricto*, несомненно, внес бы соответствующую правку в начальную часть летописного рассказа. Если же этого не сделано, то значит перед книжниками не стояла фундаментальная для науки задача экспликации объекта своих рассуждений.

Показательно то, в каких контекстах летописцы ссылаются на мемориальные объекты, выступающие свидетельствами излагаемых событий. Б. Гене уверенно соотносит многочисленные упоминания таких объектов у западных авторов эпохи Средневековья с источниковедческими наблюдениями современных историков; лишь недостаток материала, полагает французский ученый, привел к тому, что «история была в Средние века вспомогательной наукой, не имевшей никаких вспомогательных дисциплин» [Гене Б. История и историческая культура средневекового Запада. М., 2002. С. 106–107]. Однако более убедительной представляется позиция Я. Банашкевича, который, признавая значение мемориальных объектов как

свидетельств, подчеркивает их символическую нагруженность и способность освящать окружающее пространство, формируя ценностные структуры [Banaszkiewicz J. Usque in hodiernum diem : średniowieczne znaki pamięci // Przegląd historyczny. 1981. Т. 72, zesz. 2. S. 229–237]. Летописцы обращаются к физическим объектам как к свидетельствам. Так, драматический рассказ об ослеплении Василька Теребовльского прерывается деловым замечанием «и есть рана та **Василкѣ и нынѣ**» [ПСРЛ. Т. 1. Стб. 261]. Однако наибольшее число мемориальных объектов, известных летописанию XI – начала XII в., связано с деятельностью первых русских князей, выступающих в данной связи едва ли не в качестве особого рода демиургов. Сани Ольги, которые **«стоять въ Плесковѣ и до сего дъне»**, — это не **«прообраз музейного** предмета, а наглядный символ княжеской власти. Снова летописец выступает не как исследователь, а как один из представителей культуры, считающих соответствующий символический код.

Летописный жанр оказался весьма живучим: отдельные произведения такого плана создавались даже в начале XX в. [ПСРЛ. Л., 1892. Т. 37. С. 3]. Однако он очевидным образом не предполагал того жесткого противопоставления субъекта и объекта исследований, которое представляется базовым для историографии. Оставаясь феноменом историописания, летопись является, вместе с тем, продуктом неисториографического этапа в истории культуры. С практической точки зрения сказанное означает, среди прочего, что было бы целесообразно изъять рассмотрение летописей из курса истории исторической науки (возможно предусмотрев на более высоком уровне образования чтение более широкого курса по истории исторических знаний / исторических представлений).

М.И. Козлова (Сыктывкарский ГУ)

Античность в «Историях Российских» XVIII в. (опыт М.М. Щербатова и Ф.А. Эмина)

В XVIII в. особое значение приобрело изучение прошлого своего государства, актуализировалась «историографическая культура, тесно связанная с общественным сознанием и выполнявшая практические задачи конструирования национального прошлого, а также контроля над национальной памятью» [Маловичко С.И. Конструирование социально-политической истории Древней Руси в историописании Екатерины II // Русские древности: К 75-летию профессора И.Я. Фроянова. СПб., 2011. С. 370]. В этот период представители разных сословий занимались историописанием. Федор Александрович

Эмин (1735–1770, автор «Российской истории жизни всех древних от самого начала России государей») и Михаил Михайлович Щербатов (1733–1790, автор «Истории Российской от древнейших времен») стали выразителями взглядов определенных слоев. Как известно, М.М. Щербатов ориентировался на дворян, а Ф.А. Эмин – на «русских буржуа». Их мировоззренческие ориентиры повлияли на весь процесс историописания, в том числе и на обращение к античному наследию.

М.М. Щербатов говорит о том, что он использует античные источники, чтобы «с помощью безпристрастной критики лживое с истиной различить; также, употребляя засвидетельствовании иностранных писателей, в некоторых случаях тайные причины дел проникнуть». При этом М.М. Щербатов ссылается на сами источники, а Ф.А. Эмин, заимствуя факты преимущественно из иностранных текстов, не дает конкретных ссылок.

У историописателей встречаются рассуждения об отдельных фрагментах античных источников. М.М. Щербатов, например, писал, что «...есть повествование Иродотова о смерти Кира; однако оно весьма баснословно быть является, так, как и все, что он о Кире повествует; ибо Ксенофонт весьма верной и сходственной с священным писанием писатель». Как видим, М.М. Щербатов сравнивает труды античных авторов, чтобы определить достоверность их описаний. Ф.А. Эмин также указывал на использование произведений античных авторов в своем сочинении, например: «Плиний и многие естества изследователи утверждают, что есть такие птицы, которая оставляют свои гнезда, когда оныя тронет какая-нибудь рука». Но достоверность этой цитаты маловероятна. У Плиния есть информация об особенностях гнезд различных видов птиц, например, синицы, дятла и т.д., но приведенное Эмином рассуждение нами у Плиния не обнаружено.

Особое место имеют античные источники при описании образа Екатерины II. В начале своей «Российской истории...» Ф.А. Эмин сравнивает императрицу с древними мудрецами Ликургом и Солоном, что неудивительно, т.к. она была известна своими законодательными проектами: «Говорят, что Ликурга и Солона узаконения много грекам славы сделали; но при всем том мы зрим в их узаконениях много непросвещения и безчеловечья». Далее Ф.А. Эмин писал, что Ликург издал закон, по которому необходимо любить детей своих и ненавидеть рабов. На наш взгляд, такая интерпретация Ликурга является преувеличением. Спорным можно назвать высказывание о наличии закона, по которому женщины должны были биться «на кулаках» «нагими». В Древней Греции существовало такое устройство общества, при котором женщина не могла принимать участие в боях. Есть некоторая вероятность, что Ф.А. Эмин говорит о женщинах-

гладиаторах. Однако это имело место только в Древнем Риме и не было узаконено.

Ф.А. Эмин, перечисляя кажушиеся ему недостатки античной законодательной системы, подчеркивает, что дела Екатерины II наполнены «просвещением, премудростью, кротостью и такою справедливостью, которая ничего в себе жестокого и человечеству противного не имеет?». Ф.А. Эмин использует образы известных античных законодателей, но их заслуги он интерпретирует для демонстрации величия деяний «просвещенной императрицы», античные реминисценции в «Российской истории...» соответствуют общей верноподданнической и монархической концепции его сочинения.

По мнению Ф.А. Эмина, весомым аргументом, показывающим великодушие и заботу Екатерины II обо всех сословиях, является превосходство ее моральных качеств над подчеркнутым автором жестокосердием античных законодателей: «Славнейший Афинский Законодавец и многие римские велели губить тех рабов, кои о собственной пользе помыслили осмеливались; а наша **МОНАРХИНЯ, МАТЕРЬ И ЗАКОНОДАТЕЛЬНИЦА** о том старается, дабы и беднейшие рабы могли иметь что-нибудь собственное, чрез что могли бы быть несколько довольными».

Для М.М. Щербатова важным являлось то, что идеальный монарх должен содействовать развитию наук и искусств, а также способствовать формированию интеллектуальной элиты. Примерами для подражания у него выступали государственные и военные деятели – Фемистокл, Аристид, Алкивиад, а также полководцы Мильтиад, Конон. Многие из указанных М.М. Щербатовым философов (Анаксагор, Платон, Сократ) пострадали от власти. Скорее всего, дворянский историописатель показывал, что при Екатерине II, несмотря на ее стремление выглядеть «просвещенной государыней», российские интеллектуалы были подвержены гонениям и не могли открыто высказывать свои мысли. М.М. Щербатов также характеризует личность Екатерины II посредством античных реминисценций: «И Август, когда, вселенну покорив, врата Янусовы затворил; когда под благополучием его державою гордые римляне свою вольность забывали; тогда Тит Ливий, Саллустий, Вергилий и Гораций славу владычества умножали». С одной стороны, императрица сравнивается с Августом, вернувшим Риму мир и благополучие, воспетые названными выше историками и поэтами так называемого «золотого века» римской литературы, с другой, М.М. Щербатов напоминает о цене этого благополучия – потере свободы «гордыми римлянами». Полагаем, что упоминание в этом контексте Януса (римское божество входа и

выхода, изображаемое с двумя лицами, обращенными в прошлое и будущее) не случайно, ведь в переносном смысле «двуликим Янусом» называют лицемерного человека.

Таким образом, при написании официальной российской истории М.М. Щербатову и Ф.А. Эмину пришлось ориентироваться на государственные предпочтения. Но при этом М.М. Щербатов использовал античные реминисценции для критики политики «просвещенной императрицы», а Ф.А. Эмин – для восхваления ее заслуг. М.М. Щербатов упоминал известные сюжеты, чтобы его взгляды были восприняты просвещенными современниками, а Ф.А. Эмин, понимая, что представители интеллектуальной элиты XVIII века могут обнаружить недостоверность исторических фактов, использовал известных персонажей, но толковал их идеи и мысли в выгодном ему ключе.

В.П. Корзун, Д.М. Колеватов
(Омский ГУ им. Ф.М. Достоевского)

Историография как интеллектуальная генеалогия

Тема доклада, вынесенная в заголовок тезисов, отнюдь не означает, что авторы намерены переформатировать предметное поле историографии. Мы скорее пытаемся выявить то, что присутствовало в этом поле как нечто неявное, само собой разумеющееся, входило в ментальную составляющую нашей науки и в существенно редуцированном виде формулировалось в виде задач историографии как учебной дисциплины.

Как известно, историография в российском университетском образовании, наряду с методологией, традиционно относится к блоку рефлексивного знания и напрямую связана с процессом профессиональной самоидентификации. Частью этого процесса выступает создание дисциплинарной родословной, «поколенной росписи» исторической науки. В первом, наиболее видимом приближении, генеалогическое древо исторической науки предстает перед нами в учебниках и учебных пособиях, курсах лекций по историографии. Обратной стороной такого внимания явилось складывание представления о развитии исторической науки как о процессе исключительно кумулятивном.

Интерес современной науки к проблемам исторической памяти, в том числе к памяти корпоративной, взлет интеллектуальной истории, актуализировали проблему академической культуры. Как

отмечает И.М. Савельева «Подобно тому, как знание прошлого играет огромную роль в развитии больших социальных общностей, знание истории дисциплины, которой ты занимаешься, служит основой для самоидентификации в качестве одного из видов *homo academicus*...» [Савельева И.М. «Уроки истории» ученой корпорации // Мир историка. Вып. 7. Омск, 2011, с. 72]. Изменившийся интеллектуальный контекст необходимо предполагает обращение к системам нормативных и регулятивных ценностей («образа науки, идеала науки, задаваемых образцов»). Конечно же, ценностные ориентации неизбежно персонифицированы, представлены через деятельность референтных групп и героев научного мира (классиков), стимулирующих подражательно-имитационную активность, провоцирующих стремление (в той или иной степени) к сближению или даже слиянию с ними. Но в ценностно-мемориальном ракурсе наряду с парадными портретами классиков интеллектуальная генеалогия позволяет выделить точки ценностного обогащения науки, содержательной прерывности научного развития, персонифицированных когнитивных прорывах, сопровождавшихся острой конкуренцией различных моделей исторического исследования. Конкуренция исследовательских моделей является в тоже время конкуренцией различных ученых, школ, направлений.

История науки в существенных ее моментах переосмысливается/ переписывается заново и чаще всего это происходит через смену оценок символических фигур, которые воспринимаются как репрезентаторы определенной парадигмы, социального запроса и т.д. С определенной степени условности выделим две модели самоидентификации научного сообщества, сказывающихся и на шкале оценок в курсах по историографии. Основу первой модели составляет оппозиция «свой – чужой», («живой классик» и его низвержение). Такая модель востребована, как правило, в периоды освоения новых парадигм и связана с борьбой за перераспределение пространства внимания в научном поле. Показательна в этом плане ситуация в отечественной науке первой трети XIX в., когда разворачивалась болезненная критика просветительской модели историописания и усвоение гегельянской версии истории. Героем и одновременно антигероем отечественного историописания становится личность Н.М. Карамзина.

Но самоидентификация в рамках профессии не может строиться исключительно на отрицании/противопоставлении. Наука как культурная форма предполагает передачу традиций, преемство идей, накопление научного капитала и способов его постижения. Самопознание науки предполагает рассмотрение ее как особой формы бытия («самости») с присущей ей системой внутренних

связей, единством и специфичностью (в том числе, специальных практических действий, обрядов и церемоний). Очевидно, что для осуществления данных функций актуализируется иная модель самоидентификации. Условно назовем ее «присваивающей». Она обнаруживается в юбилейных «текстах памяти», признанных, объединяющих фигурах. Для дореволюционной историографии на пике ее развития в качестве такой объединяющей фигуры выступает, безусловно, В.О. Ключевский и посвященные ему «тексты памяти». Особую роль такие фигуры и посвященные им юбилейно-мемориальные тексты играют в условиях ужесточения социального контекста, борьбы (зачастую неосознанной или, по крайней мере, открыто не проговариваемой) за автономность науки, за приоритет внутринаучной мотивации ее деятелей. На фоне жесткой критики «буржуазной» историографии, противопоставления ее советской, фигура Ключевского, как и других великих «старых историков», выполняет примиряющее-смягчающую роль («буржуазные историки, но значительны их научные достижения»).

Собственно, в период становления советской исторической науки именно историческая генеалогия выполняла в значительной мере структурообразующую роль в построении историографических курсов, учебников и учебных пособий. Подтверждением этому является классический историко-научный труд советской эпохи – «Русская историография» Н.Л. Рубинштейна, для которого «действительный путь науки получает свое полное и отчетливое выражение в ее наиболее ярких и типичных представителях... само изучение сменяющихся исторических направлений возможно лишь через научный анализ творчества основных, наиболее типичных представителей каждого периода, каждой школы» [Рубинштейн Н.Л. Русская историография. СПб, 2008, с. 4]. Н.Л. Рубинштейн подчеркивает значение «биографического элемента» в плане верификации процесса и результатов научного исследования – «в ряде случаев эта общественная и научная биография не только раскрывает научные предпосылки, но дает как бы вторичную проверку, материал, дополняющий научный анализ» (там же).

Структурообразующая роль научно-биографического, историко-генетического подхода выдерживается Н.Л. Рубинштейном и в плане конкретного историографического анализа. Так, при рассмотрении развития русской исторической науки XVIII-го века, когда происходит «превращение исторического знания в науку», Н.Л. Рубинштейн выстраивает своеобразный генеалогический ряд, в который входят как те, кто оказал влияние на отечественный историографический процесс, так и те, кто принял в нем непосредственное участие. К первым относятся создатели «философских основ новой европейской

науки» – Ф. Бэкон, Т. Гоббс, Дж. Локк, Г.В. Лейбниц, французские просветители. В этом ряду представлены и историки Запада, чья деятельность привела к «историческим сдвигам в развитии конкретного исторического изучения» – Лоренцо Валла, Николо Макиавелли, Ж. Мабильон, Самуил Пуфендорф и др. Напомним, что именно Рубинштейном была предпринята наиболее масштабная (в сравнении с авторами других учебных пособий советского времени) попытка вписать развитие отечественной исторической науки во всемирно-исторический контекст, выявить всемирную генеалогию этого процесса. Сам же этот процесс раскрывается по преимуществу через деятельность выдающихся отечественных историков, каждому из которых посвящена отдельная глава (здесь представлены и немецкие историки, служащие в Российской академии наук) – В.Н. Татищева, М.В. Ломоносова, Г.-Ф. Миллера, М.М. Щербатова, И.Н. Болтина, А.-Л. Шлецера. Вместе с указанными авторами Рубинштейном в обзорных по характеру смысловых фрагментах его работы говорится о таких деятелях отечественного историописания, историках «второго плана», как Ф.П. Поликарпов, А.И. Манкиев, П.П. Шафиров, В.К. Третьяковский, Ф.А. Эмин, И.П. Елагин, Г.-З. Байер, И.-Э. Фишер, Ф.-Г. Штрубе де Пирмонт.

Этот реестр, безусловно, значимых или, по крайней мере, оставивших свой след, «имевших место быть» деятелей отечественного историописания XVIII-го века в основном сохраняется и в последующих учебниках по историографии (В.И. Астахова, С.Л. Пештича, В.Е. Иллерицкого и И.А. Кудрявцева, др.). Заметим, однако, что именно работа Рубинштейна выделяется поистине уникальным сочетанием марксистскости и научности, стремлением совместить «действительное движение» исторической науки и «исторический материализм – закономерное и неизбежное завершение пройденного пути», показать действительное место каждого историка в генеалогическом ряду отечественной исторической науки (там же, с. 5). Для авторов более поздних историографических учебников характерно акцентирование научных заслуг ученых русских «по национальной принадлежности», противопоставление их «различным немцам-карьеристам», определение научной значимости ученого, исходя из его позиции по отношению к «табуированной» теме о действительной роли норманнов в создании Древнерусского государства. Парадоксально, что подобный подход рассматривался Рубинштейном как воспроизведение формализма буржуазной исторической науки – «дело не в национальном происхождении ученого, а в формировании его научной мысли, в содержании и направлении его исследовательской работы» (там же, с. 104-105).

**Исследования Н.И. Кареева о парижских секциях
в контексте развития исторической науки начала XX вв.**

Современная историография все более обращается к изучению истоков исторической науки, особенно акцентируя внимание на жизненном опыте, научной судьбе ее творцов, широком социокультурном контексте, в котором рождались и развивались научные идеи историков.

В этой связи особый интерес представляет восприятие научным сообществом исследований о парижских секциях Н.И. Кареева (1850–1931), ведущего специалиста по новистике конца XIX – начала XX века.

Одной из тем, которая постоянно интересовала его, была история парижских секций – 48 избирательных округов Парижа, просуществовавших с 1790 по 1795 гг. Работая в Национальном архиве и Национальной библиотеке Франции, он нашел целый пласт неисследованных секционных документов, уцелевших со времен Революции во Франции конца XVIII в. На основе этого архивного материала он в 1911–1918 гг. написал ряд исследований, раскрывающих политическую роль секций Парижа в отдельных событиях Революции и их организационную структуру. Параллельно он занимался публикацией секционных бумаг.

Как видим, публикация трудов по истории секций Парижа приходится на бурное время в истории нашей страны. Напомним, что в годы Первой русской революции 1905–1907 гг. в Российской империи начинают формироваться основы парламентаризма (Государственная Дума), Февральская революция 1917 г. приводит к падению монархии, а Октябрьская революция того же года – к созданию нового государственного строя. Во всех революциях правительство сталкивается с проблемой формирования основ нового общественного порядка, который доселе в России практически не имел примеров. Исследование опыта других стран в этой ситуации подходило бы как нельзя лучше.

Появление исследований, что называется в духе времени из-под пера Н.И. Кареева, вызывало в историческом сообществе интерес к его работам. Первым трудом Кареева по истории секций становится обзорная статья «Парижские секции времен Французской революции (1790–1795)» (СПб., 1911), на которую вышли сразу три рецензии. Е.В. Тарле в одной из них назвал его очерк «важным историографическим введением, с которым должен будет считаться всякий, кто займется историей секций» [Русская мысль. 1912. № 12.

С. 431]. Таким образом отмечалась бесспорная научная значимость непременно присутствующей историографической составляющей трудов Кареева.

Авторами рецензий и историографических обзоров были: уже упомянутый Е.В. Тарле (1874–1955), работавший на тот момент приват-доцентом С.-Петербургского университета. Он является автором четырех рецензий (из 14) на труды Кареева о парижских секциях; А.К. Дживелегов (1875–1952), занимавшийся в то время историей армии в эпоху Французской революции; С.Ф. Фортунатов (1850–1918) – в это время приват-доцент Московского университета; историк-античник и историограф В.П. Бузескул (1858–1931).

Что касается изданий, на страницах которых выходили рецензии, то только перечисления этих названий: «Вестник Европы», «Русское богатство», «Русская мысль», «Русские ведомости», «Речь», «День», «Frankfurter Zeitung», «Annales Révolutionnaire», говорит о том, что это были передовые отечественные и зарубежные публицистические и научные издания первой четверти XX века.

Публикации, в которых содержалась характеристика трудов Н.И. Кареева по истории парижских секций, можно разделить на две основные группы: научные и библиографические. В публикациях первой группы обращено внимание на научность рецензируемого автором труда (авторами их были указанные историки). Рецензии второй группы дают читателю общее представление о содержании труда, и в них нет глубокого анализа (библиографические листки «Вестника Европы»).

Первые отличаются особой ценностью и поэтому обратимся прежде всего к ним. Особый интерес у авторов рецензий вызвали публикации Кареевым архивных документов, которые он издавал как отдельными книгами, так и в приложениях к своим этюдам. «В этих уцелевших бумагах парижских секций Н.И. Карееву очень посчастливилось... Он нашел и напечатал очень характерные документы», отмечал Е.В. Тарле. А приложения, которые содержали не только выписки из протоколов, но и цветные карты, планы Парижа, секционные карточки, «еще повышают ценность труда» [Русская мысль. 1912. №12. С. 431]. Критики высоко оценили уникальность источниковой базы исследований Кареева: документами секций «не пользовались ни Тэн, ни Олар, ни Жорес» [Вестник Европы. 1913. №12. С. 412].

Не обойдено вниманием и стремление Кареева в своих работах на основе накопленного архивного материала показать в новом свете «некоторые, казавшиеся вполне выясненными события» Французской революции конца XVIII в. Так, отмечают ученые, Кареев «пришел к заключению, что вандемьерское восстание, вызванное фрюкtidорскими постановлениями Конвента, не было

роялистическим, как обыкновенно думают», а «разбор петиции Жака Ру и секции Гравилье привели его к мнению, что эта петиция неправильно считалась коммунистическою» [Бузескул В.П. Всеобщая история и ее представители в России в XIX – начале XX века. Ч.1. Л., 1929. С. 166-167]. Критерий научной новизны является одним из самых важных в оценке любого исторического исследования. И здесь, по мнению авторов, Карееву удалось внести весомый вклад в изучение не только столичных секций, но и революции в целом. Его этюды по истории парижских секций «составляют живую иллюстрацию к одной из самых важных и драматических страниц... прошлого» [Вестник Европы. – 1912. № 11 (ноябрь) (библиографический листок)].

Интересно заметить, что рецензенты, оценивавшие труды Кареева по истории секций, с нетерпением ждали его новых работ и даже размышляли над направлением будущих изысканий. «Очень желательно, чтобы почтенный автор разработал удачно поставленную им интересную проблему со всею обстоятельностью... Нам кажется, что при дальнейшем углублении темы сам собою выдвинется еще один, попутный, так сказать, вопрос: как смотрела эмиграция на вандемьерское восстание?», – писал Е.В. Тарле относительно этюда Кареева о характере вандемьерского восстания [Русское богатство. 1914. № VII. С. 349].

Общий тон рецензий позволяет сделать вывод, что научное сообщество относилось к Карееву как ведущему специалисту по истории Французской революции. Его труды по истории парижских секций демонстрировали, что в основе настоящего исследования находятся неизученные источники в сочетании с обширными историографическими экскурсами. Именно это и позволило Карееву найти новое прочтение проблем Французской революции конца XVIII века.

Е.В. Плавская (РГГУ, Москва)

Исторические заметки о Франции в критике русских публицистов (вторая четверть XIX века)

В историографии принято считать, что вторая четверть XIX века – время, когда историческое прошлое становится объектом дискуссий русских публицистов. Исследователи (А.Г. Тартаковский, М.П. Мохначева, А.Д. Зайцев) утверждают, что не только историки-профессионалы стали интересоваться вопросами истории, но и критики, которые не причисляли себя к среде профессиональных историков.

Надо отметить, что вопросы истории рассматривались в разных рубриках отечественных журналов (*Словесность*, *Современные*

истории, Критика и библиография ит.д.). Для нас представляют интерес лишь те заметки, которые можно отнести к публицистике. Публицистика, призванная выражать явно или имплицитно, мнение какой-либо социальной группы, возникла в общественной сфере. В XIX веке в силу определенных причин происходит сращивание периодики и публицистики. Поэтому видовая принадлежность очерков и заметок журнала вызывает ряд сложностей для исследователя-источниковеда, а названия рубрик несколько не помогают ее определять.

Для решения этой задачи видится необходимым выделить ряд критериев, позволяющих определять целеполагание авторов-журналистов, а вместе с этим и видовую принадлежность источника. Ориентироваться в выборе материала мне помогали следующие пункты: злободневность затрагиваемой проблемы; авторская оценка; аналитическая направленность, предполагающая ретроспекцию; наличие обращений к читателю.

Согласно проведенному исследованию критические заметки журналистов более всего отвечают этим критериям публицистики. «Критика есть важнейшая часть журнала...Важность критики отмечается там, где не установилось еще общественное мнение» – вот как сами редакторы отмечали основную особенность этой части журнала [Сын Отечества. 1847. Т. 6. С. 1].

История и историки Франции занимали умы русских критиков не в меньшей степени, чем отечественные. На что же обращали внимание русские критики в трудах французских историков.

Объектом интересов русских критиков были вопросы профессионального мастерства историков-французов. Например, русский журналист рассматривая *Историю о войне Испанской генерала Фуа* отмечает: «Сочинение господина Фуа показывает, что Франция лишилась в нем не только из вернейшего из своих сынов, но и писателя необыкновенного, которому предстоял блестящий путь на поприще Истории» [Московский Телеграф. 1827. Ч. 18. С. 309]. Французский историк Гизо был оценен «несомненным талантом», который предполагает «ожидания от него блестящего изложения, важных истин, сказанных красноречиво» [Московский Телеграф. 1828. Ч. 23. С. 96]. Однако, не только восхищение вызывал профессионализм историков-французов. Если критик замечал в их творчестве плагиат, отсутствие «критицизма, отвлекающего от всех частных заблуждений» или иного непрофессионализма (с его точки зрения), то он подвергал мастерство историка сомнению. Это прекрасно демонстрируют отрывки из критики Павла Свинына на творчество историка Г. Ансело. «Все топографические и исторические описания господин Ансело взял из книги

Достопамятности С. Петербурга, соч. Павла Свинына». Критик возмущен: «Сочинение, написанное на французском, было столь неосторожно перепечатано со скрытием имени настоящего автора» [Московский Телеграф. М., 1827, Ч. 18. С. 33-34]. Здесь все же следует заметить, что обвиняет П. Свинын Ансело в том, что тот занялся плагиатом его собственной книги.

Итак, критиков в первую очередь интересует мастерство, профессиональная востребованность французских историков. Однако этот сюжет занимает в рецензиях не основное место. Журналист, анализируя творчество историка, подчас ругает его не за отсутствие мастерства и таланта, а за то, что он «Француз». Подобные замечки в оценках русских критиков встречаются очень часто. Гизо при всем его таланте «еще не умеет являть ту всеобщность, ту способность переселяться во все века», а виной тому «пристрастия и предрассудки Француза, имеющего недостаток универсального просвещения» [Московский Телеграф. 1828. Ч. 23. С. 96]. Тем же самым В.Г. Белинский объясняет научную слабость Мишле: «опять виден Француз, говорун и болтун по природе своей» [Белинский В.Г. Полн. собр. соч. М., 1953. Т. 2. С. 475].

Иногда российские критики в своем пренебрежении всем французским выглядят весьма нелепо в своих рецензиях. Критическая заметка Москвитянина посвящена работам русского санскритолога господина Коссовича. Но в первых же строках критик обсуждает не творчество Коссовича, а непрофессионализм французского востоковеда и директора Французской Афинской школы Эмиля Бурнуфа: «трудолюбивый г. Коссович издал перевод весьма примечательный санскритской драмы, где он между прочим показал ужасные промахи Бурнуфа, знаменитого лишь потому что он Фрнцуз» [Москвитянин. 1849. Т. 1. С. 9]. В словах критика звучит явная ирония над национальной принадлежностью историка, которая и определила отсутствие у него мастерства.

Наконец, критики, обсуждая творчество историков-французов, переходили к обсуждению французской истории в целом. Примером может служить заметка на сочинение Ф. Дамирона, опубликованная в Париже в 1828 году. Объектом изучения Дамирона является история французской философии XIX столетия. Русский критик, отмечая способность автора давать «четкие, подробные разборы», переходит в итоге к истории Французской революции, «которая привела французскую философию к изуродованности и непониманию» [Московский Телеграф. 1828. Ч. 23. С. 52, 62]. Надо отметить, что «неспособность» французов создавать замечательные произведения ни в литературе, ни в истории, ни в философии часто объяснялась

русскими публицистами тем, что умы Франции испортила революция.

Наконец, можно сказать, что в критических заметках о французской истории и о французских историках упоминалось довольно часто. Однако вопросы истории интересовали русских публицистов, потому что они давали возможность привести нравственный пример русскому читателю. Авторы оценивали не в контексте наукотворчества, а как представителей той или иной социальной принадлежности. История в восприятии русских публицистов была орудием оратора, а не предметом саморефлексии.

Критический очерк строился по определенным канонам жанра. Наличие оценок критика безусловно было в нем определяющим. Правда, часто эти оценки относились не к научным заслугам историка, а к его нравственным качествам. К тому же в очерке могло присутствовать диалоговое начало, что не совсем свойственно для рецензии. Более того, журналист давал ту или иную оценку историческому сочинению, исследуя какие-то общественно значимые проблемы. В свою очередь, это делало заметку не простой рецензией, а полноценной литературно-критической статьей. Как мы увидели на анализируемом материале, автор критической статьи шел еще дальше, делая основной акцент на культурных особенностях страны, ее традициях и обычаях. Но именно эти сюжеты и позволяют нам изучать образ иной культуры, который бытовал в русском обществе. Исследуемый материал иллюстрирует, что такие заметки представляют читателю некоторые клише и стереотипы, которые доминировали в общественном сознании и были перенесены даже в сферу истории, несмотря на то, что последняя претендовала на научность. Все это позволяет оценить перспективы изучения образа иной культуры в динамике.

Г.В. Рокина (Марийский ГУ, Йошкар-Ола)

Словацкие сюжеты в трудах российских историков XIX в.

Особое внимание Россия обратила на зарубежное славянство после поражения в Крымской войне. С этого периода можно говорить о появлении самостоятельной словацкой проблематики как части славянской истории и культуры в трудах российских историков. В 1830–1830-е гг. в российских изданиях впервые появились представления о словаках как самостоятельном народе, до этого чаще всего их отождествляли со словенцами или чехо-словаками. Словацкая проблематика в трудах российских историков и публицистов чаще всего рассматривалась в контексте с такими понятиями как панславизм

и славянская взаимность. В 1861 г. А. Гильфердинг писал: «Родилась, выпущенная естественным чувством самосохранения потребность устранить причины прежней гибели и заменить их тем, что нужно было славянским народам для их сближения и будущего преуспеяния – ...родился панславизм» [Гильфердинг А. Венгрия и славяне // Русская беседа. 1860. № 11. С. 34]. Обращение к теме панславизма и идеи славянской взаимности в историографии истории и культуры словацкого народа в XIX в. было связано с тем, что именно в словацком национальном движении впервые была сформулирована теория славянской взаимности, а ее отцы-основатели Я. Коллар, Л. Штур и Я. Гурбан-Ваянский в своем творчестве и общественной деятельности были тесно связаны с Россией [Рокина Г.В. Теория и практика славянской взаимности в истории словацко-русских связей XIX в. Казань, 2005].

Вместе с тем, Словакия и словаки оставались мало известны в XIX в. для широкой, даже ученой, российской публики. Только в последней трети XIX в. читатели получили более-менее полные сведения о словацком народе и словацком национальном движении в Австро-Венгрии из работ панславистов А. Будиловича, А. Сиротинина, А. Степовича. Первые научные работы по истории русско-чешско-словацких связей на русском языке были написаны В.А. Францевым, он же первым опубликовал источники по этой проблеме [Она же. Словацкий вопрос на страницах российской периодической печати последней трети XIX в. // Вестник Моск. ун-та. 2001. № 2; Будилович А.С. Словацкая литература // Поэзия славян. СПб., 1871. С. 385-388; Сиротинин А. Коллар и Хомяков // Россия и славяне. СПб., 1913; Степович А.И. Очерки по истории славянских литератур. Киев, 1899; Францев В.А. Очерки по истории чешского возрождения. Варшава, 1902].

Своеобразным итогом разработки словацкой проблематики в российской публицистике, университетских лекциях славистов, научных трудах стало появление русского перевода «Очерка политической и литературной истории словаков за последние 100 лет» чешского ученого, слависта, археолога Й.Л. Пича [Славянский сборник. 1875. Т. 1]. Автор заключает, что «словаки, как составная часть Угорского королевства, не имеют особой истории в собственном смысле, хотя и нельзя отрицать, что они принимали довольно большое участие в ходе общей Угорской истории, которая через это становится и их историей».

Наиболее последовательно, на наш взгляд, словацкие сюжеты были представлены в творчестве А.Н. Пыпина, автора «Истории славянских литератур». Почти все словацкие темы в публицистической и литературоведческой деятельности Пыпина так

или иначе были связаны с проблемой панславизма. Именно Пыпину принадлежит утверждение, которое он последовательно отстаивал в российской публицистике, что «первые мысли о взаимности высказаны были словаками, и не без причины... Татранские словаки до сих пор не имели в литературе почти ничего собственного; поэтому они первые протянули руки, чтобы обнять все славянство» [Пыпин А.Н. Литературный панславизм. С. 622].

В «Истории славянских литератур» он также неоднократно подчеркивал, что «самые характерные панслависты явились именно у словаков», что «особенное возбуждение народного чувства у словаков произведено было двумя писателями, которые оба словаки родом, стали тогда сильнейшими деятелями в области славянского возрождения. Это были Коллар и Шафарик» [Он же. История славянских литератур. Т. 2. С. 1025].

Особое место в трактовке панславизма, «затеянного» словаками, у А. Пыпина занимает вопрос об утопичности или реалистичности этого явления. А. Пыпин, как никто другой, уловил место и роль объединительного славянского движения и для Европы и для России. В одной из последних работ он писал: «За последние годы газеты буквально переполнены известиями о том, как “панславизм” беспокоит или раздражает европейских политиков и публицистов, почти поголовно... Как некогда в 30-х годах из этого слова делали пугало устрашения против России, так и теперь...завоевательные планы России во главе панславизма». И далее: «Опасности панславизма – только политическая уловка, за которой просто скрывается вражда к России. Что России “не любят” в Европе – это известно...» [Он же. Панславизм в прошлом и настоящем // Вестник Европы. 1878. Сент. С. 771, 773].

Среди словацких тем в творчестве А. Пыпина наиболее распространенным является характеристика творчества известного словацкого ученого и поэта Яна Коллара (1793-1852) который, по его мнению, «с самого начала видит в славянстве одну семью родных братьев, всегда друг другу близких, но разлучаемых только злобой врагов» [Он же. Панславизм в прошлом и настоящем. С. 727].

Именно в связи со словацкой темой в российских научных изданиях панславистского направления обсуждалась выдвинутая словаками идея принятия русского языка как общеславянского языка общения. Высказывая собственное отношение к идее общеславянского русского языка, Пыпин обращается к своим излюбленным примерам словацкой истории, цитируя письмо другого чешского и словацкого ученого П. Шафарика к Коллару от 1826 г.: «Не перо уже, а меч разрешит вопрос о том, которое из славянских наречий и которая из азбук станут всеславянскими. Потоками крови вырыты будут

очертания букв; где она всего обильнее прольется, там и возникнут общий язык и азбука всеславянская» [Он же. История славянских литератур. С. 949].

Особое место в творчестве Яна Коллара А. Пыпин уделял его знаменитому трактату «О литературной взаимности между племенами и наречиями славянскими». Именно А. Пыпин заметил, что «брошюра Коллара получила очень большую известность в западном славянском мире; на нее не упускали ссылаться иностранные писатели... Это было новое явное доказательство действительного существования панславизма, открытая его программа, а для австрийских (немецко-венгерских) противников славянского движения эта книжка была настоящей уголовной уликой против славянских деятелей и прежде всего против самого автора» [Он же. Литературный панславизм. С. 615 и др.].

Кроме фигуры Яна Коллара А. Пыпин большое внимание уделял личности другого словацкого патриота – Людевита Штура. Он не только сам был автором заметок о Штуре, но и способствовал размещению в русских журналах публикаций об этом словаке.

Словацкий материал в работах российских историков чаще всего использовался как дополнительная аргументация при формировании концепций панславизма, а с другой стороны – для реконструкции полной картины славянского мира.

Т.П. Филиппова (Коми научный центр
Уральского отделения РАН, Сыктывкар)

Л.А. Тьер – историк французской революции конца XVIII в.

Французская революция конца XVIII в. – событие, являющееся одним из основополагающих в истории Нового времени, которое не только коренным образом изменило Францию, но и Европу в целом. На протяжении долгого времени она продолжает привлекать внимание исследователей.

Первые попытки изучения этого события во Франции относятся к первым десятилетиям XIX в. В этот период общественный интерес к истории, ослабевший во время революции, значительно возрос. Появляются новые имена, среди них известный французский политик, президент Франции в 1871–1873 гг. – Луи Адольф Тьер (1797–1877). Творчество этого историка в нашей стране является малоизученным.

Исследованию истории французской революции Л.А. Тьер посвятил большую часть своего творческого пути. Два многотомных труда историка «История Французской революции» (1823–1827) и «История Консульства и Империи» (1845–1862) освещают именно эту

проблему. История революции переведена на русский язык и издана в России в 1873–1877 гг. Из двадцати томов «Истории Консульства и Империи» российский читатель может познакомиться на русском языке лишь с первыми четырьмя, изданными в России в 1846–1849 гг.

Со времени издания работ Л.А. Тьера прошло более полутора столетий. С тех пор научная литература о Великой французской революции значительно расширилась. Тем не менее, труды французского историка не потеряли своего значения и сегодня. Во-первых, они были написаны, как говорится, по горячим следам событий на уникальных источниках (официальные государственные документы, переписка «великих» личностей, воспоминания современников). Во-вторых, эти работы, в отличие от многих исследований написанных позднее, содержат богатый фактический материал. В исследованиях Л.А. Тьера поставлены основные политические и нравственные вопросы французской революции.

Л.А. Тьер определил французскую революцию конца XVIII в. как великий переворот [Тьер А. История Французской революции 1788-1799. М.; СПб., 1873. Т. 1. С. 204]. Историк обозначил две группы причин революции – политические и экономические. Определяющими для историка стали политические явления, предшествующие революции. Можно выделить три основных аспекта в понимании Л.А. Тьером политических причин: во-первых, кризис политической системы Франции, назревавший в течение XVIII в., во-вторых, политика государства, в-третьих, противоречия между третьим и привилегированными сословиями [С. 101]. Экономическим причинам Л.А. Тьер отвел значительно меньше внимания. Самой главной он назвал большое количество и тяжесть налогов, которые приходилось платить народу [С. 102]. В подходе к пониманию причин революции у Л.А. Тьера присутствует некоторая односторонность – более пристальное рассмотрение политических причин, в отличие от экономических. Подход для того времени был актуален: буржуазия, интересы которой представлял Л.А. Тьер, пыталась оправдать свои политические права и свободы, поэтому естественно, что в оценке причин революции он обратился в первую очередь к анализу политических причин, нежели экономических.

У Л.А. Тьера оформился свой подход к периодизации революции. Рамками революции Л.А. Тьер считал 1788–1814 гг. Началом процесса для Л.А. Тьера стал кризис всех сфер жизни, который нарастал на протяжении всего XVIII в. и окончательно обострился к 1788 г. Концом революции историк считал 1814 г. – финал эпохи Наполеона Бонапарта. В развитии революции Л.А. Тьер выделил три крупных периода:

1. Восходящая линия революции (1788 – 27 (28) июля 1794 г.):

– 1788 – 10 августа 1792 г. – революция при дворе.

– 10 августа 1792 – 2 июня 1793 г. – начало республики, Национальный конвент.

– 2 июня 1793 – 27(28) июля 1794 г. – высший этап революции, диктатура якобинцев, террор и реакция.

2. Нисходящая линия революции (27(28) июля 1794 – 18 брюмера (9 ноября) 1799 г.) – Термидорианский конвент, Директория.

3. Монархическая или военная революция (18 брюмера 1799 – 1814 г.)

– 1799–1804 гг. – Консульство.

– 1804–1814 гг. – Империя.

Таким образом, Л.А. Тьер рассматривал историю Французской революции как единый процесс, шедший вначале по восходящей линии, затем по нисходящей. При этом историк рассматривал период Консульства и Империи неразрывно с историей Французской революции, считая ее продолжением этого исторического события. В эпохе Наполеона Бонапарта он видел сохранение и укрепление завоеваний революций. Некоторые современные исследователи склонны поддерживать периодизацию, предложенную Л.А. Тьером (В.Г. Ревуненков и др.).

Историю революции Л.А. Тьер рассматривал как борьбу классов. Французское общество ученый делил на три противоборствующих класса: привилегированный (высший), который состоял из дворянства и духовенства, просвещенный («средний») – среднее сословие и низший класс – толпа [С. 98]. Под просвещенным классом историк понимал, прежде всего, буржуазию, чьим интересам и была призвана революция. Основополагающий вопрос в концепции классовой борьбы историка – за что велась борьба. Она велась за власть, которая нужна была каждому из борющихся классов для защиты и реализации своих интересов, для сохранения или создания выгодного ему общественного порядка. Понимая принцип классовой борьбы, тем не менее, Л.А. Тьер не делал его основной движущей силой революции. Основным двигателем революции, с точки зрения Л.А. Тьера, являлись человеческие страсти. Самая главная страсть – желание свободы у всего французского народа, именно это и определило течение революции от начала до конца.

По-новому встал вопрос у Л.А. Тьера о выдающихся деятелях истории и их отношении к массам. Великим, по мнению историка, становился человек, который лучше других понял и выразил интересы своего класса, и возглавивший борьбу за них. На каждом этапе революции Л.А. Тьер выделял личности, которые, под воздействием закономерных обстоятельств, вставали во главе революции и вели ее вперед (Мирабо, Барнав, Робеспьер, Наполеон и

др.), выполнив свою миссию, они уходили с политической арены, уступив ее другим. Л.А. Тьер показал, что ход исторических событий определяется далеко не одними только сознательными поступками людей, а совершается под воздействием скрытой необходимости. Тем самым Л.А. Тьер создал свою «фаталистическую систему», которая критиковалась современниками и последователями.

Л.А. Тьер является одной из ярких фигур истории XIX в. Своей деятельностью он оказал колоссальное влияние на общественное самосознание Франции. Немалую часть своего жизненного пути он посвятил истории, самой главной темой его исследований стала Французская революция конца XVIII в. Бесспорно, историческая концепция этого события, созданная французским историком в его трудах, повлияла на последующее изучение его, как во Франции, так и в России.

А.В. Хазина, Ф.В. Николаи (Нижегородский ГПУ)

Гендерные исследования как политика сообщества в работах Джоан Скотт

Джоан Скотт в отечественной историографии известна, прежде всего, как автор программной статьи «Гендер – полезная категория исторического анализа» (1986) и теоретик исследований гендерной идентичности. Однако подобный взгляд, сфокусированный на методологической составляющей ее текстов, несколько нивелирует их политическое измерение и потому нуждается в некотором уточнении. Как отмечает Л.П. Репина, главным вопросом для Скотт становится то, каким образом гендер и властный дискурс конституируют друг друга [Репина Л.П. Историческая наука на рубеже XX–XXI вв.: социальные теории и историографическая практика. М.: Круг, 2011. С. 512]. То есть гендер – не просто нейтральная категория в рамках чисто академического изучения половой идентичности, символического уровня и нормативных учреждений. Гендер – неотъемлемая часть политических отношений. Однако кто выступает субъектом этих отношений?

Чтобы ответить на этот вопрос, обратимся к общей эволюции взглядов Дж. Скотт (насколько это возможно в рамках небольшого выступления).

В 1970-е гг. она начинала заниматься рабочей историей в духе «history from below». В монографии «Стеклодувы Кармо: французские мастеровые и политическое действие в городе XIX в.» (1974) Скотт пытается показать восприятие идей социализма в одной из ремесленных корпораций маленького городка на юге Франции.

Социализм здесь выступал не столько как идеологическая практика, сколько как поддержание своего статуса и сложившегося образа жизни конкретным *сообществом* мастеровых-стеклодувов.

В 1980-е гг. Скотт переключается на гендерные исследования. Ее главная монография этого периода (куда входит и упоминавшаяся программная статья о «полезной категории исторического анализа») – «Гендер и политика истории» (1988) – рассматривает гендерные исследования как важный этап в борьбе феминисток за изменение отношений между полами. У Скотт они выступают не просто как нейтральное академическое течение, но как дискурс угнетенного сообщества, отстаивающего свои политические права. «*Полезной*» категория гендера является именно в *политическом* плане и именно для *сообщества* феминисток.

В 1990-е гг. Скотт, как ни странно на первый взгляд, практически отказывается от самого понятия гендера и вновь говорит именно о женской истории. Так в работе «Предлагая только парадоксы: французские феминистки и права человека» (1996) исследовательница рассматривает специфическую реализацию прав человека во Франции после революции 1789 г., благодаря которой до 1944 г. правом голоса обладали только мужчины, а женщины были исключены из политической жизни. По мнению Скотт, в этом парадоксальном действии исключения вопреки декларации равенства и заключается суть либеральной идеи в эпоху модерна – она соединяет нацию через исключение Других. Каждое поколение феминисток во Франции пыталось по-своему преодолеть этот парадокс, отстаивая интересы своего *сообщества*. И гендерные исследования 1980-х гг. были очередной подобной попыткой. Однако уже в 1990-е гг. следующее поколение феминисток отказалось от использования понятия гендера, потерявшего ресурсы сопротивления и превратившегося в расхожее клише академического (властного) дискурса.

В 2000-е гг. Скотт идет еще дальше: в центре ее монографий «*Parité!* Равенство полов и кризис французского универсализма» (2005) и «*Политика вуали*» (2007) оказываются конфликты вокруг конкретных политических решений во Франции – исключения из школы трех арабских девочек за ношение головных платков и принятия в июне 2000 г. закона, согласно которому женщины должны составлять 50% кандидатов на любых выборах. Скотт считает, что эти действия стали результатом кризиса репрезентации, охватившего в 1990-е гг. все страны Западной Европы и США. Либеральная идея с 1789 г. была основана на идее представительства (в первую очередь, партийного, затем – классового) граждан в национальном масштабе. Однако в 1980–1990-е гг. на политическую сцену вышли новые

действующие лица – принципиально гетерогенные сообщества – арабы, гомосексуалисты и женщины. Общей чертой этих, казалось бы, совершенно разных социальных акторов стало требование пересмотра либеральной идеи репрезентации. Главный тезис Скотт здесь вновь напрямую касается идеи *сообществ*: границы между социальными группами (и конкретными людьми с их столь разными интересами) не устранимы, а такие объединения XIX в. как нация, класс и партия уже не способны найти общий язык с новыми социальными группами. Поэтому необходимы новые политические лозунги, новые термины, новые объединения и новые законы, которые бы смогли на практике (а не в рамках абстрактной универалистской риторики) согласовывать различия.

Таким образом, главной темой всех работ Дж. Скотт на протяжении 1970–2000-х гг. становится проблема границ и способов взаимодействия *сообществ*, причем не столько на культурно-символическом уровне, сколько в пространстве политического. С этой точки зрения, историк всегда вовлечен в некие социальные связи, начиная с поддержания статуса своего профессионального сообщества и заканчивая гендерными или национальными объединениями. И в этом смысле Скотт не столько повторяет лозунг «личное есть политическое», сколько подчеркивает перформативную политическую функцию сообществ – их способность не только объяснять мир (культурно и идеологически), но и изменять его: «Отголоски феминизма не всегда имели последствия, аналогичные землетрясению, но создавали самые разные толчки, волнения и исторические сдвиги как в пространстве, так и во времени. Мы ценим эти волнения, потому что лучшие из них провокационны и инновационны, парадоксальны и революционны. И они всегда оставляют следы на своем пути: иногда очевидные, иногда неощутимые, проявляющиеся как отклики и повторения на социальном, политическом и персональном уровне. Они изменяют само наше существование – как женщин, как граждан и как стратегических акторов, действующих в рамках своей ситуации, привнося изменения в свой мир» [Скотт Дж. Отголоски феминизма // Гендерные исследования. 2004. № 10. С. 26].

Т.Г. Чузунова (Нижегородский ГПУ)

Библейская история и современность в творчестве английского реформатора XVI в. У. Тиндела

Английский реформатор XVI в. Уильям Тиндел (1494–1536) считал Библию одним из самых достоверных исторических

источников. Священное Писание для него являлось не только Словом Бога, но и некоей исторической хроникой. Богослов часто сравнивает библейских писцов и фарисеев с современным ему духовенством, говоря: «Наши писцы и фарисеи...». Современные прелаты, по его мнению, ведут себя точно так же, как ветхо-и-новозаветное духовенство, имея лишь новые титулы и предметы одежды [Tyndale W. *Practice of papisticall Prelates // The Whole works of W. Tyndall, John Frith and Doct. Barnes, three worthy Martyrs and principall teachers of this Church of England collected and compiled in one tome together, being before scattered now in print here exhibiten to the Church / Ed. by J. Foxe. London: Printed by J. Daye, 1573. P. 340*]. Сравнение – один из излюбленных методов описания событий английским реформатором. Изображая противоположных персонажей Ветхого Завета: Каина и Авеля, Измаила и Исаака, Тиндел намекает на противостояние между папистами и реформаторами: «Будет в церкви плотское семя Авраамово и духовное, Каин и Авель, Измаил и Исаак, Исав и Иаков, работник и верующий, великое множество званых и малое стадо избранных. И плотское воспреследует духовное, как Каин Авеля, Измаил Исаака и так далее, и великое множество будет преследовать малое стадо, а Антихрист будет лучшим христианином» [Tyndale W. *An Answer into Sir Thomas More's Dialogue // Ibid. P. 291*].

Иллюстрации Тиндела состоят из сопоставления отрицательных и положительных исторических и библейских персонажей. Например, он утверждает, что ни Моисей в Ветхом Завете, ни ученики Христа в Новом Завете не служили ради награды в отличие от сегодняшнего духовенства. Богослов считает, что как израильтяне в древние времена испрашивали своих духовных лиц, опираются ли те на закон Божий, так и современный христианин должен соотносить практику и доктрину католической церкви с библейскими канонами [Id. *The Obedience of a Christian man and how Christian rulers ought to governe // Ibid. P. 139, 177*]. Тиндел рекомендует своим читателям ничего не делать без Священного Писания, ибо «что сделано без Слова Бога, то идолопоклонство» [Id. *The Parable of the Wicked Mammon // Ibid. P. 86*]. Ссылаясь на истории Ветхого Завета, изображающие преследование сыновей Божиих, он приравнивает к ним нынешних преследуемых властями и католической церковью реформаторов, имея в виду и себя в том числе. Несмотря на все опасности, Тиндел предупреждает своих сторонников не оставлять Слова Божия, ссылаясь на совет Христа апостолам в Евангелии от Матфея, 10:19: «Когда будут предавать вас, не заботьтесь, как или что сказать, потому что в тот же час дано будет вам, что сказать» [Id. *The Obedience of a Christian man. P. 141*].

Используя библейские примеры, Тиндел пытается дать анализ современному и предыдущему курсу английской внутренней и

внешней политики, а также объяснить многие события европейской средневековой истории. Так же, как израильтяне испытали бедствия (изложенные во Второзаконии), нарушив Завет с Яхве, англичане перенесли гражданскую войну ради утверждения их законного короля Ричарда II [Id. An Exposition upon the V. VI. VII chapters of Matthew Gospel // Tyndale W. Expositions and Notes on Sundry Portions of the Holy Scriptures together with the Practice of Prelates / Ed. by H. Walter. Parker Society. Cambridge: The University Press, 1849. Vol. 43. P. 53]. Реформатор сопоставляет современных правителей (духовных и светских) и с реальными историческими личностями. Так, например своего современника английского кардинала Томаса Волси он сравнивает с Синоном, предавшим Трои, а также уподобляет его римскому понтифику Бонифацию III, правившему в VII в. и добившемуся от императора Фоки титула главнейшего из всех епископов [Id. Practice of papistical Prelates // The Whole works of W. Tyndall. P. 347]. Реформатор надеялся, что его обращение к примерам из древней истории позволит правильно решить вопрос о разводе короля Генриха VIII, вызвавший огромный резонанс в английском обществе. Так, в трактате «Практика прелатов» он предупреждает короля не игнорировать «открытой правды истории», совершая тем самым непростительный грех против Святого Духа. Примечательно, что у этого трактата есть еще подзаголовок: «Может ли его королевское величество развестись с королевой по причине того, что она была женой его брата». Правильный ответ на этот вопрос лежит, по мнению Тиндела, в текстах Священного Писания. Реформатор пытается убедить Генриха VIII, что было бы богохульством неправильно читать историю и Слово Бога. Обращаясь к книгам Левит 18:16 и Второзаконие 25:5, он указывает на то, что запрещается вступать в брак только жене живого брата или жене брата, имеющего ребенка, что не относится к ситуации с Генрихом VIII. Однако рассуждения Тиндела не смогли изменить мнения короля. В «Практике прелатов» реформатор настаивает на изучении Священного Писания как исторического источника [Id. Practice of Prelates. Whether the kinges grace maye be separated from his queen be cause she was his brothers wife // Tyndale W. Expositions and Notes on Sundry Portions of the Holy Scriptures. P. 237, 243, 323]. Настоящее и прошлое, современная и библейская история объединяются в его представлении в единое целое, и в своем апокалиптическом заключении он предостерегает: «И не говорите о том, что я вас не предупредил» [Tyndale W. Practice of papistical Prelates. P. 377].

Отдавая предпочтение библейским текстам, Тиндел выражал недоверие историческим хроникам. «Верьте Священному Писанию, – рекомендует он своим читателям, – но не рассказам о Робин Гуде,

«Деяниям римлян» или хроникам». Реформатор утверждал, что духовенство извратило или уничтожило часть хроник для сокрытия своих злых дел. Многие хроники, по мнению реформатора, изначально были написаны необъективно, из них были вычеркнуты нелестные отзывы летописца о духовенстве [Id. The Obedience of a Christian man. P. 176, 181]. Несмотря на манипуляции духовенства относительно хроник, Тиндел все же находит немало примеров, иллюстрирующих их «делишки» и дает читателям полный отчет об их махинациях.

Таким образом, Тиндел не отвергал историчность библейского повествования, напротив, он относился к Библии с большим доверием, чем к любым другим древним трудам, содержащим исторический материал. Английский реформатор не был историком в современном смысле этого слова, он, прежде всего, являлся теологом-интерпретатором истории. С помощью Библии Тиндел пытался ответить на многие вопросы современной ему истории, соотносил конкретные исторические события с библейскими аналогиями. Весь смысл исторического процесса у него сводился к противостоянию веры и неверия, божественного и мирского, святости и греха.